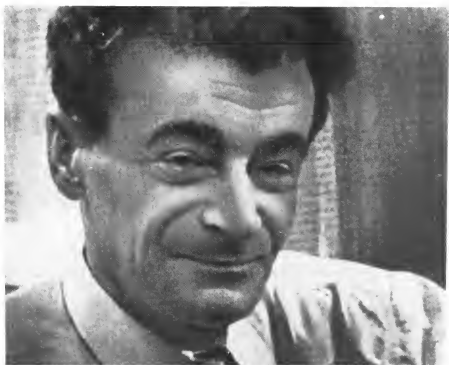


Михаил Светлов

БЕСЕДА





McHenry

РС
С-24



Михаил Светлов



БЕСЕДА!

СТИХИ
ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ
СТАТЬИ
РЕЦЕНЗИИ
ВЫСТУПЛЕНИЯ
ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ
АФОРИЗМЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 1969

5767-

Составители:
С. ЗАЛИН, А. СВЕТЛОВ.

Шаржи в тексте
И. ИГИНА.

Стихотворные подписи
к ним М. Светлова.

ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

Поэзия и старость несовместимы.

По самой сути своей, по духу своему поэзия вечная ровесница юности. Одно из самых красноречивых доказательств этого — Михаил Светлов. Для него поэзия — второе имя молодости.

«Молодежь! Ты мое начальство», — не без улыбки, но и не без гордости писал Михаил Светлов.

Чем становится старше поэт, тем упрямей и убедительней обращалось его слово к юности, к отрочеству, к детству. За два-три года до смерти Михаил Светлов писал:

Что же с человечеством случится?
Люди, люди, вы моя семья!
Девочкой застенчивой стучится
В новый дом поэзия моя!

Говорят: он писал о комсомоле. Это верно. Еще верней: Светлов писал комсомолом.

В стихах и песнях, пьесах и статьях Михаила Светлова, слово «Комсомол» не только пишется с большой буквы. Оно произносится с большой любовью, что важнее и существенней. У иного поэта слова «солнце», «любовь», «хризантема» не звучат так поэтично, лучезарно, благоуханно, как звучит слово «комсомол» у Михаила Светлова.

Комсомол! Это слово давно
Повторяется мной нараспев.

Да, ни у кого из наших поэтов это слово не звучит так глубоко человечно и свежо, как у Михаила Светлова. Он хотел, чтобы оно сияло всеми цветами радуги, чтобы в нем звучали все инструменты оркестра: от валторны до арфы, от скрипки до барабана. Читатель в этом убедится: он увидит и услышит. А главное: он почувствует и поймет.

«Моя любимая аудитория — это комсомольцы, студенты, солдаты», — писал Михаил Светлов. «Молодежь, комсомол — любимые мои читатели и герои», — повторял он.

Весну поэт называл «комсомолом природы». Для него старость — это «юность усталых людей». Он хотел, чтобы «любой наш комсомолец вел себя так, будто рядом живет Пушкин».

Вся жизнь Михаила Светлова рассматривается им самим под тем же углом зрения:

Недаром я молодость отдал,
Россия, за славу твою,
Мои комсомольские годы
Еще остаются в строю.

«Чувства в строю» — название одного из стихотворений поэта и одновременно одно из определений его жизни и работы.

Для того чтобы исчерпывающе сказать о Комсомоле поэзии — о творчестве Михаила Светлова, мне придется переписать целиком всю эту книгу. Тогда вместо предисловия читатель получит два экземпляра книги, оказавшихся под одним переплетом.

Уроженец Днепропетровска, Михаил Аркадьевич Светлов был в числе первых комсомольцев Украины. Он с ранних юношеских лет, с четырнадцатилетнего возраста, — доброволец Красной Армии. Вслед за этим работник губкома комсомола. Один из организаторов первого на Украине комсомольского журнала «Юный пролетарий».

Революция открыла Михаилу Светлову мир, в котором он почувствовал себя человеком и художником. Если б не 1917 год, не было бы такого поэта — Михаил Светлов.

Для читателей этой книги 1917—1919 годы — это история. Для Михаила Светлова — это его юность.

Здесь когда-то родился
И рос молодой Комсомол,
Здесь мы честно делили
Пайков богатейшие крохи!
Дружба здесь начиналась!
Сюда я впервые вошел
В сапогах, загрязненных
Целебную грязью эпохи!

Для Михаила Светлова его Комсомол — это не только организация, в которую он вступил в весеннюю пору жизни, это не только открывшееся перед ним широкое поле деятельности и творчества. Это нравственный кодекс молодого человека революционной поры. Кодекс, запечатленный не на бумаге, а в сердце. Это красота мечты, душевная самоотдача, бескорыстие, поиск, готовность номер один к подвигу во имя Отечества, тепло дружбы, окрыленность любви...

«Каждый наш поступок мы должны как бы измерять меркой нашей юности, так ли ты мечтаешь, как мечтал, стремишься ли ты к тому, к чему в юности стремился», — писал Михаил Светлов уже в позднюю пору своей жизни. Его отношение к другу и любимой женщине — это отношение комсомольца первых лет революции. Чистота и высота!

Я не знаю, где граница
Между пламенем и дымом,
Я не знаю, где граница
Меж подругой и любимой.

С постоянством и последовательностью через все творчество поэт пронес верность идеалам своей юности, верность памяти комсомольцев боевых отрядов, героев Триполья, гражданской и Отечественной войн. Поэт понимал свою миссию как выражение в слове идеалов этих славных своими легендарными именами безымянных героев. Он представлял в нашей поэзии их думы и чаяния и выражал их с глубиной и силой самобытного художника. Он был их горнистом и за-

певалой. Он стал полпредом комсомольской юности в советской поэзии.

Старый закаленный боец показал молодым пример стойкости и принципиальности. Не ко вчерашнему, а к завтрашнему дню он звал их.

Не рукописью в старом шкапике,
Не у истории на дне —
Несись, моя живая капелька,
В коммунистической волне!

Характер Михаила Светлова проявлялся в жизни и в поэзии со всей сложностью. У него были свои человеческие слабости. Но в главном он был прекрасен. Как сам он говорил об одном своем друге: «Да, с таким можно остаться вдвоем в осажденной крепости».

Ни один поэт наш не смог бы с таким человеческим правом, как Светлов, повторить за Маяковским его слова: «кроме свежевывитой сорочки, сказать по совести, мне ничего не надо».

Все ювелирные магазины —
они твои.
Все дни рожденья, все именины —
они твои.
И этот город и эти здания —
они твои.

Пусть остается другу, возлюбленной все: смех, радость, песни, счастье. Что же он оставляет себе?

Вся горечь жизни и все страданья —
они мои.

Вот в чем дело! Это не слова. Читатель подумает: чего только не посулишь на словах! А на деле? А на деле то же, что и на словах. Все знавшие Светлова неизменно убеждались в этом. «Я завидую тому, что Вам ничего не надо... — писал поэту один из его читателей. — Есть нечто величественное в том, что Вы никогда не торопитесь и ничего не требуете. Все для поэзии, ничего для себя».

С житейским неустройством он уживался легко. Но ему непременно нужно было то, что иные наши современники считают — увы! — лишним. Ему нужно было слышать сказку, видеть чудо, верить в недо-

сягаемое, мечтать о совершенстве. Принадлежит он к племени людей, которых принято называть романтиками. Что-то было в нем от Дон-Кихота с его мечтательностью и человечностью. Дон-Кихота, как известно, называли Ламанчским, Светлова должно бы называть Гренадским...

По белу свету он бродил не один и не вдвоем с Санчо Пансой. Ему было бы скучно брести только на пару с этим добродушным толстяком. С ним рядом, бок о бок, плечом к плечу шли солдаты гражданской войны, рабфаковцы, вузовцы, рабочие, панфиловцы — живые герои нашей эпохи. Он общался с ними не через трибуну, а запросто, как в родной своей семье, от сердца к сердцу.

Я сам лучше брошусь
Под паровоз,
Чем брошу на рельсы героя...

Он берег друзей, как берегут государственное достояние. Вот почему он спорил с классиками русской литературы, порешившими убить своих героев «на рельсах, в петле, на дуэли». Он как бы с ног на голову ставит отношение автора со своими героями. Пусть живут они, если даже нужно погибнуть самому автору.

И если в гробу
Мне придется лежать, —
Я знаю:
Печальной толпою
На кладбище гроб мой
Пойдут провожать
Спасенные мною герои...

Во всем, что писал и делал Михаил Светлов, чувствовалась его личность, его индивидуальность, то есть неповторимость. Теперь об этом говорят: «У него свой почерк». Но «свой почерк» потому и свой, что его-то определяет самобытная личность автора.

Это касается стихов и песен, пьес и статей, устных и письменных выступлений. Никто другой не мог писать так, как писал Михаил Светлов. Заметьте: я не говорю в данном случае — хуже или лучше. Я говорю: так, как он. На всем, к чему он ии при-

касался, был отпечаток его личности. Даже не видя имени автора под стихами или статьей, можно было сразу сказать: это Светлов.

Вместе с тем за всем, что писал и делал Михаил Светлов, чувствовалась эпоха, современником и певцом которой он был. «Предел моих мечтаний: когда-нибудь читатель, наткнувшись на мою книжку стихов, поймет не только меня, но и время, в которое я жил. А это может произойти только в том случае, если я дорогие всем лозунги буду не машинально повторять, буду носить не как носильщик носит тяжелый чемодан, а как солдат несет свое знамя».

Это сказано весомо, тут есть над чем подумать.

Каждая страница сочинений Михаила Светлова дышит временем, нашим временем. И что удивительно: чем ближе был поэт к насущным потребностям дня, тем глубже и самобытней раскрывались перед ним самые большие, так называемые вечные темы, связывающие разные эпохи и литературы разных народов: жизнь, смерть, любовь, ревность, зависть, измена, жертвенность, бескорыстие, подвиг...

Послушайте пульс поэзии Михаила Светлова — и вы услышите пульс эпохи. История России входит в тесную комнату молодежного общежития, дверь которой открывает поэт Михаил Светлов. А как известно, «от студенческих общежитий до бессмертия рукой подать».

Тихо светит месяц серебрнстый...
Комсомольцу снятся декабристы.

Комсомолец слышит бряцанье кандалов, видит Пушкина за письменным столом, следит за входящими в каземат Муравьевым-Апостолом и Рылеевым. До всего ему есть дело, во все дела истории он хочет вмешиваться.

Он бежит сквозь раннее ненастье...
Разве можно было не спешить,
Чтоб непоправимое несчастье
Как угодно, но предотвратить.

И поэт и его герои очень действенно, бурно, вспылчиво реагируют на события истории.

Этому была подчинена вся жизнь Михаила Светлова. Он писал: «Можно не иметь ни копейки денег и быть щедрым. Можно иметь массу денег и быть скуперджем». Его любимым героем был «Парень, презирающий удобства». Мечтатель, романтик, подвижник.

Михаил Светлов всего более ценил золотые прииски души. Он говорит по этому поводу:

Я недаром погибал от жажды,
Я фронтов десяток пересек,
В душах комсомольцев и сограждан
Собирая золотой песок.

Его биография — это люди, с которыми он жил и работал. Люди, с которыми он шел бок о бок в дни войны, люди, события, история. С этой точки зрения он богат.

Богат я! В моей это власти —
Всегда сочинять и творить,
И если не радость и счастье,
То что же мне людям дарить?

Перед нами не баловень судьбы и не беспечный юноша, отравивший тяжелую шевелюру и легко проматывающий достояние отцов. Михаил Светлов не прощал ни краснбайства, ни прожектерства. Он чувствовал себя опытным прорабом на стройке города-юности.

Вот как Михаил Светлов определяет главную черту молодых людей своего поколения. «Эта главная черта, — говорит он, — влюбленность. Влюбленность в бой, когда родина в опасности, влюбленность в труд при создании нового мира, влюбленность в девушку с мечтой сделать ее спутницей всей своей жизни и, наконец, влюбленность в поэзию и искусство, которые ты тоже никогда не покинешь».

Поэзия Михаила Светлова требовательна. Будучи добра к человеку, она предъявляет к нему максимальные требования. У поэта есть стихотворение «Трибунал». Заседает революционный комитет чувств.

Я еще в годах двадцатых знал,
Бегаю по юности просторам,
Что наступит этот трибунал

С точным беспощадным приговором.
Скоро ль будет счастлива земля?
Не в торжественном, священном гимне,
А со мной все горести деля,
Партия моя, скажи мне!
Как ты вычерпаешь, Комсомол,
Бездну человеческого горя?
Суд на совещанье ушел,
Мы сидим и мерзнем в коридоре.

Да, он судил о людях по большому счету. Он был строг и взыскателен. И он был добр и ласков. Настолько, что если бы ему пришлось на время стать хирургом, то первую же операцию он сделал бы на себе. Такой это был человек.

Жил он среди нас так недавно, простой, душевный, волшебник и сказочник, умевший все обыкновенное превращать в необыкновенное. Он отправлялся в поисках чудес, как отправляются с лукошком по грибы. Он искал в людях сказку, и он дарил им лукошко, полное поэзии. Творить чудо из дарованной человеку жизни — вот в чем он видел свое призвание поэта. Это легко почувствовать в его стихах, в его пьесах и песнях, статьях и выступлениях, в его, к сожалению, незавершенных, исполненных глубины чувства и мыслей «Взрослых сказках», впервые публикуемых в нашей книге.

Читателю этой книги придется встретиться с очень своеобразным явлением. Я сказал, что Михаил Светлов серьезный и глубокий поэт. Его серьезность и глубина проявляются, однако, не в потужливом желании вещать и изрекать истины, не в многозначительных выкриках, не в академической отрешенности. Нет, все, что ни делал Михаил Светлов, он делал с легкой иронией, с усмешкой, с улыбкой. Его сочинения — это беседа с читателем — другом. Остроумие его было мудрым, снимавшим необходимость в какой бы то ни было цитатности.

Поясню это на примерах.

Однажды Михаил Светлов получил боевое задание командира. Когда поэт вернулся, командир сказал ему: «Говорят, был такой огонь, что нельзя было поднять голову».

Светлов ответил: «Можно было поднять голову, но отдельно».

Казалось бы, в такой драматический момент, когда иной человек не преминул бы сказать о своей храбрости или по крайней мере о своем честно исполненном долге, Светлов не нашел ничего более подходящего, как пошутить. Но зато эта шутка говорит о человеке и его мужестве больше, чем иные разглагольствования.

Другой случай был при мне.

Директор одного далекого от столицы клуба, польщенный тем, что у него выступит московский поэт, автор «Гренады», громовым ликующим от восторга голосом объявил:

— Среди нас присутствует и сейчас перед вами выступит известный поэт Михаил Светлов.

— Весьма известный, — тихим голосом поправил директора поэт, слегка привстав и наклонившись над кумачовым столом.

Публика засмеялась, зааплодировала, поняв, что в устах Светлова эта поправка вовсе не означала: ты цени меня еще больше, чем ценишь, я не просто известный, а весьма известный. Поправка эта означала: да к чему вообще эти «известный», «знаменитый», «ведущий». Не проще ли... без них!

Еще пример. Михаил Светлов был за простоту, но не терпел грубости.

Как-то один самовлюбленный молодой человек, желая сразу же перейти с Михаилом Светловым на дружескую ногу, стал его называть «Миша», «Мишенька», «Мишук». Светлов терпел, терпел, но, наконец, не выдержал и сказал: «Зачем же так официально «Миша», не лучше ли проще — «Михаил Аркадьевич?»

В необозримо широком кругу друзей и доброжелателей он слыл острословом и весельчаком, душой застольных бесед и самым желанным гостем в каждом доме. Некоторые люди видели в нем только эту сторону его таланта, но не видели других его сторон, а таким образом его сути. Суть в том, что это был человек, озаренный изнутри, изящный, отзывчивый,

дружелюбный, в нем постоянно шла работа мысли, всегда шел поиск добра — для людей. Глубина этой работы была скрыта от поверхностного взгляда.

Свои стихи и песни Михаил Светлов рассматривал как один из самых верных способов нести людям добро. «Я вижу — на краю стихотворенья заплаканная девочка стоит», — пишет он, имея в виду утешить эту девочку, поговорить с ней по душам.

Ему близка грусть украинского парня и отвага Лизы Чайкиной. Он вхож в любую эпоху и к любому народу. И везде он свой. Со всеми народами он сидит за круглым столом планеты. Так ему сподручней всего.

Свои статьи, рецензии, свои устные выступления Михаил Светлов никогда не рассматривал как истину в последней инстанции. Он усаживал читателя-собеседника рядом, брал его под локоток, беседовал с ним, советовался о том, о сем. «В чем прелесть талантливое человека? В том, что он умеет беседовать». Да, Светлов именно беседовал. В статьях Михаила Светлова мы слышим переливы негромкого, убедительного своей душевностью голоса. У поэта, как у каждого человека, есть свои симпатии и антипатии. Он их и не скрывает. Он вызывает собеседника на спор, на несогласие.

Проза Светлова так же самобытна, как и его поэзия. Он и здесь сказал свое, ему одному принадлежащее слово.

В его улыбчивых и тонких пьесах, сказках, статьях, рецензиях, выступлениях нет претящей читателю категоричности и менторства. Михаил Светлов как бы делится с другом сокровенными мыслями и просит его внимания.

И он имеет право на это внимание.

Пьесы его («Сказка», «Двадцать лет спустя», «Бранденбургские ворота» и другие) населены в основном молодыми людьми. Эти люди действуют и спорят, дружат и любят. И что самое характерное для них — они мечтают. Да, герои Светлова — бойцы, строители — мечтают! Пьесы Михаила Светлова романтичны, проза в них перемежается стихами и пес-

нямн. Пьесы эти своеобразны настолько, что мы вправе говорить о «театре Михаила Светлова».

Перед нами, какого бы жанра литературы мы ни коснулись, обаятельный человек. Как объяснить, что такое обаяние? Никому это не удавалось. И мне, очевидно, не удастся. Обаяние потому и обаяние, что объяснить его — равно как и поэзию — невозможно.

Казалось бы, мы хорошо были знакомы с книгами Михаила Светлова. Но вот идет время, и мы как бы заново знакомимся с его наследием. И наше представление о Светлове обогащается. Во весь рост встает перед нами этот скромный, можно сказать, застенчивый, но в то же самое время отважный, умный, добрый человек.

Здесь, в этой книге, Михаил Светлов живет полной жизнью: он работает, мыслит, мечтает, улыбается, смеется, хохочет, ненавидит, любит, дружит... Трудно перечислить все, что ждет здесь читателя, если он внимательно прочитает эту умную, веселую, грустную, драматическую книгу жизни нашего поэта.

Одно могу сказать: завидую читателю, который впервые прочтет эту книгу. Его ждет встреча не только с новым поэтом, но и с новым — притом верным — другом.

Встреча с поэтом — это встреча с его поэзией.

Пусть читатель с добрым сердцем доверчиво войдет в эту книгу, как входят в дом к старому другу. Хозяин дома встретит его радушно, поделится всем, что у него есть. А у него есть многое. Он побеседует со своим гостем запросто, душевно, по-дружески, по-светловски, как он это делал с нами, его современниками, имевшими большое счастье общаться с этим человеком из сказки.

✱

*Искусство — это беседа. Это Пушкин,
который с вами разговаривает.*

✱

*Обязанность поэта — быть интересным
собеседником.*

✱

*В чем прелесть талантливого человека?
В том, что он умеет беседовать
с людьми.*

✱

*За годы моей литературной работы
у меня выработалось правило — пиши
так, как будто ты сидишь и разговари-
ваешь с читателем за одним столом.*

✱

*Доходят до моего читателя только те
стихи, в которых я сердечно беседую
с ним.*

М. Светлов

МОЯ БИОГРАФИЯ — ЛЮДИ

Речь на творческом вечере

Мы уже давно привыкли к той мысли, к той абсолютно точной формулировке, что свет проходит триста тысяч километров в секунду. И мы несколько не удивляемся этому. Но мы очень удивляемся, когда нам самим неожиданно стукнет шестьдесят обыкновенных лет.

Я уже почти полгода удивляюсь этому событию. А скорость световых лет меня по-прежнему не удивляет. Потому что скорость световых лет — это не моя биография.

Моя биография — это люди, с которыми я встречался и с которыми я больше никогда не встречусь. Моя биография — это разрушающийся дом, на месте которого будет построен новый, с горячей водой и подъездами, где работают лифтерши, не замечающие поцелуев влюбленных. Моя биография — это кирпич, который не знает, какой новый следующий кирпич ляжет на него. Моя биография — это каменщик, который никогда не будет жить в доме, который он построил.

Я прожил шестьдесят лет. Это очень много. Что же я завоевал за эти годы? Я завоевал себе право не иметь права писать плохо. И я несколько не завидую тем, кто завоевал себе право писать плохо. Насколько у меня хватит сил, я буду стараться не попасть в их обширное воинство.

Я долго думал: что мне запрещено в моем деле, в моей профессии? И я понял — мне разрешено все, за исключением

одного совершенно точного правила: нельзя переходить грань искусства. Если тебе мала площадь искусства, передвинь эту грань на несколько метров или на несколько километров, но только не переходи ее! Иначе получится как у Гоголя в его гениальном рассказе «Портрет». Портрет вылез из рамы, и никакая милиция с ним не справится.

Учитель — это не тот человек, который тебя чему-то учит. Это тот человек, который помогает тебе стать самим собой. Когда я говорю и думаю о молодежи, мне хочется посоветовать только одно — так когда-то советовала мне боя бабушка: ты обязательно точно застегни верхнюю пуговицу, потому что иначе нижнюю пуговицу некуда будет деть, и ты останешься человеком с лишней пуговицей.

И поэтому неталантливые молодые люди дико обрадовались появлению застежки «молния» — нечего ни застегивать, ни расстегивать.

Мы боремся с формализмом. Но мне кажется, что эта борьба ведется у нас абсолютно неправильно. Нельзя бороться со смешным врагом. Если враг делает гримасу, нельзя ему в ответ грозить оружием. Нельзя перенимать гримасу у врага. Вот, я помню, на Американской выставке в Сокольниках мимо американских формалистских скульптур проходили советские люди. Эти скульптуры вызывали у нормальных людей только улыбку. Никакой нормальный советский человек не может быть подвержен формализму — климатические условия не те.

Формализм опасен только для молодежи. Когда человеку, особенно молодому, нечего сказать, он старается говорить иначе, но это иначе так похоже одно на другое, что банальность по сравнению с ними оригинальность.

Сколько ко мне приходило молодых поэтов, и я им вдалбливал в их заранее опустошенные головы какие-то общеизвестные истины. И все равно в конце нашей беседы они говорили: я — это я. Не понимали, что задача искусства: я — это мы! Нигде больше не выявляется местоимение «я», как в слове «мы». И поэтому, когда Пушкин писал: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», — это значит не «я», а «мы».

Самое лучшее одиночество — это когда ты думаешь о том, как ты вел себя с людьми. Я говорю не о раскаянии, я говорю о неожиданности давно ожидаемых встреч.

Неожиданностей не бывает. Я так и живу для давно подготовленных мною неожиданностей. Мне не нужна никакая Золушка, мне нужен сказочник, который сочинил Золушку.

Что я оставляю после себя? Я пришел к такому выводу: никакого наследства оставлять не надо. Умным детям наследство не нужно, а глупые его только растратят.

Маяковский сказал:

...Я подыму,
как большевистский партбилет,
Все сто томов
моих
партийных книжек.

Я, очевидно, поступлю несколько иначе.

Я оставляю вам в наследство сберегательные книжки моих стихотворений, на счету у которых не осталось ни копейки денег. Но зато вам всегда будет что почитать на ночь.

ЗАМЕТКИ О МОЕЙ ЖИЗНИ

Моя культурная жизнь началась с того дня, когда мой отец приволок в дом огромный мешок с разрозненными томами сочинений наших классиков. Все это добро вместе с мешком стоило рубль шестьдесят копеек.

Отец вовсе не собирался создавать публичную библиотеку. Дело в том, что моя мать славилась на весь Екатеринослав производством жареных семечек. Книги предназначались на кульки. Я добился условия — книги пойдут на кульки только после того, как я их прочту. И тогда я узнал, что Пушкин и Лермонтов погибли на дуэли. И еще меня поразило слово «секудант», я был убежден, что это часовщик, в совершенстве владеющий секундными стрелками...

Тотчас же по прочтении всех книг я засел за собственный роман. Он был написан в два часа. Когда я его читал, моя сестра смотрела на меня с восхищением — приятно, когда в родной семье обнаруживается гений. Но меня постигла страшная судьба — весь роман занял две с половиной страницы, написанных крупным почерком. Я и сейчас помню название этого романа — «Ольга Мифузориная». К счастью, героиня недолго мучилась — она умерла на третьей странице.

В то время я учился в высшем начальном училище (четыре класса средней школы). Когда-нибудь, когда я еще постарею и стану более усидчивым, я подробно расскажу читателю о нравах и быте старой школы, об учителях, каждому из ко-

торых мы придумали забавную кличку, о моем товарище Белоусове, убежавшем на фронт, но затем водворенном на место жительства, о Черногубовском, который за меня исполнял все чертежи, и я по этому предмету имел пятерку (вторая пятерка была по поведению, больше пятерок не было), и, наконец, о моем однокласснике Коле Коробкове. Здесь я должен ненадолго остановиться.

Будучи уже автором одного романа, я решил испытать себя в области поэзии. Стихотворение в двадцать строк заняло двадцать минут. Начиналось оно весьма свежей строкой: «Войско храбро наступает...» Дальше не помню.

Я посвятил Колю Коробкова в свои творческие успехи. Он молча выслушал.

Дело происходило вечером, на следующее утро он мне принес стихотворение размером до двухсот строк. Он, очевидно, решил, что в десять раз больше — значит в десять раз лучше.

И тут между нами началось соревнование — кто напечатается первым? Мы шатались по редакциям, и ленточку финиша первым оборвал Коля Коробков. Его напечатали в общегородской ученической газете. Будучи совершенным невеждой в деле, которому я впоследствии посвятил всю остальную жизнь, я и тогда понимал, что стихи прескверные. Тогда я еще не мог знать, что очень нужная тема иногда тащит за собой очень плохой текст.

Через неделю мой друг нокаутировал меня во второй раз — его напечатали еще в какой-то газете. И затем меня его замелькало во всей печати. Я оставался непризнанным... Все же в 1917 году в газете «Голос солдата» было напечатано мое первое стихотворение...

Вскоре (это было в 1919 году) я вступил в комсомол, близко подружился с первыми комсомольцами моего родного города. Они были куда менее интеллигентны, чем «маяковцы», но куда более талантливы...

В том же 1919 году я впервые в жизни вступил в должность — был назначен заведующим отделом печати Днепропетровского (тогда Екатеринославского) губкома КСМУ. Мы решили издавать комсомольский журнал «Юный пролетарий». Но журнал печатается на бумаге, а бумаги не было. С трудом достали конвертную. На ней шрифт был еле различим. Среди типографских работников в то время было много меньшевиков. Они всячески саботировали наше начинание, но все-таки

Вопросы Восточного - 120 МТЧ 8

студента Вилки.
М. Светлова
г. Москва 1956.

Вопрос: свидетельствую о среднем
образовании. Ввиду того, что
я получил ускоренный,
занимался на одной опреде-
ленной школе. При этом являю-
сь членом общественной, пар-
тийной и всеобщей работы, начи-
ная с 1917г.

При поступлении в Вилку в
1924г. мною были сданы экзамены,
где мое среднее образование
было признано вполне
удовлетворительным.

19/IX 25. М. Светлов -

несколько номеров журнала вышло — это был первый на Украине комсомольский журнал.

И в это время ко мне, шестнадцатилетнему редактору, пришли со своими стихами два шестнадцатилетних паренька с Александровской улицы — Михаил Голодный и Александр Ясный. В нашей комсомольской организации я был единственным поэтом, теперь нас стало трое.

Мы устроили литературный вечер. Это был, наверное, первый на Украине комсомольский литературный вечер. Друзья мои еще кое-как держались, но, когда я вышел на трибуну, у меня ноги подкашивались. Я начал тихо мямлить стихи, как вдруг кто-то из зала крикнул: «Давай, Мишка!» Голос мой сразу окреп, и закончил я звуками нерихонской трубы: «И ярко пенящийся кубок свободы мы, юношн, вам, старикам, подадим!»

Несмотря на неверное ударение в слове «пенящийся», меня проводили овациями.

И даже сейчас, когда я иногда чувствую себя неловко на трибуне, мне кажется, что до меня донесется ободряющий голос комсомольца нового поколения: «Давайте, Михаил Аркадьевич!»

В 1920 году я был командирован в Москву, на первый съезд пролетарских писателей.

«Я считаю, что мы пишем не хуже, чем наши столичные поэты. Надо ехать в Харьков», — как-то сказал Михаил Голодный. (В то время столицей Украины был Харьков.) И уехал и вскоре стал одним из самых популярных поэтов на Украине.

Вокруг города свирепствовали банды, и для защиты от них был создан Первый екатеринославский территориальный пехотный полк. Я вступил в этот полк и пробыл в нем несколько месяцев.

Затем я переехал в Харьков, где работал в отделе печати ЦК комсомола Украины. Здесь в 1922 году была издана первая книга моих стихов «Рельсы». Очень смешное и трогательное впечатление она сейчас производит. Никто из нас тогда не имел точного представления о задачах своей профессии. Нам казалось, что чем замысловатей стихи, тем они художественней. Да и культура наша была слабовата.

А Михаил Голодный был неутомим: «Ты послушай. Разве в Москве пишут лучше, чем пишем мы? Едем в Москву!» И Голодный, Ясный и я — не три сестры, а три брата по поэзии — поехали в Москву. Мы были бездомны довольно дол-

гое время, пока нам не предоставили для общежития гостиницу сомнительного типа. Это здание и сейчас стоит на улице Чернышевского, и, проезжая мимо, я с грустью смотрю на него как на памятник своей молодости.

Я с горестным удивлением вспоминаю тогдашнюю литературную Москву. Чего только не было! Не говоря уже об имажинистах, были еще «фуисты», «ничевоки» и какие-то еще «течения». У меня и сейчас сохранилась книжка «Родить мужчинам!». Даже болея менингитом, нельзя написать такое.

Шло время, и советская литература по-молодому металась в поисках самого близкого общения со своим мужающим читателем. Я участвовал в этих поисках. В 1926 году в Москве вышла книга моих стихов «Ночные встречи».

Как я жил эти годы? Учился сначала на рабфаке, затем на литературном факультете 1-го Московского государственного университета, в Высшем литературно-художественном институте имени В. Я. Брюсова. В этом институте однажды произошел такой случай. Я, Голодный и Ясный прохаживались по коридору (мы не очень энергично посещали лекции). К нам подошел рослый, молодой, но уже седоватый человек и безапелляционно заявил: «Ребята! Сейчас я вам почитаю свои стихи». Мы не выразили особого восхищения (институт навещали полчища графоманов и буквально отравляли жизнь), но незнакомец настоял на своем. Он прочел три стихотворения, и мы сразу поняли, что он пишет лучше нас. Это был Эдуард Багрицкий. С этого дня мы крепко подружились до самой его смерти.

...Однажды, когда я сидел у поэта Бориса Ковынева, мне сказали, что меня зовет к телефону Маяковский. Я был убежден, что меня «кразыгрывают», и не сразу взял трубку. Я ведь с Маяковским не был знаком. Маяковский терпеливо ждал.

— Послушайте, Светлов. Я в харьковской гостинице сидел в очереди к парикмахеру и от скуки начал перелистывать журнал «Октябрь». В нем напечатано ваше стихотворение «Пирушка». Оно мне очень понравилось. Я решил послать вам приветственную телеграмму, но потом передумал — позволю ему лично — так будет ему приятнее. Не забудьте выбросить из стихотворения «влюбленный в звезду». Это литературщина.

— Я уже выбросил, — отвечаю.

— Тогда все прекрасно. Приходите завтра ко мне. Пойдем вместе на мой вечер в Политехнический.

На этом вечере он читал наизусть мою «Гренаду».

Я давно уже вышел из возраста приобретений и перешел в возраст потерь. Смерть разлучила меня со многими друзьями. Больше я не пожму уже руку Иосифу Уткину, Джеку Алтаузену, Артему Веселому, Борису Левину... Недавно я опять хоронил друга. Вокруг гроба стояли бесконечно дорогие мне комсомольцы 1919 года. Это были старые люди, седые и лысые. Самого себя я, естественно, не видел, но, когда состарились твои сверстники, ты не можешь остаться молодым...

В 30-е годы я выпустил ряд сборников стихов: «Избранное» в Гослитиздате, «Корни» (издательство «Московский рабочий»), «Гренада» (издательство «Молодая гвардия»). В это же время я обратился к драматургии и написал пьесы «Глубокая провинция», «Сказка», «Двадцать лет спустя», которые ставились на сценах московских театров.

Так шли годы... Началась Великая Отечественная война. На войну я попал не сразу. Я был освобожден от военной службы, но мне не сиделось на месте. Писатель Лев Славин, обладатель собственной машины, направлялся корреспондентом «Красной звезды» в Ленинград. Я присоединился к нему. Прямой путь на Ленинград был немцами перерезан. Мы поехали в обход через Тихвин. Тихвин был взят немцами через два дня после нашего отъезда. Ленинград был полностью блокирован. Здесь я пережил первую бомбежку в открытом поле. Однажды, когда мы приближались к переднему краю, из-за леса вынырнуло несколько немецких бомбардировщиков. Мы выскочили из машины и, как говорится, «рассредоточились». Тогда немцы воевали беззаботно и не поленились на пять человек сбросить с десятка бомб. После бомбежки мы поднялись в необычайно веселом настроении. Должно быть, это была реакция после пережитого страха.

В наших рядах мы недосчитались шофера. Мы обнаружили его сидящим на пенке. Он глядел в небо и шепотом произнес восторженно только одно слово: «Солиышко!»

После того как сгорели Бадаевские склады, голод овладел Ленинградом. Я приготовился к самому худшему, но в это время «Красная звезда» отзывала меня обратно в Москву. Я летел бреющим полетом над самыми верхушками деревьев. Таким образом мы спасались от «мессершмиттов». В полусогнутом состоянии я расположился на самой бомбовой щели. Я беспокоился — вдруг летчик по рассеянности откроет эту щель и я выпаду и взорвусь! Но этого не произошло.

В Москву продолжали прибывать товарищи с фронтов, и я чувствовал себя очень неловко — пройдет война, и мне нечего будет рассказать о ней. Мой друг — писатель Иван Иванович Чичеров предложил мне: «Я работаю в армейской газете. Приезжай. Мы тебя зачислим».

Я поехал на Северо-Западный фронт в Первую ударную армию. Мне дали звание, но строевой выправки я так и не приобрел до самого конца войны.

В первые же дни со мной произошел забавный случай. Начальник политотдела армии терпеть не мог штатских, считая их всех поголовно отъявленными трусами. Он решил послать меня на командный пункт полка во время боя. Меня об этом предупредил делопроизводитель политотдела. Я решил себя «доказать» и, минуя КП полка, направился на КП роты. Бой был жестоким, мы понесли много потерь, но я не очень трусил — мне казалось, что на меня все время устремлен испытующий взгляд начальника политотдела.

Ему об этом, очевидно, доложили. Он встретил меня притворно сурово: «Почему вы пошли на КП роты? Я вас посылал на КП полка». — «Рота входит в состав этого полка. Таким образом, я приказа не нарушил». Он улыбнулся: «Говорят, был такой огонь, что нельзя было голову поднять». — «Можно было поднять голову, — ответил я, — но только отдельно». После такого ответа я сразу приобрел популярность.

Спустя некоторое время Первая ударная была направлена в Иран. Меня не взяли, и я очутился в резерве. Затем я поступил в распоряжение политотдела Девятого танкового корпуса на Первом Белорусском фронте. Там я прославился тем, что совершенно непонятным образом взял в плен четырех немцев.

С Девятым танковым корпусом я дошел до Берлина.

Когда-нибудь я более подробно расскажу об этом.

Война дала мне материал для пьесы «Бранденбургские ворота», я написал «Итальянец» и много других стихов.

Один эпизод из моей фронтовой жизни навсегда запомнился мне. Однажды после долгих уговоров разведчики взяли меня с собой. Когда я возвращался из разведки, начался сильный артналет.

Мы наступали слишком стремительно, ни о каких окопах не могло быть и речи. Каждый солдат вырывал себе ямочку. Я бежал между этими ямочками и чувствовал себя, как в коммунальной квартире — жить можно, но спастись нигде. Наконец

я нашел недорытую ямочку и постарался углубиться в нее. Девять десятых моего туловнища было подставлено фашистской артиллерии, но она и на этот раз промахнулась.

Когда огонь утих, поле представляло собой как бы сцену кукольного театра — из ямочек выскакивали веселенькие фигурки.

Я поднялся и пошел к своим. И вдруг я слышу:

— Майор! А майор!

Субординация — не мое отличительное качество. Я покорно подошел.

— Это правда, что вы написали «Каховку»?

— Правда.

— Как же вас сюда пускают?

Он был готов умереть раньше моей песни. Я был так взволнован, что ушел, не узнав его имени и фамилии. Я потом встречал этого бойца, но в образе других.

Как мало мы учитываем резонанс нашего писательского труда, значение его в воспитании благородных человеческих чувств!

За годы моей литературной работы у меня выработалось правило — пишу так, как будто ты сидишь и разговариваешь с читателем за одним столом. Но нельзя рассматривать своего читателя как единое тесто, из которого можно печь булочки благополучия. Я получаю от читателей много писем, причем об одном и том же стихотворении люди бывают полярно противоположного мнения. Очень часто эти письма написаны удивительно беспомощными стихами, часто авторы их — люди самоуверенные, которым наш труд кажется необыкновенно легким. Слева больше буквы, справа — рифмочки, — вот тебе и готово стихотворение!

Зато с какой радостью читаю я письма своих хороших читателей! Им стихи могут совсем не понравиться, но какое в этих письмах уважение и внимание к моей работе! И сколько дельных замечаний в них! Не раз бывало, что, напечатав стих в журнале, я поправлял их для книги, следуя указаниям своих добрых читателей. Вот почему строгость и взыскательность к своей работе должны быть в каждом нашем обращении к читателю.

После войны я написал пьесу «С новым счастьем» и много новых стихов. Они выйдут отдельной книгой в издательстве «Советский писатель». Сейчас работаю над трагедией для те-

атра имени Маяковского. Мысль о написании трагедии подав мне народный артист СССР Н. П. Охлопков. Серьезный жанр современной трагедии у нас почти отсутствует. Вот я и постараюсь заполнить этот пробел. Это будет пьеса о нашей молодежи. Молодежь, комсомольцы — любимые мои читатели и герои. Я и сейчас чувствую себя комсомольским поэтом, хотя уже много лет прошло с тех пор, как я был комсомольцем.

В молодости смотришь в будущее, как в бинокль. Все увеличено, все кажется более близким. Ты стоишь перед миром приобретений и вовсе не думаешь о потерях, которые приносит с собою старость.

Но вот приходит время, и ты незаметно для себя поворачиваешь бинокль в обратную сторону и видишь теперь молодость свою в большом отдалении, значительно преуменьшенной. И все, что ты видишь теперь, пусть даже в четком, но отдаленном пространстве, называется воспоминаниями.

Мне, вспоминая, не стоит труда определить главную черту комсомольцев моего поколения. Эта главная черта — влюбленность. Влюбленность в бой, когда Родина в опасности, влюбленность в труд при созидании нового мира, влюбленность в девушку с мечтой сделать ее спутницей всей своей жизни и, наконец, влюбленность в поэзию и искусство, которые ты тоже никогда не покинешь.

Я был влюблен в поэзию с первого же дня моего вступления в комсомол. Не знаю, нашла ли во мне поэзия достойного спутника жизни, но я ей до сих пор верен, как верен ей весь влюбленный в нее комсомол, ничуть не постаревший и так же устремленный в будущее.

Да разве может юность постареть?

Ей не пойти по старческому следу!

Уметь любить, уметь вперед смотреть,

Уметь дружить — три правила победы!

Декабрь 1958 года

Слово к комсомолу

Всегда старики брюзжат: «Эх, в наше время...» Позвольте же и мне сказать: «Эх, в наше время!» В наше время на любимую смотрели, как на мировую революцию: ты самая желанная! А сколько я сейчас знаю случаев, когда любимый смотрит на любимую, как на революцию местного значения!

Не правда ли, что многие Ромео и Джульетты стали обывателями?

Не сдавайся, комсомол! Если благородство перестанет быть твоим знаменем, ты перестанешь быть комсомолом. Если Ленин — чистейший человек на свете — перестанет быть твоим зеркалом, от твоего зеркала останутся только осколки. Относись к борьбе, к идеям, к самопожертвованию, к любви, к женщине так, чтобы самые изысканные английские джентльмены почувствовали себя рядом с тобой самыми обыкновенными дворняжками.

Я очень люблю комсомол. Если я даже, допустим, достигну возраста Джамбула, я все равно буду участвовать в комсомольских кроссах и не добуду первенства только потому, что все время буду наступать на свою длинную седую бороду.

Ленинград двадцать шестого года! Я был секретарем комсомольской газеты «Смена». Секретари! Не учитесь у меня образцовой работе. Вы не заслужите благодарности читателя. И все равно я любил. Неумеючи, угловато, с пятое на десятое, но я любил. Я любил эти свежие гранки, в которых что-то сообщал комсомольцам. Любил развешенную на стендах газету, в создании которой я принимал какое-то участие. Любил кировцев, которых раньше называли путинловцами. Любил белые ночи, любил красное знамя, под которым погибло много моих товарищей, и над этим знаменем светило солнце. И лучше бы погасло солнце, чем померкло мое знамя...

СТИХОТВОРЕНИЯ



Крылья зарев машут вдалеке,
Осторожный выстрел эхом пойман,
А у Васьки в сжатом кулаке
Пять смертей затиснуты в обойму.

В темный час ленивая изба
Красный флаг напялила с опаской...
От идущей нечисти избавь,
Революция антихристова, Ваську!

Под папашой мокиет черный чуб,
Бьется взгляд, простреленный навылет.
Сумерки, прилипшие к плечу,
Вместе с Васькой думу затаили.

Стынет день в замерзшей синеве,
Пляшет дружно хоровод снежинок,
Да читает окровавленный завет
Ветер — непослушный иннок.

1921

РУСЬ

Хаты слепо щурятся в закат,
Спят дороги в беспробудной леии...
Под иконой крашенный плакат
С Иисусом спорит о спасении.

Что же, Русь, раскрытые зрачки
Позастыли в бесконечной грусти?
Во саду ль твоём большевики
Поломали звончатые гусли?

Иль из серой, пасмурной избы
Новый, светлый Муромец не вышел?
Иль петух кровавый позабыл
Запалить твои сухие крыши?

Помню паленой соломы хруст,
Помню: красивый по деревне бегал,
Разбудив дремавшую под сиегом,
Засидевшуюся в девках Русь.

А потом испуганная лень
Вкралась вновь в задымленные хаты...
Видно, красный на родном селе
Засидевшуюся в девках не сосватал.

По сожженным пням издалека
Шел мужик все так же помаленьку...
Те же хаты, та же деревенька
Так же слепо щурились в закат.

Белеют босые дорожки,
Сверкает солнце на крестах...
В твоих заплатанных окошках,
О Русь, все та же слепота.

Но вспышки зарев кто-то спрятал
В свою родную полосу,
И пред горланящим плакатом
Смолкает бледный Иисус.

И верю, Русь, Октябрьской ночью
Стопой разбуженных дорог
Придет к свободе в лапоточках
Все тот же русский мужичок.

И красной лентой разбежится
Огонь по кровлям серых хат...
И не закрестится в закат
Рука в щербленой рукавице.

Слышит Русь, на корточки присев,
Новых гуслей звончатый напев
И бредет дорожкой незнакомой,
Опоясана декретом Совнаркома.

Выезжает рысью на поля
Новый, светлый Муромец Илья,
Звонко цокают железные подковы...
К серым хатам светлый держит слово.

Звезды тихо сумерками льют
И молчат, заслушавшись Илью.
Новых дней кровавые поверья
Слышат хаты... Верят и не верят...

Так же слепо щурятся в закат
Окна серых утомленных хат,
Но рокочат звончатые гусли
Над тревожно слушающей Русью.

1921

ДВОЕ

Они улеглись у костра своего,
Бессильно раскинув тела,
И пуля, пройдя сквозь висок одного,
В затылок другому вошла.

Их руки, обнявшие пулемет,
Который они стерегли,

Ни вьюга, ни снег, превратившийся в лед,
Никак оторвать не могли.

Тогда к мертвецам подошел офицер
И грубо их за руки взял,
Он, взглядом своим проверяя прицел,
Отдать пулемет приказал.

Но мертвые лица не сводит испуг,
И радость уснула на них...
И холодно стало третьему вдруг
От жуткого счастья двоих.

1924

РАВФАКОВКЕ

Барабана тугой удар
Будит утренние туманы, —
Это скачет Жанна д'Арк
К осажденному Орлеану.

Двух бокалов влюбленный звон
Тушит музыка менуэта, —
Это празднует Трианон
День Марии-Антуанетты.

В двадцать пять небольших свечей
Электрическая лампадка, —
Ты склонилась, сестры родней,
Над исписанною тетрадкой...

Громкий колокол с гулом труб
Начинают «святое» дело:
Жанна д'Арк отдает костру
Молодое тугое тело.

Палача не охватит дрожь
(Кровь людей не меняет цвета), —
Гильотины веселый нож
Ищет шею Антуанетты.

Ночь за звезды ушла, а ты
Не устала, — под переплетом
Так покорно легли листья
Завоеванного зачета.

Ляг, укройся, и сон придет,
Не томися минуты лишней.
Видишь: звезды, сойдя с высот,
По домам разошлись неслышно.

Ветер форточку отворил,
Не задев остального зданья,
Он хотел разглядеть твои
Подошедшие воспоминанья.

Наши девушки, ремешком
Подпоясывая шинели,
С песней падали под ножом,
На высоких кострах горели.

Так же колокол ровно бил,
Затихая у барабана...
В каждом братстве больших могил
Похоронена наша Жанна.

Мягким голосом сон зовет.
Ты откликнулась, ты уснула.
Платье серенькое твое
Неподвижно на спинке стула.

1925

НА МОРЕ

Ночь надвинулась на прибой,
Перемешанная с водой,
Ветер, мокрый и черный весь,
Погружается в эту смесь.

Там, где издавна водяной
Правил водами, бьет прибой.

Я плыву теперь среди них —
Умиравших водяных.

Ветер с лодкой бегут вдвоем,
Ветер лодку толкнул плечом,
Он помчит ее напролом,
Он завяжет ее узлом.

Пристань издали стережет
Мой уход и мой приход.
Там под ветра тяжелый свист
Ждет меня молодой маркснст.

Окатила его сполна
Несознательная волна.
Он, ученый со всех сторон,
Поведеньем волны смущен.

И кричит и кричит мне вслед:
— Ты погнб, молодой поэт! —
Дескать, пробил последний час
Оторвавшемуся от масс!

Трижды схваченная водой,
Устремляется на прибой
К небу в вечные времена
Припечатанная луна.

И, ломая последний звук,
Мокрый ветер смолкает вдруг
У монах напряженных рук.

Море смотрит наверх, а там
По расчищенным небесам
Путешествует лунный диск
Из Одессы в Новороссийск.

Я оставил свое весло,
Море тихо его взяло.
В небе тающий лунный дым
Притворяется голубым.

Но готова отдать удар
Отдыхающая вода,
И под лодкой моей давно
Шевелится морское дно.

Там взволнованно проплыла
Одинокaя рыба-пинна,
И четырнадцать рыб за ней
Оседлали морских коней.

Я готов отразить ряды
Нападенья любой воды,
Но оставить я не могу
Человека на берегу.

У него и у меня
Одинаковые имена,
Мы взрывали с ним не одну
Сухопутную тишину.

Но когда до воды дошло,
Я налег на свое весло,
Он — противник морских простуд —
Встал у берега на посту.

И кричит и кричит мне вслед:
— Ты погиб, молодой поэт! —
Дескать, пробил последний час
Оторвавшемуся от масс.

Тучи в небе идут подряд,
Будто рота идет солдат,
Молнией вооружена,
Офицеру подчинена.

Лодке маленькой напролом
Встал восхода громадный дом.
Весла в руки, глаза туда ж,
В самый верхний его этаж.

Плыть сегодня и завтра плыть,
Горизонтами шевелить, —
Там, у края чужой земли,
Дышат старые корабли.

Я попробую их догнать,
И стрелять в них, и попадать.

Надо опытным быть пловцом,
И что шутка здесь ни при чем,
Подтверждает из года в год
Биография этих вод.

Ветер с лодкой вступил в борьбу,
Я навстречу ему гребу,
Чтоб волна уйти не смогла
От преследования весла.

1925

НЭПМАН

Я стою у высоких дверей,
Я слежу за работой твоей.
Ты устал. На лице твоём пот,
Словно капелька жира, течёт.
Стой! Ты рано, дружок, поднялся.
Поработай ещё полчаса!

К четырем в предвечернюю мглу
Магазин задремал на углу.
В ресторане пятнадцать минут
Ты блуждал по равнине Меню, —
Там, в широкой ее полутьме,
Протекает ручей Консоле,

Там в пещере незримо живет
Молчаливая тварь — Антрекот;
Прислонившись к его голове,
Тихо дремлет салат Оливье...

Ты раздумывал долго. Потом
Ты прицелился длинным рублем.

Я стоял у дверей, неданжм,
Я следил за обедом твоим.
Этот счет за бифштекс и компот
Записал я в походный блокнот,
И швейцар, ливреей звеня,
С подозреньем взглянул на меня.

А потом, когда стало темно,
Мерн Пикфорд зажгла полотно.
Ты сндел недвижимо — и вдруг
Обернулся, скрывая испуг, —
Ты услышал, как рядом с тобой
Я дожевывал хлеб с ветчиной.

Две кровати легли в полумгле,
Два ликера стоят на столе,
Пьяной женщины крашенный рот
Твои мокрые губы зовет.
Ты дрожащей рукою с нее
Осторожно снимаешь белье.

Я спокойно смотрел... Все равно,
Ты оплатишь мне счет за вино,
И за женщину двадцать рублей
Обозначено в книжке моей...
Этот день, этот час недалек:
Ты ответишь по счету, дружок!

Два ликера стоят на столе,
Две кровати легли в полумгле.
Молчаливо проходит луна.
Неподвижно стоит тишина.
В ней — усталость ночных сторожей,
В ней — бессонница наших ночей.

ТОВАРИЩАМ

На Мишку прежнего стал непохож Светлов,
И кто-то мне с упреком бросил,
Что я сменил ваш гул многоголосый
На древний сон старух и стариков.

Фронты и тыл... Мы вместе до сих пор уж.
Бредем в строю по выжженной траве.
И неизвестно нам, что каждый человек
Наполовину вор, наполовину сторож.

Мы все стоим на пограничьях рас
И стережем нашествие былого,
Но захотелось мне, как в детстве, снова
Разбить стекло и что-нибудь украсть.

Затосковала грудь и снова захотела
Вздохнуть разок прошедшим ветерком.
И, чтоб никто не мог прокрасться в дом,
Я голову свою повесил над замком
И щель заткнул своим высоким телом.

И пусть тоска еще сидит в груди.
Она умолкнет, седенькая крошка:
Пусть я ногою делаю подножки
Другой ноге, идущей впереди, —

Я подружу свои враждующие ноги
И расскажу, кому бы ни пришлось,
Что, если не сбиваться вкось,
Будет трудно идти
по прямой дороге.

1925

КНИГА

Безмолвствует черный обхват переплета,
Страницы тесней обнялись в корешке,
И книга недвижна. Но книге охота
Прильнуть к человеческой теплой руке.

Небрежно рассказ недочитанный кинут,
Хозяин ушел и повесил замок.
Сегодня он отдал последний полтнинник
За краткую встречу с героем Зоро.

Он сядет на лучший из третьего места,
Ему одному предназначенный стул,
Смотреть, как Зоро похищает невесту,
В запретном саду раздирая листву.

Двенадцать сержантов и десять капралов
Его окружают, но маска бежит,
И вот уж на лошади мчится по скалам,
И в публику сыплется пыль от копыт,

И вот на скале, где над пропастью выгиб,
Бесстрашный Зоро повстречался с врагом...
Ну, разве покажет убогая книга
Такой полновесный удар кулаком?

Безмолвствует черный обхват переплета,
Страннцы тесней обнялись в корешке,
И книга недвижна. Но книге охота
Прильнуть к человеческой теплой руке.

1925

ГРЕНАДА

Мы ехали шагом,
Мы мчались в боях
И «Яблочко»-песню
Держали в зубах.
Ах, песенку эту
Доныне хранит
Трава молодая —
Степной малахит.

Но песню нную
О дальней земле

Возил мой приятель
С собою в седле.
Он пел, озирая
Родные края:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!»

Он песенку эту
Твердил наизусть...
Откуда у хлопца
Испанская грусть?
Ответь, Александровск,
И Харьков, ответь:
Давно ль по-испански
Вы начали петь?

Скажи мне, Украина,
Не в этой ли ржи
Тараса Шевченко
Папаха лежит?
Откуда ж, приятель,
Песня твоя:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя»?

Он медлит с ответом,
Мечтатель-хохол:
— Братишка! Гренаду
Я в книге нашел.
Красивое имя,
Высокая честь —
Гренадская волость
В Испании есть!

Я хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать.
Прощайте, родные!
Прощайте, семья!
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!»

Мы мчались, мечта
Постичь поскорей
Грамматнку боя —
Язык батарей.
Восход поднимался
И падал опять,
И лошадь устала
Степямн скакать.

Но «Яблочко»-песню
Играл эскадрон
Смычками страданный
На скрипках времен...
Где же, приятель,
Песня твоя:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя»?

Пробитое тело
Наземь сползло,
Товарищ впервые
Оставил седло.
Я видел: над трупом
Склонилась луна,
И мертвые губы
Шепнули: «Грена...»

Да. В дальнюю область,
В заоблачный плес
Ушел мой приятель
И песню унес.
С тех пор не слышали
Родные края:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!»

Отряд не заметил
Потерн бойца
И «Яблочко»-песню
Допел до конца.
Лишь по небу тихо

Сползла погода
На бархат заката
Слезника дождя...

Новые песни
Придумала жизнь...
Не надо, ребята,
О песне тужить.
Не надо, не надо,
Не надо, друзья...
Гренада, Гренада,
Гренада моя!

1926

ПРИЗРАК

Я был совершенно здоровым в тот день,
И где бы тут призраку взяться?
В двенадцать часов появляется тень
Без признаков галлюцинаций.

(Она не похожа на мертвецов,
Являвшихся прежде поэтам,
Ей френч голубой заменяет покров,
И кепка на череп надета.

Чернеющих впадин безжизненный взгляд
Под блеском пенсне оживает.
И таза не видно — пуговниц ряд
Наглухо все закрывает.)

— Привет мой земному!

— Здорово, мертвец!

Мне странно твое посещение.
Я ведь не Гамлет — мой старый отец
Живет на моем иждивенье.

Зачем ты явился? О тень, удались!
Ведь я (что для призрака хуже?)

По убеждениям материалист
И комсомолец к тому же.

Знакомство вести с мертвецами давно
Для нас подозрительный признак.
Поэтам теперешним запрещено
Иметь хоть малюсенький призрак.

И если войдет посторонний ко мне
И встретит нас, определению
Я медленно буду гореть на огне
Уклонов,
Уклонов,
Уклонов!..

Мне голосом тихим мертвец отвечал
С заметным загробным акцентом:
— Мой друг! Я в твоём общежитье стучал
В двери ко многим студентам.

— Уйдите! — они мне кричали в ответ
Дрожащими голосами.

— Уйдите! Вон там проживает поэт,
Ведущий дела с мертвецами.

О друг мой земной! Не чуждайся меня,
Забудем о классовой розни...
По вашей столице я шлялся три дня,
Две ночи провел на морозе.

Я вышел из гроба как следует быть:
С косою и в покрывале.

(Такие экскурсии, может быть,
Ты вспомнишь — и прежде бывали.)

Но только меня увидали в лесу
В моем облачении древнем,
Безжалостно отобрали кесу
И отослали в деревню.

Я в город явился, и многих зевак
Одежда моя удивляла:

— Снимай покрывало, старый чудаки!
Кто носит теперь покрывала?!

Они выражали сочувствие мне,
И, чтоб облегчить мои муки,
Мне выдали френч, подарили пенсне,
Надели потертые брюки.

Тяжел и неловок мой жизненный путь,
Тем более что не живой я...
О друг мой живущий, позволь отдохнуть
Хотя б до рассвета с тобою!..

Он встал на колени, он плакал, он звал.
Он принялся дико метаться.
Я был беспощаден: я призрак прогнал,
Спасая свою репутацию.

Теперь вспоминаю ночью порой
О встрече такой необычной.
Должно быть, на каменной мостовой
Бедняга скончался вторично.

1926

ЛИРИЧЕСКИЙ УПРАВДЕЛ

Мы об руку с лаской жестокость встречаем:
Убийца спасает детей и животных,
Палач улыбается дома за чаем
И в жмурки с сыннишкой играет охотно.

И даже поэты беседуют прозой,
Готовят зачеты, читают рассказы...
Лишь вы в кабинете насупились грозно,
Входящих улыбкой не встретив ни разу.

За осенью — стужа, за веснами — лето,
Прносятся праздники колоколами,
Таинственной жзнью в тиши кабинетов
Живут управляющие делами.

Для лета есть зонтик, зимою — калоши,
Надежная крыша — дождь не прольются...
Ах, если б вы знали, как много хороших
На складах поэзии есть резолюций!

Ведь каждая буква из стихотворенья
В любой резолюции сыщет подругу,
Но там, где начертано ваше решение,
Там буквы рыдают, запрятавшись в угол...

Суровый товарищ, прошу вас — засмейтесь!
Я новую песню для вас пропою.
Улыбка недремлющим красноармейцем
Встает, охраняя поэму мою.

Устало проходит эпический полдень,
Лирический сумрак сгустился над нами.
Вы слышите? Песнями сумрак заполнен,
И конница снова звенит стременами.

Ах, это, поверьте, не отблеск камина —
Теплушечный дым над степями заплавал.
Пред нами встает боевая равнина
Огромною комнатой смерти и славы.

Артиллерийская ночь наготове,
Ждет, неприятеля подозревая...
Атака! Я снова тобой арестован,
Тебя вспоминая в теплушке трамвая.

Суровый товарищ! Солнце заходит,
Но наше еще не сияло как следует.
Прошу вас: засмейтесь, как прежде, бывало,
У дымных костров за веселой беседою.

На нас из потемок, даруя нам песни,
Страна боевая с надеждой глядела...
Страна боевая! Ты снова воскреснешь,
Когда засмеются твои управделы.

Ты снова воскреснешь, ты спросишь поэта:
«Готова ли песня твоя боевая?»
Я сразу ударю лирическим ветром,
Над башнями смеха улыбку взвивая.

ЕСЕНИНУ

День сегодня был короткий,
Тучи в сумерки утлыли,
Солнце тихою походкой
Подошло к своей могиле.

Вот, неслышно вырастая
Перед жадными глазами,
Ночь большая, ночь густая
Приближается к Рязани.

Шевелится над осокой
Месяц бледно-желтоватый,
На крюке звезды высокой
Он повесился когда-то.

И, согнувшись в ожиданье
Чьей-то помощи напрасной,
От начала мирозданья
До сих пор висит, несчастный...

Далеко в пространствах поздних
Этой ночью вспомнят снова
Атлантические звезды
Иностранца молодого.

Ах, недаром, не напрасно
Звездам сверху показалось,
Что еще тогда ужасно
Голова на нем качалась...

Ночь пойдет обходом зорким,
Все окинет черным взглядом,
Обернется над Нью-Йорком
И заснет над Ленинградом.

Город, шумно встретив отдых,
Веселился в час прощальный...
На пиру среди веселых
Есть всегда один печальный.

И когда родное тело
Приняла земля сырая,
Над пивной не потускнела
Краска желто-голубая.

Но родную душу эту
Вспомнят нежными словами
Там, где новые поэты
Зашумели головами.

1926

КЛОПЫ

Халтура меня догоняла во сне,
Хвостом зацепив одеяло,
И путь мой от крови краснел и краснел,
И сердце от бега дрожало.

Луна закатилась, и стало темней,
Когда я очнулся и тотчас
Увидел: на смятой постели моей
Чернеет клопов многоточье.

Сурово и ровно я поднял сапог:
Расправа должна быть короткой, —
Как вдруг услышал молодой голосок,
Идущий из маленькой глотки:

— Светлов! Успокойся! Нет счастья в крови,
И казни жестокой не надо!
Великую милость сегодня яви
Клопиному нашему стаду!

Ах, будь снисходительным и пожалей
Несчастную горсть насекомых,
Которые трижды добрей и скромней
Твоих плутоватых знакомых!

Стенанья умолкли, и голос утих,
Но гнев мой почувствовал валю:

— Имейте в виду, о знакомых моих
Я так говорить не позволю!

Мой голос был громок, сапог так велик,
И клоп задрожал от волненья:

— Прости! Я высказывать прямо привык
Свое беспартийное мнение.

Я часто с тобою хожу по Москве,
И, как поэта любого,
Каждой редакции грубая дверь
Меня прищемить готова.

Однажды, когда ты халтуру творил,
Валяясь на старой перине,
Я влез на высокие брюки твои
И замер... на левой штанине.

Ты встал наконец-то (штаны натянуть
Работа не больше минуты),
Потом причесался и двинулся в путь
(Мы двинулись оба как будто).

Твой нос удручающе низко висел,
И скулы настолько торчали,
Что рядом с тобой Дон-Кихота бы все
За нэлмана принимали...

Ты быстро шагаешь. Москва пред тобой
Осенними тучами дышит.
Но вот и редакция. Наперебой
Поэты читают и пишут.

Что, дескать, кто умер, заменим того,
Напрасно, мол, тучи нависли,
Что близко рабочее торжество...
Какие богатые мысли!

Оставив невыгодность прочих дорог,
На светлом пути коммунизма
Они получают копейку за вздох
И рубль за строку оптимизма...

Пробившись сквозь дебри поэтов, вдвоем
Мы перед редактором стынем.
Ты сразу: «Стихотворенье мое
Годится к восьмой годовщине».

Но сзади тебя оборвали тотчас:
«Куда вы! Стихи наши лучше!
Они приготавливаются у нас
На всякий торжественный случай.

Красная Армия за восемь лет
Нагнала на нас вдохновение...
Да здоровствует Либкнехт, и Губпрофсовет,
И прочие учреждения!

Да здоровствует это, да здоровствует то!..»
И, поражен беспорядком,
Ты начал укутываться в пальто,
Меня задевая подкладкой.

Я всполз на рукав пиджака твоего
И слышал, как сердце стучало...
Поверь: никогда ни одно существо
Так близко к тебе не стояло.

Когда я опять перешел на кровать,
Мне стало отчаянно скверно,
И начал я тонко и часто чихать,
Но ты не расслышал, наверно.

Мои сотоварищи — те же клопы —
На нас со слезами смотрели:
Пускай они меньше тебя и слабы —
Им лучше живется в постели.

Пусть ночь наша будет темна и слепа,
Но все же — клянусь головою —
История наша не знает клопа,
Покончившего с собою.

1926



Я в жизни ни разу не был в таверне,
Я не пил с матросами крепкого виски,
Я в жизни ни разу не буду, наверно,
Скакать на коне по степям аравийским,

Мне робкой рукой не натягивать перус,
Веслом не взмахнуть, не кружить в урагане, —
Атлантика любит соленого парня
С обветренной грудью, с кривыми ногами...

Стеной за бортами льдины сожмутся,
Мы будем блуждать по огромному полю, —
Так будет, когда мне позволит Амундсен
Увидеть хоть издали Северный полюс.

Я, может, не скоро свой берег покину,
А так хорошо бы под натиском бури,
До косточек зная свою Украину,
Тропической ночью на вахте дежурить.

В черниговском поле, над сонною рощей
Подобные ночи еще спускались, —
Чтоб по небу звезды бродили на ощупь
И в темноте на луну натыкались...

В двенадцать у нас запирают ворота,
Я мчал по Фонтанке, смешавшись с толпою,
И все мне казалось: за поворотом
Усатые тигры прошли к водопою.

1926

В КАЗИНО

Мне грустную повесть крупье рассказал:
— В понте — девятка, банк проиграл!

— Крупье! Обождите, я ставлю в ответ
Когда-то написанный скверный сонет.

Грустная повесть несется опять:
— Банк проиграл, в ponte — пять!

Здесь мелочью выиграть много нельзя.
Ну что же, я песней рискую, друзья!

Заплавали люстры в веселом огне,
И песня дрожит на зеленом сукне...

Столпились, взволнованны, смотрят: давно
Не видело пыток таких казино.

И только спокойный крупье говорит:
— Игра продолжается, банк не докрыт!

Игрок приподнялся, знакомый такой.
Так вот где мы встретились, мой дорогой!

Ты спасся от пули моей и опять
Пришел, неостреленный, в карты играть...

В накуренном зале стоит тишина.
— Выиграл банк! Получите сполна!

Заплавали люстры в веселом огне,
И песня встает и подходит ко мне.

— Я так волновалась, мой дорогой! —
Она говорит и уходит со мной...

На улице тишь. В ожиданье зари
Шпалерами строятся фонари.

Уже рассветает, но небо в ответ
Поставило сотню последних планет.

Оно проигрывает: не может оно
Хорошею песней рискнуть в казино.

1927



Мы с тобой, родная,
Устали как будто, —
Отдохнем же минуту
Перед новой верстой.
Я уверен, родная:
В такую минуту
О таланте своем
Догадался Толстой.

Ты ведь помнишь его?
Сумасшедший старик!
Он ласкал тебя сморщенной,
Дряблой рукою.
Ты в немом сладострастье
Кусала язык
Перед старцем влюбленным,
Под лаской мужскою.

Может, я ошибаюсь,
Может быть, ты ни разу
Не явилась нагою
К тому старику.
Может, Пушкин с тобою
Проскакал по Кавказу,
Пролетел, простирая
Тропу, как строку...

Нет, родная, я прав!
И Толстой и другие
Подарили тебе
Свой талант и тепло.
Я ведь видел, как ты
Пронеслась по России,
Сбросив Бунина,
Скинув седло.

А теперь подо мною
Влюбленно и пылко
Ты качаешь боками,

Твой огонь не погас...
Так вперед же, вперед,
Дорогая кобылка,
Дорогая лошадка
Пегас!

1927

ГРАНИЦА

Я не знаю, где граница
Между севером и югом,
Я не знаю, где граница
Меж товарищем и другом.

Мы с тобою шляли долго,
Бились дружно, жили наспех.
Отвоевывали Волгу,
Лавой двигались на Каспий.

И, бывало, кашу сварить
(Я — знаток горячей пищи),
Пригласишь тебя:

— Товарищ,

Помоги поесть, дружище!

Протекло над нашим домом
Много лет и много дней,
Выросло над нашим домом
Много новых этажей.

Это много, это слишком:
Ты опять передо мной —
И дружище, и братишка,
И товарищ дорогой!..

Я не знаю, где граница
Между пламенем и дымом,
Я не знаю, где граница
Меж подругой и любимой.

Мы с тобою лишь недавно
Повстречались и теперь
Закрываем наши ставни,
Запираем нашу дверь.

Сквозь полуночную дрему
Надвигается покой,
Мы вдвоем остались дома,
Мой товарищ дорогой!

Я тебе не для причуды
Стих и молодость мою
Вынимашо из-под студа,
Не жалея, отдаю.

Люди злым меня прозвали,
Видишь — я совсем другой,
Дорогая моя Вая,
Мой товарищ дорогой!

Есть в районе Шепетовки
Пограничный старый бор —
Только люди
И винтовки,
Только руки
И затвор.

Утро тихо серебрится...
Где, родная, голос твой?..
На единственной границе
Я бессменный часовой.

Скоро ль встретимся — не знаю.
В эти злые времена,
Ведь любовь, моя родная, —
Только отпуск для меня.

Посмотри:
Сквозь муть ночную
Дым от выстрелов клубится...
Десять дней тебя целую,
Десять лет служу границе...

Собираются отряды...
Эй, друзья!
Смелее, братцы!..

Будь же смелой! —
Стань же рядом,
Чтобы нам не расставаться!

1927

СТАРУШКА

Время нынче такое: человек не на месте,
И земля уж, как видно, не та под ногами.
Люди с богом когда-то работали вместе,
А потом отказались: мол, справимся сами.

Дорогая старушка! Побеседовать не с кем вам,
Как поэт, вы от массы прохожих оторваны...
Это очень опасно — в полдень по Невскому
Путешествие с правой на левую сторону...

В старости люди бывают скупее —
Вас трамвай бы за мелочь довез без труда,
Он везет на Васильевский за семь копеек,
А за десять копеек — черт знает куда!

Я стихи свои нынче переделывал заново,
Мне в редакции дали за них мелочишку.
Вот вам деньги. Возьмите, Марья Ивановна!
Семь копеек — проезд, про запасец — излишки...

Товарищ! Певец наступлений и пушек,
Ваятель красных человеческих статуй,
Простите меня — я жалею старушек,
Но это единственный мой недостаток.

1927

ПРОВОД

Человек обещал
Проводам молодым:
— Мы дадим вам работу
И песню дадим! —
И за дело свое
Телеграф принялся,
Вдоль высоких столбов
Телеграммы неся.

Телеграфному проводу
Выхода нет —
Он поет и работает,
Словно поэт...

Я бы тоже, как провод,
Ворону качал,
Я бы пел,
Я б рассказывал,
Я б не молчал.
Но сплошным наказаньем
Сквозь ветер, сквозь тьму
Телеграммы бегут
По хребту моему:
«Он встает из развалин —
Нанкин, залитый кровью...»
«Папа, мама волнуются,
Сообщите здоровье...»

Я бегу, обгоняя
И конных и пеших...
«Вы напрасно волнуетесь...» —
Отвечает депеша.

Время!
Дай мне как следует
Вытянуть провод,
Чтоб не даром поэтом
Меня называли,
Чтоб молчать, когда Лидочка

Отвечает: «Здорова!»,
Чтоб гудеть, когда Нанкин
Встает из развалин...

1927

ПЕРЕД БОЕМ

Я нынешней ночью
Не спал до рассвета.
Я слышал — проснулся
Военные ветры.
Я слышал — с рассветом
Девятая рота
Стучала, стучала,
Стучала в ворота.

За тонкой стеною
Соседи храпели,
Они не слышали,
Как ветры скрипели.

Рассвет подымался,
Тяжелый и серый,
Стояли усталые
Миллионеры,
Пятнистые кошки
По каменным зданьям
К хвостатым любовникам
Шли на свиданье.

Над улицей тихой,
Большой и безлюдной,
Вздыхался рассвет
Государственных будней.
И, радуясь мирной
Такой обстановке,
На теплых постелях
Проснулись торговки.

Но крепче и крепче
Упрямая рота
Стучала, стучала,
Стучала в ворота.

Я рад, что, как рота,
Не спал в эту ночь,
Я рад, что хоть песней
Могу ей помочь.

Крепчает обида, молчит,
И внезапно
Походные трубы
Затрубят на Запад.
Крепчает обида.
Товарищ, пора бы,
Чтоб песня взлетела
От штаба до штаба!

Советские пули
Дождутся полета...
Товарищ начальник,
Откройте ворота!
Туда, где бригада
Поставит пикеты, —
Пусть поэт!
И песню поэт!

Знакомые тучи!
Как вы живете?
Кому вы намерены
Нынче грозить?
Сегодня на мой
Пиджачок из шевьота
Упали две капли
Военной грозы.

1927

ЖИВЫЕ ГЕРОИ

Чубатый Тарас
Никого не щадил...
Я слышу
Полуночным часом
Сквозь двери:
— Андрий! Я тебя породил! —
Доносится голос Тараса.

Прекрасная панна
Тиха и бледна,
Распущены косы густые,
И падает наземь,
Как в бурю сосна,
Пробитое тело Андрия...

Я вижу:
Кивает смешной головой
Добчинский — старый подлиза,
А рядом с обрыва
Вниз головой
Бросается бедная Лиза...

Полтавская полночь
Над миром встает...
Он бродит по саду свирепо,
Он против России
Неверный поход
Задумал — изменник Мазепа.

В тесной темнице
Сидит Кочубей
И мыслит всю ночь о побеге,
И в час его казни
С постели своей
Поднялся Евгений Онегин:

— Печорин! Мне страшно!
Всюду темно!
Мне кажется, старый мой друг,

Пока Достоевский сидит в казино,
Раскольников глушит старух!..

Звезды уходят,
За темным окном
Поднялся рассвет из тумана...
Толчком паровоза,
Крутым колесом
Убита Каренина Анна...

Товарищи классики!
Бросьте чудить!
Что это вы, в самом деле,
Героев своих
Порешили убить
На рельсах,
В петле,
На дуэли?..

Я сам собираюсь
Роман написать —
Большущий!
И с первой страницы
Героев начну
Ремеслу обучать
И сам помаленьку учиться.

И если, не в силах
Отбросить невроз,
Герой заскучает порою, —
Я сам лучше кинусь
Под паровоз,
Чем брошу на рельсы героя.

И если в гробу
Мне придется лежать,
Я знаю:
Печальной толпою
На кладбище гроб мой
Пойдут провожать
Спасенные мною герои.

Прохожий застынет
И спросит тепло:
— Кто это умер, приятель? —
Герои ответят:
— Умер Светлов!
Он был настоящий писатель!

1927

В РАЗВЕДКЕ

Поворачивали дула
В синем холоде штыков,
И звезда на нас взглянула
Из-за дымных облаков.

Наши кони шли понуро,
Слабо чужь повода.
Я сказал ему: — Меркурий
Называется звезда.

Перед боем больно тускло
Свет свой синий звезды льют...
И спросил он:
— А по-русски
Как Меркурия зовут?

Он сурово ждал ответа;
И ушла за облака
Иностранная планета,
Испугавшись мужика.

Тихо, тихо...
Редко, редко
Донесется скрип телег.
Мы с утра ушли в разведку,
Степь и травы — наш ночлег.

Тихо, тихо...
Мелко, мелко

Полночь брызнула свинцом, —
Мы попали в перестрелку,
Мы отсюда не уйдем.

Я сказал ему чуть слышно:
— Нам не выдержать огня.
Поворачивай-ка дышло,
Поворачивай коня.

Как мы шли в ночную сырость,
Как бежали мы сквозь тьму —
Мы не скажем командиру,
Не расскажем никому.

Он взглянул из-под папахи,
Он ответил:
— Наплевать!
Мы не зайцы, чтобы в страхе
От охотника бежать.

Как я встану перед миром,
Как он взглянет на меня,
Как скажу я командиру,
Что бежал из-под огня?

Лучше я, ночной порою
Погибая на седле,
Буду счастлив под землею,
Чем несчастен на земле...

Полночь пулями стучала,
Смерть в полуночи брела,
Пуля в лоб ему попала,
Пуля в грудь мою вошла.

Ночь звенела стременими,
Волочились поводья,
И Меркурий плыл над нами —
Иностранная звезда.

1927

ПЕРЕВОДЫ ИЗ А. МКРТЧЯНЦА *

1

Греческое тело обиажив,
Девушка дрожит от нетерпенья...
Тихо спит мое стихотворенье,
Голову на камень положив.

Девушка сгорит от нетерпенья,
Оттого, что вот уж сколько лет
Девушка, какой на свете нет,
Сиится моему стихотворенью.

2

Молодое греческое тело
Изредка хотелось полюбить, —
Так, бывало, до смерти хотелось,
Ночью просыпаясь, закурить.

И однажды полночью слепою
Мимо спящей девушки моей
Я промчусь, как мчится скорый поезд
Мимо полустаночных огней.

3

Дикая моя натура!
Что нашла ты в этой сладкой лжи?
Никакая греческая дура
Тело предо мной не обиажит.

* Мистификация — это оригинальные стихи М. Светлова.

Так однажды в детстве в наказание
Мать меня лишила леденцов, —
Ничего не выдало лицо,
Но глаза лоснились от желанья.

4

Молодость слезами орошая,
В поисках последнего тепла,
Видишь — голова моя большая
Над тобой, как туча, проплыла.

Никогда она не пожалеет,
Что плыла, как туча, над тобой,
Оттого, что облако имеет
Очень много общего с землей.

1927

СТАРОСТЬ

Вот я обтрепан ветрами,
Как старое здание,
Форму теряю свою,
Как раздетый солдат.
Мышцы ослабли,
И дремлют воспоминанья,
Первые ласточки —
Старые ласточки —
Спят.

Вся в сарпинке веселья,
Не веруя в старость чужую,
Юность рядом идет,
Как моя проходила в те дни.
И под солнцем ее,
Притворяясь своим,
Прохожу я,

Больше чем нужно —
На три четверти скрытый в тени...

С улиц врываясь,
Звенит на столе у поэта
Крошками хлеба
Разбросанный праздничный звон...
Близится старость...
И мельтешат у окон
Стаи ворон,
С отвращением ждущие лета...

1927

ПОХОРОНЫ РУСАЛКИ

*И хотела она доплеснуть до луны
Серебристую пену волны.*

Лермонтов

Рыбы собирались
В печальный кортеж,
Траурный Шопен
Громычал у заката...
О светлой покойнице,
Об ушедшей мечте,
Плавники воздев,
Заговорил оратор.

Грузный дельфин
И стройная скумбрия
Плакали у гроба
Горячими слезами,
Оратор распинался,
В грудь бия,
Шопен зарыдал,
Застонал
И замер.

Покойница лежала
Бледная и строгая.

Солнце разливалось
Над серебряным хвостом.
Ораторы сменяли
Друг друга.
И потом
Двинулась процессия
Траурной дорогою.

Небо неподвижно.
И море не шумит...
И, вынув медальон,
Где локон белокурый,
В ледовитом хуторе
Растроганный кит
Седьмую папиросу,
Вопнуясь,
Закуривал...

Покойницу в могилу,
Головою — на запад,
Хвостом — на восток.
И вознеслись в вышину
Одиннадцать салютов —
Одиннадцать залпов —
Одиннадцать бурь
Ударяли по дну...

Над морем,
Под облаком
Тишина,
За облаком
Звезды
Рассыпанной горсткой...
Я с берега видел:
Седая волна
С печальным известьем
Неслась к Пятигорску.

Подводных глубин
Размеренный ход,
Качающийся гроб —

Романтика в забвенье.
А рядом
Величаяя
Рыба-счетовод
Высчитывает сальдо —
Расход на погребенье.

Рыба-счетовод
Не проливала слез,
Она не грустила
О тяжелой потере.
Светлую русалку
Катафалк увез —
Вымирают индейцы
Подводной прерии...

По небу полуполночному
Проходит луна,
Сказка снаряжается
К ночному полету.
Рыба-счетовод
Сидит одна,
Щелкает костяшками
На старых счетах.

Девушка приснилась
Прыщавому лещу,
Юноша во сне
По любимой томится.
Рыба-счетовод
Погасила свечу,
Рыбе-счетоводу
Ничего не приснится...

Я с берега кидался,
Я глубоко нырял,
Я взволновал кругом,
Я растревожил воду,
Я ринсковал как черт,
Но не достал,
Не донырнул
До рыбы-счетовода.

Я выполз на берег,
Измученный,
Без сил,
И снова бросился,
Переведя дыханье...
Я заповедь твою
Запомнил,
Миханл,
Исполню,
Лермонтов,
Последнее желанье!

Я буду плыть
Сквозь эту гущу вод,
Меж трупов моряков,
Сквозь темноту,
Чтоб только выловить,
Чтоб рыба-счетовод
Плыла вокруг русалки
С карандашом во рту...

Море шевелит
Погибшим кораблем,
Летучий Голландец
Свернул паруса.
Солнце поднимается
Над Кавказским хребтом,
На сочинских горах
Зеленеют леса.

Светлая русалка
Давно погребена,
По морю дельфин
Блуждает сиротливо...
И море бушует,
И хочет волна
Доплеснуть
До прибрежного
Кооператива.

1928

ИГРА

Сколько милых значков
На трамвайном билете!
Как смешиа эта круглая
Толстая дама!..
Пассажиры сидят,
Как послушные дети,
И трамвай —
Как спешащая за покупками мама.

Инфантильный кондуктор
Не по-детски серьезен,
И вагоновожатый
Сидит за машинкой...
А трамвайные окна
Цветут на морозе,
Пробегая пространства
Смолеиского рылика.

Молодая головка
Опущена изко...
Что, соседка,
Печально живется на свете?..
Я играю в поэта,
А ты — в машинистку;
Мы всегда недовольны —
Капризные дети.

Ну, а ты, мой сосед,
Мой приятель безногий,
Неудачный участник
Военной забавы,
Переплывший озера,
Пересекший дороги,
Зажигавший костры.
У зеленой Полтавы...

Мы играли снарядами
И динамитом,
Мы дразнили коней,

Мы шутили с огнями,
И махновцы стонали
Под конским копытом, —
Перебитые куклы
Хрустели под нами.

Мы играли железом,
Мы кровью играли,
Блуждали в болоте,
Как в жмурки играли...
Подобные шутки
Еще не бывали,
Похожие игры
Еще не случались.

Оттого, что печаль
Наплывает порою,
Для того, чтоб забыть
О тяжелой потере,
Я кровавые дни
Называю игрою,
Уверяю себя
И других...
И не верю.

Я не верю,
Чтоб люди нарочно страдали,
Чтобы в шутку
Полки поднимали знамена...
Приближаются вновь
Беспокойные дали,
Вспышки выросших могний
И гром отдаленный.

Как спокойно идут
Эти мирные годы —
Чад бесчисленных кухонь
И немых пеленок!..
Чтобы встретить достойно
Перемену погоды,
Я играю, как лирик —
Как серьезный ребенок...

Мой безногий сосед —
Спутник радостных странствий!
Посмотри:
Я опять разжигаю костры,
И запляшут огни,
И зажгутся пространства
От моей небывалой игры.

1928

БОЛЬШАЯ ДОРОГА

К застенчивым девушкам,
Жадным и юным,
Сегодня всю ночь
Приближались кошмаром
Гнедой жеребец
Под высоким драгуном,
Роскошная лошадь
Под пышным гусаром...

Совсем как живые,
Всю ночь неустанно
Являлись волшебные
Штабс-капитаны,
И самых красивых
В начале второго
Избрали, ласкали
И нежили вдовы.

Звенели всю ночь
Сладострастные шпоры,
Мелькали во сне
Молодые майоры,
И долго в плену
Обнимающих ручек
Барахтался
Неотразимый поручик...

Спокоен рассвет
Довоенного мира.

В тревоге заснул
Городок благочинный,
Мечтая бойцам
Предоставить квартиры
И женщин им дать
Соответственно чину,

Чтоб трясся казак
От любви и от спирта,
Чтоб старый полковник
Не выглядел хмуро...
Уезды дрожат
От солдатского флирта
Тяжелой походкой
Военных амуров.

Большая дорога
Военной удачи!
Здесь множество
Женщин красивых бежало,
Армейцам любовь
Отдавая без сдачи,
Без слез, без истерик,
Без писем, без жалоб.

По этой дороге,
От Волги до Буга,
Мы тоже шагали,
Мы шли, задыхаясь, —
Горячие чувства
И верность подругам
На время походов
Мы сдали в цейхгауз.

К застенчивым девушкам,
В полночь счастливым,
Всю ночь приближались
Кошмаром косматым
Гнедой жеребец
Под высоким начдивом,
Роскошная лошадь
Под стройным комбатом.

Я тоже не ангел, —
Я тоже частенько
У двери красавицы
Шпорами тенькал,
Усы запускал
И закручивал лихо,
Пускаясь в любовную
Неразбериху.

Нам жены простили
Измены в походах,
Уютом встречают нас
Отпуск и отдых.
Чего же, друзья,
Мы склонились устало
С тяжелым раздумьем
Над легким бокалом?

Большая дорога
Манит издалече,
Зовет к приключениям
Сторонка чужая.
Веселые вдовы
Выходят навстречу,
Печальные женщины
Нас провожают...

Но смрадный осадок
На долгие сроки,
Но стыд, как пощечина,
Ляжет на щеки.
Простите нам, жены!
Прости нам, эпоха,
Гусарских традиций
Проклятую похоть!

1928

КРИВАЯ УЛЫБКА

М. Голодному и А. Ясному

Меня не пугает
Высокая дрожь
Пришедшего дня
И ушедших волнений, —
Я вместе с тобою
Несусь, молодежь,
Перил не держась,
Не считая ступеней.

Короткий размах
В ширину и в длину —
Мы в щелки разносим
Старинные фрески,
Улыбкой кривою
На солнце сверкнув,
Улыбкой кривою,
Как саблей турецкой...

Мы в сумерках синих
На красный парад
Несем темно-серый
Буденновский шлем,
А Подлость и Трусость,
Как сестры, стоят,
Навек исключенные
Из ЛКСМ.

Простите, товарищ!
Я врать не умею —
Я тоже билета
Уже не имею,
Я трусом не числюсь,
Но с Трусостью рядом
Я тоже стою
В стороне от парада.

Кому это нужно?
Зачем я пою?
Меня все равно
Комсомольцы не слышат,
Меня все равно
Не узнают в бою,
Меня оттолкнут
И в мещане запишут.

Неправда!
Я тот же поэт-часовой,
Мое исключенье
Совсем неопасно.
Меня восстановят —
Клянусь головой!..
Не правда ль, братишки
Голодный и Ясный?

Вы помните грохот
Двадцатого года?
Вы слышите запах
Военной погоды?
Сквозь дым наша тройка
Носилась бегом,
На нас дребезжали
Бубенчики бомб.

И молодость наша —
Веселый ящик —
Меня погоняла
Со свистом и пеньем.
С тех пор я сквозь годы
Носиться привык,
Перил не держась,
Не считая ступеней...

Обмотки сползали,
Болтались винтовки...
(Рассеянность милая,
Славное время!)
Вы помните первую

Командировку
С тяжелой кладью
Стихотворений?

Москва издалека,
И путь незаметный,
Бумажка с печатью
И с визой губкома,
С мандатами длинными
Вместо билетов
В столицу,
На съезд
Пролетарских поэтов.

Мне мать на дорогу
Яиц принесла,
Кусок пирога
И масла осьмушку.
Чтоб легкой, как пух,
Мне дорога была,
Она притащила
Большую подушку.

Мы молча уселись,
Дрожа с непривычки,
Готовясь к дороге,
Дороги не зная...
И мать моя долго
Бежала за бричкой,
Она задыхалась,
Меня догоняя...

С тех пор каждый раз,
Обернувшись назад,
Я вижу
Заплаканные глаза.
— Ты здорово, милая,
Утомлена,
Ты умираешь,
Меня не догнав.

Забудем родителей,
Нежность забудем —
Опять над полками
Всплывает атака,
Веселые ядра
Бегут из орудий,
Высокий прожектор
Выходит из мрака.

Он бродит по кладбищам
Разгоряченный,
Считая убитых,
Скользя над живыми,
И город проснулся
Отрядами ЧОНа,
Вздохнул шелестящими
Мостовыми...

Я снова тебя,
Комсомол, узнаю, —
Беглец, позабывший
Назад возвратиться,
Бессонный бродяга,
Веселый в бою,
Застенчивый чуточку
Перед партийцем.

Забудем атаки,
О прошлом забудем.
Друзья!
Начинается новое дело,
Глухая труба
Наступающих буден
Призывно над городом
Загудела.

Рассвет подымается,
Сонных будя,
За окнами утренний
Галочий митинг,
Веселые толпы

Бессонных бродят
Храпят
По студенческим общежитьям.

Большая дорога
За ними лежит,
Их ждет
Дорога большая
Домами,
Несущими этажи
К празднику
Первого мая...

Тесный приют,
Худая кровать,
Запачканные
Обои
И книги,
Которые иужно взять,
Взять — по привычке —
С бою.

Теплый народ!
Хороший народ!
Каждый из нас —
Гений.
Мы — по привычке —
Идем вперед,
Без отступлений!

Меня не пугает
Высокая дрожь
Пришедшего дня
И ушедших волнений...
Я вместе с тобою
Несусь, молодежь,
Перил не держась,
Не считая ступеней.

1928



Я годы учился недаром,
Недаром свинец рассыпал —
Одним дальнобойным ударом
Я в дальнюю мачту попал...

На компасе верном бесстрастно
Отмечены Север и Юг.
Летучий Голландец напрасно
Хватает спасательный круг.

Порядочно песенок спето,
Я молодость прожил одну, —
Посудину старую эту
Пущу непременно ко дну...

Холодное небо угрюмей
С рассветом легло на моря,
Вода набирается в трюме,
Шатается шхуна моя...

Тумана холодная примесь...
И вот на морское стекло,
Как старый испорченный примус,
Неясное солнце взошло.

На звон пробужденных трамваев,
На зов ежедневных забот
Жена капитана, зевая,
Домашней хозяйкой встает.

Я нежусь в рассветном угаре,
В разливе ночного тепла,
За окнами на тротуаре
Сугубая суша легла.

И где я найду человека,
Кто б мокрою песней хлестал, —
Друзья одноглазого Джека
Мертвы, распростерлись у скал.

И все ж я доволен судьбою,
И все ж я не гнусь от обид,
И все же моею рукою
Летучий Голландец убит.

1928



Товарищ устал стоять...
Полуторная кровать
По-женски его зовет
Подушечною горою.

Его, как бревно, несет
Семейный круговорот,
Политика твердых цен
Волнует умы героев.

Участник военных сцен
Командирован в центр
На рынке вертеть сукном
И шерстью распоряжаться, —

Он мне до ногтей знаком —
Иванушка-военком,
Послушный партийный сын
Уездного града Гжатска.

Роскошны его усы;
Серебряные часы
Получены благодаря
Его боевым заслугам;

От Муромца-богатыря
До личного секретаря,
От Енисея аж
До самого до Буга —

Таков боевой багаж,
Таков богатырский стаж
Отца четырех детей —
Семейного человека.

Он прожил немало дней —
Становится все скучней,
Хлопок ему надоел,
И шерсть под его опекой.

Он сделал немало дел,
Немало за всех радел,
А жизнь, между тем, течет
Медлительней и спокойней.

Его, как бревно, несет
Семейный круговорот...
Скучает в Брянских лесах
О нем Соловей-разбойник...

1928

Три стихотворения

1. ПОЕЗД

Он гремит пассажирами и багажом,
В полустанках тревожа звонки.
И в пути вспоминают
Оставленных жен
Ревнивые проводники.

Он грохочет...
А полночь легла позади
На зелено-оранжевый хвост.
Машинист с кочегаром
Летят впереди
Лилипутами огненных верст.

Это старость,
Сквозь ночь беспощадно гоня,
Приказала не спать, не дышать,
Чтобы вновь кочергой,
Золотой от огня,
Воспаленную юность мешать.

Чтобы вспомнить расцвет
Увядающих губ,
Чтобы молодость вспомнить на миг...
Так стоит напряженно,
Так смотрит на труп
Застреливший жену проводник.

2. ВЕТЕР

Сквозь лес простирая
Придушенный крик,
Вприсядку минуя равнины,
Проносится ветер,
Смешной, как старик,
Танцующий на нменнах.

Невежда и плут —
Он скатился в овраг,
Траву разрывая на части,
Он землю копает:
Он ищет, дурак,
Свое идиотское счастье.

Не пафос работы,
Не риск грабежа,
А скучное, нудное дело:
Проклятая должность —
Свистеть и бежать —
Порядком ему надоела.

Он хочет сквозь ночь
Пронести торжество
Не робким и не благочинным,

Он ропщет...
И я понимаю его
По многим, по тайным причинам...

3. ПОЕЗД И ВЕТЕР

Через голубые рубежи,
Через северный холодный пояс
Ветер вслед за поездом бежит,
Думая, что погоняет поезд.

Через Бологое в Ленинград,
Дуя в вентиляторы ретиво,
Он бежит за поездом —
Он рад
Собственной инициативе.

Он обманут,
Он трудится зря.
Он ненужен, но доволен зверски,
На себя ответственность беря
За доставку поездов курьерских.

Он боится время потерять,
И гудит,
И носится по крыше...
Так не станемте ж его разуверять:
Пусть гудит,
Чтоб не было затишья...

1929

ДОН-КИХОТ

Годы многих веков
Надо мной цепенеют.
Это так тяжело,
Если прожил балуясь...
Я один —

Я оставил свою Дульцинею,
Санчо Панса в Германин
Лечит свой люэс...

Гамбург,
Мадрид,
Сан-Франциско,
Одесса —
Всюду я побывал.
Я остался без денег...
Дело дрянь.
Сознаюсь:
Я надул Сервантеса,
Я — крупнейший в истории
Плут и мошенник...

Кровь текла меж рубцами
Земных операций,
Стала слава повальной
И храбрость банальной,
Но никто не додумался
С мельницей драться —
Это было бы очень
Оригинально!

Я безумно труслив,
Но в спокойное время
Почему бы не выйти
В тяжелых доспехах?
Я уселся на клячу.
Тихо звякнуло стремя,
Мне земля под копытом
Желала успеха...

Годы многих веков
Надо мной цепенеют.
Я умру —
Холостой,
Одинокий
И слабый...
Сервантес! Ты ошибся:

Свою Дульцинею
Никогда не считал я
Порядочной бабой.

Разве с девкой такой
Мне возиться пристало?
Это лишнее,
Это ошибка, конечно...
После мнимых побед
Я ложился устало
На огромные груди,
Большие, как вечность.

Дело вкуса, конечно...
Но я недоволен —
Мне в испанских просторах
Мечталось иное...
Я один...
Санчо Панса хронически болен,
Слава — грустной собакой
Плетется за мною.

1929

СМЕРТЬ

Каждый год и цветет
И отцветает миидаль...
Миллиарды людей
На планете успели истлеть...
Что о мертвых жалеть нам!
Мне мертвых нисколько не жаль!
Пожалейте меня!
Мне еще предстоит умереть!

1929

ПЕРЕМЕНЫ

С первого пожатия руки
Как переменялось все на свете!
Обручи катают старики,
Ревматизмом мучаются дети,

По Севану ходят поезда,
В светлый полдень зажигают свечи,
Рыбам опротивела вода,
Я люблю тебя, как сумасшедший.

1929

РАЗЛУКА

Вытерла заплаканное личико,
Ситцевое платье взяла,
Вышла — и, как птичка-невеличка,
В басенку, как в башенку, пошла.

И теперь мне постоянно снится,
Будто ты из басенки ушла,
Будто я женат был на синице,
Что когда-то море подожгла.

1929

ВЫДУМКА

Девушка от общества вдали
Проживала на краю земли,
Выдумкой, как воздухом, дышала,
Выдумке моей дышать мешала.

На краю земли она жила,
На краю земли — я повторяю...
Жалко только, что земля кругла
И что нет ей ни конца, ни краю...

1929

ПЕСНЯ

Н. Асееву

Ночь стоит у взорванного моста,
Конница запуталась во мгле...
Парень, презирающий удобства,
Умирает на сырой земле.

Теплая полтавская погода
Стынет на запекшихся губах,
Звезды девятнадцатого года
Потухают в молодых глазах.

Он еще вздохнет, застонет еле,
Повернется на бок и умрет,
И к нему в простреленной шинели
Тихая пехота подойдет.

Юношу стального поколенья
Похоронят посреди дорог,
Чтоб в Москве еще живущий Ленин
На него рассчитывать не мог.

Чтобы шла по далям живописным
Молодость в единственном числе...
Девушки ночами пишут письма,
Почтальоны ходят по земле.

1931



В каждой щелочке,
В каждом узоре
Жизнь богата и многогранна.
Всюду — даже среди инфузорий —
Лилипуты
И велнканы.

После каждой своей потери
Жизнь становится полиоценией —
Так индейцы
Ушли из прерий,
Так суфлеры
Сползли со сцены...

Но сквозь тонкую оболочку
Исторической перспективы
Пробивается эта строчка
Мною выдуманным мотивом.

Но в глазах твоих, дорогая,
Отражается наша зра
Промелькнувшим в зрачке
Трамваем,
Красным галстуком
Пионера.

1932

ПЕСЕНКА

Чтоб ты не страдала от пыли дорожной,
Чтоб ветер твой след не закрыл, —
Любимую, на руки взяв осторожно,
На облако я усадил.

Когда я промчуся, ветра обгоняя,
Когда я пришпорю коня,
Ты с облака, сверху нагнись, дорогая,
И посмотри на меня!..

Я другом ей не был, я мужем ей не был,
Я только ходил по следам, —
Сегодня я отдал ей целое небо,
А завтра всю землю отдам!

1932

ПОТОП

Джэн!
Дорогая!
Ты хмуришь свой крохотный лоб,
Ты задумалась, Джэн,
Не о нашем ли грустном побеге?
Говорят, приближается
Новый потоп,
Нам пора позаботиться
О ковчеге.

Видишь —
Мир заливают водой и огнем,
Приближается ночь,
Неизвестностью черной пугая...
Вот он, Ноев ковчег.
Войдем,
Отдохнем,
Поплывем,
Дорогая!

Нет ни рек, ни озер.
Вся земля —
Как сплошной океан,
И над ней небеса —
Как проклятие...
И как расплата...
Все безмолвно вокруг.
Только глухо стучит барабан
И орудия бьют
С укрепленного Арарата.

Нас не пустят туда —
Там для избранных
Крепость и дом,
Но и эту твердыню
Десница времен поразила.
Кто-то бросился вниз...
Видишь, Джэн, —
Это новый Содом

Покидают пророки
Финансовой буржуазии.
Детский трупик,
Качаясь,
Синеет на черной волне, —
Это маленький Линдберг,
Плывущий путями потопа.
Он с Гудзона плывет,
Он синеет на черной волне
По затопленным картам
Америки и Европы.

Мир встает перед нами
Пустыней,
Огромной и голой.
Никто не спасется,
И никто не спасет!
Побежденный пространством,
Измученный голубь
Пулеметную ленту,
Зажатую в клюве,
Несет.
Сорок раз...
Сорок дней и ночей...

Сорок лет
Мне исполнилось, Джен.
Сорок лет...
Я старею.
Ни хлеба...
Ни славы...
Чем помог мне,
Скажи,
Юридический факультет?
Чем поможет закон
Безработному доктору права?

Хоть бы новый потоп
Затопил этот мир в самом деле!
Но холодный Нью-Йорк
Поднимает свои этажи...

Где мы денег достанем
На следующей неделе?
Чем это кончится,
Джэн,
Дорогая,
Скажи!

1932

ПЕСНЯ О КАХОВКЕ

Каховка, Каховка — родная винтовка...
Горячая пуля, лети!
Иркутск и Варшава, Орел и Каховка —
Этапы большого пути.

Гремела атака, и пули звенели,
И ровно строчил пулемет...
И девушка наша проходит в шинели,
Горящей Каховкой идет...

Под солнцем горячим, под ночью слепой
Немало пришлось нам пройти.
Мы мирные люди, но наш бронепоезд
Стоит на запасном пути!

Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались,
Как нас обнимала гроза?
Тогда нам обоим сквозь дым улыбались
Ее голубые глаза...

Так вспомним же юность свою боевую,
Так выпьем за наши дела,
За нашу страну, за Каховку родную,
Где девушка наша жила...

Под солнцем горячим, под ночью слепой
Немало пришлось нам пройти.
Мы мирные люди, но наш бронепоезд
Стоит на запасном пути!

1935

СОН

Месяц тучей закрылся,
Ночь спустилась во двор,
И ребенку приснился
Над станицей мотор.

От воздушного марша
Вся окрестность гудит...
Будто брат его старший
В самолете сидит.

И летят спозаранку
В предрассветную рань
Над кабинкой кубанка,
Под кабинкой Кубань...

Мальчик смотрит, проснувшись,
В предрассветную тишь...
— Ваня! Ваня! Ванюша!
Ты летишь или спишь?..

Звонкой птицею свищет
За окошком весна,
Мальчик в комнате ищет
Продолжения сна.

Ночь ничуть не тревожна...
Растолкуй, объясни,
Где и как это можно —
Видеть детские сны?..

1936



Есть земля на севере
Францева Иосифа —
Там навек забуду я,
Что меня ты бросила.

Полно разговаривать,
Знаю я заранее —
Будешь ты участвовать
В северном сиянии.

Знаю я заранее,
Что зарю над льдинами
Будешь пошевеливать
Пальчиками длинными.

Солнышко на севере
Малым светом тратится,
Ждут давно на полюсе
Твоего вмешательства.

Мне людей не надобно,
Мне делиться хочется
С белыми медведями
Черным одиночеством.

1930-е годы

ИЗ ПОЭМЫ «ЮНОСТЬ»

К пограничным столбам
Приближаются снова бои,
И орудия ждут
Разговора на новые темы...
Я перебираю
Воспоминанья свои,
Будто чищу оружие
Давно устаревшей системы.

Я по старой тропе
Постаревшую память веду,
Я тебя, комсомольская юность,
Имею в виду!
Над моей головой
Ты, как солнце, взошла горячо,
Как шахтерская лампочка,
Издали светишь еще.

Годы взрослого пафоса —
Юность моя пожилая!
В день твоих именин
Я забытых чудес пожелаю —
Ты поройся в архивах,
Манатки свои собери,
Хоть на остров сокровищ
Бездумно иди на пари!

И прожектор опять освещает
Район Запорожья,
Но в украинском домике
Тихо, покойно, темно...
Бродит юность вокруг
И боится жильцов потревожить,
Встало детство на цыпочки
И заглянуло в окно.

Лунный свет задел слегка
Все четыре уголка
Этой комнатки знакомой
Комсомольского губкома.
Сквозь оконное стекло
Время в комнатку текло,
И на стенке ходики
Отсчитывают годики...

Здесь когда-то родился
И рос молодой Комсомол,
Здесь мы честно делили
Пайков богатейшие крохи.
Дружба здесь начиналась!
Сюда я впервые вошел
В сапогах, загрязненных
Целебною грязью эпохи...

.
.

Я тебя вспоминаю —
Смешная, родная пора!
Ты опять повторись —
Хоть чернилами из-под пера!

В боевом снаряжении
Опять мы с друзьями идем,
И, как детский рисунок,
Огромный закат над Днепром...

Ночь непрекращающихся взрывов,
Утро, приносящее бои.
Комсомольцы первого призыва —
Первые товарищи мои!

Повторись в далеком освещенье,
Молодости нашей ощущение!
Молодость моя! Не торопись!
Медленно — как было — повторись!..

Никогда не стану притворяться,
Ничего на свете не хочу —
Только бы побольше вариаций
Этих повторяющихся чувств!..

1938

ПЕСНЯ МУШКЕТЕРОВ

Из пьесы «Двадцать лет спустя»

Трусов плодила
Наша планета,
Все же ей выпала честь —
Есть мушкетеры,
Есть мушкетеры,
Есть мушкетеры,
Есть!

Другу на помощь,
Вызволить друга
Из кабалы, из тюрьмы —
Шпагой клянемся,
Шпагой клянемся,
Шпагой клянемся
Мы!

Смерть подойдет к нам,
Смерть погрозит нам
Острой косою своей —
Мы улыбнемся,
Мы улыбнемся,
Мы улыбнемся
Ей!

Скажем мы смерти
Вежливо очень,
Скажем такую речь:
«Нам еще рано,
Нам еще рано,
Нам еще рано
Лечь!»

Если трактиры
Будут открыты —
Значит, нам надо жить!
Прочь отговорки!
Храброй четверке —
Славным друзьям
Дружить!..

Трусов плодила
Наша планета,
Все же ей выпала честь —
Есть мушкетеры,
Есть мушкетеры,
Есть мушкетеры,
Есть!

1940

ИЗ СТИХОВ О ЛИЗЕ ЧАЙКИНОЙ

Счастья называть между другими
Чье-то уменьшительное имя,
Счастья жить, скрывая от подруг
Сердца переполненного стук,

Счастья, нам знакомого, не знавшей
Чайкина ушла из жизни нашей.

Это счастье быть большим могло бы,
Если б вашей встрече быть...
Может, он салютовал у гроба —
Тот, кого могла б ты полюбить?

Может, он, ушедший воевать,
Спит сейчас в землянке на рассвете?
Может, некому ему писать,
Потому что он тебя не встретил?

И не только за поселок каждый,
За свое сожженное село —
Месть и мечь за двух прекрасных граждан,
До которых счастье не дошло!

1942

ИТАЛЬЯНЕЦ

Черный крест на груди итальянца —
Ни резьбы, ни узора, ни глянца,
Небогатым семейством хранимый
И единственным сыном носимый...

Молсдой уроженец Неаполя!
Что оставил в России ты на поле?
Почему ты не мог быть счастливым
Над родным знаменитым заливом?

Я, убивший тебя под Моздоком,
Так мечтал о вулкане далеком!
Как я грезил на волжском приволье
Хоть разок прокатиться в гондоле!

Но ведь я не пришел с пистолетом
Отнимать итальянское лето,
Но ведь пули мои не свистели
Над священной землей Рафаэля!

Здесь я выстрелил! Здесь, где родился,
Где собой и друзьями гордился,
Где былины о наших народах
Никогда не звучат в переводах.

Разве среднего Доиа излучина
Иностранним ученым изучена?
Нашу землю — Россию, Расею —
Разве ты распахал и засеял?

На! Тебя привезли в эшелоне
Для захвата далеких колоний,
Чтобы крест из ларца из фамильного
Вырастал до размеров могильного...

Я не дам свою родину вывезти
За простор чужеземных морей!
Я стреляю — и нет справедливости
Справедливее пули моей!

Никогда ты здесь не жила и не была..
Но разбросано в снежных полях
Итальянское синее небо,
Застекленное в мертвых глазах...

1943

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Ангелы, придуманные мной,
Снова посетили шар земной.
Сразу сократились расстоянья,
Сразу прекратились расставанья,
И в семействе объявился вдруг
Без вести пропавший политрук.

Будто кто его водой живою
Окропил на фронтовом пути,
Чтоб жене его не быть вдовою,
Сиротою сыну не расти.

Я — противник горя и разлуки,
Любящий товарищей своих, —
Протянул ему на помощь руки:
— Оставайся, дорогой, в живых!

И теперь сидит он между нами —
Каждому наука и пример, —
Трижды награжденный орденами,
Без вести пропавший офицер.

Он сидит спокойно и серьезно,
Не скрывая счастья своего.
Тихо и почти религиозно
Родственники смотрят на него.

Дело было просто: в чистом поле
Он лежит один. Темным-темно.
От потери крови и от боли
Он сознание теряет, но

С музыкой солдаты смерть встречают.
И когда им надо умирать,
Ангелов успешно обучают
На губных гармониках играть.

(Мы, признаться, хитрые немного, —
Умудряемся в последний час,
Абсолютно отрицая бога,
Ангелов оставить про запас.)

Никакого нам не надо рая!
Только надо, чтоб пришел тот век,
Где бы жил и рос, не умирая,
Благородных мыслей человек.

Только надо, чтобы поколенью
Мы сказали нужные слова
Сказкою, строкой стихотворенья,
Всем своим запасом волшебства.

Чтобы самой трудною порою
Кладь казалась легче на плечах...
Но вериемся к нашему герою,
Мы сегодня у него в гостях.

Он платил за все ценою крови,
Он пришел к родным, он спит с женой,
И парят над ним у изголовья
Ангелы, придуманные мной...

1946



Тихо светит месяц серебристый...
Комсомольцу снятся декабристы.

По России, солнцем обожженной,
Тащатся измученные жены,
Молча по дороге столбовой
Одичавший тянется коивой.

Юноша из-за столетий мглы
Слышит, как бряцают кандалы.

Спят давно и старики и дети,
Медленная полночь над селом...
Комсомолец видит сквозь столетье
Пушкина за письменным столом.

Поздний час. Отяжелели веки.
И перо не легче, чем свинец...
Где его товарищ Кюхельбекер,
Фантазер, нестроевой боец?

С каждым днем разлука тяжелее,
Между ними сотни верст лежат.
Муравьев-Апостол и Рылеев
Входят в петербургский каземат.

Комсомольцу кажется сквозь сон,
Что стоит у Черной речки он.

Он бежал сквозь зимнее ненастье...
Разве можно было не спешить,
Чтоб непоправимое несчастье
Как угодно, но предотвратить!

Поздно, поздно!.. Раненый поэт
Уронил тяжелый пистолет...

Гаснут звезды в сумраке ичном,
Скоро утро встанет над селом,
И скрипят тихонько половицы,
Будто Пушкин ходит по избе...

Как узнать мне, что еще приснится,
Юный друг мой, в эту ночь тебе?

1949

СОЛДАТСКИЙ СОН

Опрокинут забор дощатый,
Песни, крики со всех сторон —
Из-под Фастова все девчата
Устремились в солдатский сон.

Спят бойцы... Посреди землянки,
В неподвижном кругу солдат,
Встали пышные киевлянки
И с любовью на них глядят.

Хоть и сиятся, а впрямь живые.
И в предутренней тишине
Слышат сосны и часовые,
Как солдат говорит во сне:

— Дай мне руку свою, виденье,
Наклонись к моему плечу.

Не желаю я пробуждения,
Я с тобою побыть хочу.

Помнишь тополь у старой хаты,
Что стоит на краю села?
Не меня ты ждала, а брата!
Не ко мне, ты к нему пришла!

Знаешь, сердце как удивилось
В этой временной тишине:
Что же ты не ему приснилась?
Почему ты явилась мне?

Он ведь ранен еще на марше,
Он навек оставляет нас.
Твой любимый Карпенко-старший
Доживает последний час.

Он лежит в блиндаже комроты,
И, хоть это недалеко,
Не пройдешь ты через болото, —
Через сон перейти легко.

Ты простись со своим желанным,
Слезы девичьи урони...
На обратном пути, Оксана,
В сон солдатский мой загляни.

Мне бы в сырости этой жуткой
Ощутить бы твое тепло!..

Снам — конец. Наступает утро.
Над болотами рассвело.

1950

РОССИЯ

Россия! Ведь это не то что
Ямщик — захудалая почта.
Россия! Ведь это не просто
Плакучая ива у моста.

По оползням древних оврагов
Медвежьей походкой века
Прошли от последних варягов
До первого большевика.

И пусть, по преданиям старинным,
Богатства не счесть твоего, —
Коичалось аршином сатина,
Россия, твое щегольство.

Тебе сквозь кабацкую сладость
Несла перекатная голь
Свою однодневную радость,
Свою ежедневную боль.

Неловко поправив рубаху,
К мучительной смерти готов,
На лобное место без страха
Взошел Емельян Пугачев.

Сквозь гущу поляриного мрака,
Махая в пути посошком,
Учиться к московскому дьяку
Идет Ломоносов пешком.

Встает петербургское утро,
Безмолвно стоит караул,
На Софию Перовскую грустно,
Прощаясь, Желябов взглянул...

Россия во мраке казениом
Склонялась над каждым казенным,
Россия без слез и без жалоб
Прекрасных сынов провожала.

И пишет чиновник приказный
Еще и еще имена...
За казнями следуют казни,
Идет за войною война.

За русской добычей богатой
Японский спешит капитал,

И навзничь ефрейтор женатый
Среди гаоляна упал..

А время над миром голодным
Неслось и неслось неспроста, —
В истории Прага и Лондон
Свои занимают места.

— Трудиться нельзя безвозмездно!
Спасайте бездомных ребят! —
Тревожно партийные съезды
Ударили в русский набат.

Как труден, Россия, как горек
Был путь исторический твой!..
Но вот я уже не историк,
А битвы участник живой.

Да! Я принимаю участие
В широких шеренгах бойцов,
Чтоб в новое здание счастья
Вселить наконец-то жильцов!

Недаром я молодость отдал,
Россия, за славу твою,
Мои комсомольские годы
Еще остаются в строю.

Полвека я прожил на свете,
Но к юности все же тянусь,
Хотя подрастающим детям
Уже патриархом кажусь.

Спокойные пенсионеры
О прошлом своем говорят,
А рядом идут пионеры,
Как сто Ломоносовых в ряд.

Они электричество знают,
Грядущее зрят наяву,
Пред ними с любовью склоняет
Природа седую главу.

Пред ними дубы вековые,
Как верные стражи в пути...
По мирным просторам России
Идти бы еще да идти!

Не то чтобы в славе и блеске
Другим поколениям сверкать,
А где-нибудь на перелеске
Рязанской березою встать!

1952

СУЛИКО

Родам Амираджиби

Я веду тебя, Сулико,
В удивительные края.
Это, кажется, далеко, —
Там, где юность жила моя.

Это было очень давно...
Украина... Сиянье дня...
Гуляй-Подем летит Махно
И прицеливается в меня.

Я был глупым птенцом тогда,
Я впервые узнал, поверь,
Что наган тяжелей куда,
Чем игрушечный револьвер.

А спустя два десятка лет —
Это рядышком, погляди! —
Я эсэсовский пистолет
Отшвырнул от твоей груди...

Дай мне руку! С тобой вдвоем
Вспомним зарево дальних дней.
Осторожнее! Мы идем
По могилам моих друзей.

А ты знаешь, что значит терять
Друга близкого? Это — знай:
«Здравствуй!» тысячу раз сказать,
И внезапно сказать: «Прощай!»

В жизни многое я узнал,
Твердо верую, убежден:
Проектируется канал
Юность-Старость, как Волго-Дон.

Будь послушною, Сулико,
Мы поедем с тобой в края,
Где действительно недалеко
Обитает старость моя.

И становится мне видней,
Как, схватившись за посошок,
По ступенькам грядущих дней
Ходит бритенький старичок.

Это — я! Понимаешь — я!
Тот, кто так тобою любим,
Тот, кого считали друзья
Нескончаемо молодым.

В жажде подвигов и атак
Робко под ноги не смотреть, —
Ты пойми меня, — только так,
Только так я хочу стареть!

Жил я, страшного не боясь,
Драгоценностей не храня,
И с любовью в последний час
Вся земля обнимет меня.

Сулико! Ты — моя любовь!
Ты всю юность со мной была,
И мне кажется, будто вновь
Ты из песни ко мне пришла.

1953

ОТЦЫ И ДЕТИ

Мой сын заснул. Он знал заранее:
Сквозь полусон, сквозь полутьму
Мелкопоместные дворяне
Сегодня явятся к нему.

Недаром же на самом деле,
Не отрываясь, «от» и «до»,
Он три часа лежал в постели,
Читал «Дворянское гнездо».

Сомкнется из отдельных звеньев
Цепочка сна — и путь открыт!
Иван Сергеевич Тургенев
Шоферу адрес говорит.

И, словно выхваченный фарой
В пути машиною и ночью,
Встал пред глазами мир иной —
Вся красота усадьбы старой,
Вся горечь доли крепостной.

Вот парк старинный, речка плещет,
А может, пруд... И у ворот
Стоит, вопиет помещик —
Из Петербурга сына ждет.

Он написал, что будет скоро, —
Кирсанова любимый сын...
(Увы! Не тот, поэт который,
А тот, который дворянин.)

За поворотом кони мчатся,
На них три звонких бубенца
Звенят, конечно, без конца...
Прошло не больше получаса —
И сын в объятиях отца.

Он в отчий дом, в гнездо родное,
Чтоб веселей набраться сил,

Привез Базарова с собою...
Ах, лучше бы не привозил!..

Что было дальше — все известно...
Светает... сын уснул давно.
Ему все видеть интересно,
Ему, пожалуй, все равно —
Что сон, что книга, что кино!

1953

ПЕСНЯ

Из драматической поэмы
«Молодое поколение»

Печально я встретил сегодня рассвет,
Я сразу проснулся от горя.
На палубу вышел, а палубы нет,
Ни чаяк, ни неба, ни моря.

Навек попрощался с домашней мечтой,
Лежит предо мною дорога...
Ты думаешь — я совершенно пустой?
Во мне содержания много!

Костюмчика даже я не приобрел,
Лишь много неправды и фальши,
А жизнь улетает, как старый орел,
Все дальше, и дальше, и дальше.

1956

БЕССМЕРТИЕ

Как мальчишки, мечтая о победах,
Умчались в неизвестные края
Два ангела на двух велосипедах —
Любовь моя и молодость моя.

Иду по следу. Трассу изучаю.
Здесь шина выдохлась, а здесь прокол,
А здесь подъем — здесь юность излучает
День моего вступления в комсомол.

И, к будущему выходя навстречу,
Я прошлого не скидываю с плеч.
Жизнь не река, она противоречье,
Она, как речь, должна предостеречь —

Для поколения, не для населения,
Как золото, минуты собирай,
И полновесный рубль стихотворенья
На гривенники ты не разменяй.

Не мелочью плати своей отчизне,
В ногах ее не путайся в пути
И за колючей проволокой жизни
Бессмертие поэта обрети.

Не бойся старости. Что седина? Пустое!
Бросайся, рассекай водоворот,
И смерть к тебе не страшною, простою,
Застенчивою девочкой придет.

Как прожил ты? Что сотворил? Не помнишь?
И все же ты чедаром прожил век —
Твои стихи, тебя зовет на помощь
Тебя похоронивший человек.

Не родственник, ты был ему родным.
Он будет продолжать с тобой дружить
Всю жизнь, и потому необходимо
Еще настойчивей, еще упрямей жить.

И, новый день встречая добрым взглядом,
Брось неподвижность и, откинув страх,
Поэзию встречай с эпохой рядом
На всем бегу,
На всем скаку,
На всех парах.

И вспоминая молодость былую,
Я покидаю должность старика,
И юности румяная щека
Передо мной опять для поцелуя.

1957

ГОРИЗОНТ

Там, где небо встретилось с землей,
Горизонт родился молодой.
Я бегу, желанием гоним.
Горизонт отходит. Я за ним.

Вот он за горой, а вот — за морем...
Ладно, ладно, мы еще поспорим!

Я в погоне этой не устану,
Мне здоровья своего не жаль,
Будь я проклят, если не достану
Эту убегающую даль!

Все деревья заберу оттуда,
Где живет непойманное чудо,
Всех зверей мгновенно приручу...
Это будет, если я хочу!

Я пушусь на хитрость, на обман,
Сбоку подкрадусь... Но как обидно —
На пути моем встает туман,
И опять мне ничего не видно.

Я взнуздал отличного коня —
Горизонт уходит от меня.
Я перескочил в автомобиль —
Горизонта нет, а только пыль.

Я купил билет на самолет.
Он теперь, наверно, не уйдет!
Ровно, преданно гудят моторы.
Горизонта нет, но есть просторы!

Есть поля, готовые для хлеба,
Есть еще не узнанное небо,
Есть желание! И будь благословенна
Этой каждой дали перемена!..

Горизонт мой! Ты опять далек?
Ну, еще, еще, еще рывок!
Как преступник среди бела дня,
Горизонт уходит от меня!

Горизонт мой... Я ищу твой след,
Я ловлю обманчивый изгиб.
Может быть, тебя и вовсе нет?
Может быть, ты на войне погиб?

Мы — мои товарищи и я —
Открываем новые края.
С горечью я чувствую теперь,
Сколько было на пути потерь!

И пускай поднялись обелиски
Над людьми, погибшими в пути, —
Все далекое ты сделай близким,
Чтоб опять к далекому идти!

1957

ИСКУССТВО

Венера! Здравствуй! Сквозь разлуки,
Сквозь лабиринты старины
Ты мне протягиваешь руки,
Что лишь художнику видны.

Вот локоть, пальцы, тонкий ноготь,
Совсем такой, как наяву...
Несуществующее трогать
Я всех товарищей зову:

Сквозь отрочество, сквозь разлуки,
Сквозь разъяренный динамит
Мечта протягивает руки
И пальчиками шевелит.

Зовет: «Иди ко мне поближе,
Ты не расквешься, родной!
Тебя с собой я рядом вьжу
На фотографии одной —

На красном фоне канонады,
На черном — прожитых ночей
И на зеленом фоне сада
В огне оранжевых лучей.

Давай с тобою вместе будем!
Сквозь кутерьму идущих лет
Давай с тобой докажем людям,
Что есть мечта и есть поэзия!

1957

МОЯ ПОЭЗИЯ

Нет! Жизнь моя не стала ржавой,
Не оскудело бытие...
Поэзия — моя держава,
Я вечный подданный ее.

Не только в строчках воспаленных
Я дань эпохе приношу, —
Пишу для будущих влюбленных
И для расставшихся пишу.

О, сколько мной уже забыто,
Пока я шел издалека!
Уже на юности пририта
Мемориальная доска.

Но все ж дела не так уж плохи,
Но я читателю знаком —

Шагал я долго по эпохе
И в обуви и босиком.

Отдался я судьбе на милость,
Накапливал свои дела,
Но вот Поэзия явилась,
Меня за шиворот взяла,

Взяла и выбросила в гущу
Людей, что мне всегда сродни:
— Ты объясни, что — день грядущий,
Что — день прошедший, — объясни!

Ни от кого не обособясь,
Себя друзьями окружай.
Садись, мой миленький, в автобус
И с населением поезжай.

Ты с ним живи и с ним работай,
И подними в грядущий год
Людей взаимные заботы
До поэтических высот.

И станет все тебе понятно,
И ты научишься смотреть,
И, если есть на солнце пятна,
Ты попытайся их стереть.

Недалеко, у самой двери,
Совсем, совсем недалеко
События рычат, как звери.
Их укротить не так легко!

Желание вошло в привычку —
Для взрослых и для детворы
Так хочется последней спичкой
Зажечь высокие костры!

И, жаждою тепла влекомы,
К стихотворенью на иочлег
Приходят все — и мне знакомый,
И незнакомый человек.

В полярных льдах, в кругу черешен,
И в мирной жизни, и в бою
Утешить тех, кто не утешен,
Зову Поэзию свою.

Не постепенно, не в рассрочку
Я современникам своим
Плачу серебряною строчкой,
Но с ободочком золотым...

Вставайте над землей, рассветы,
Струись над нами, утра свет!..
Гляжу на дальние планеты —
Там ни одной березы нет!

Мне это деревцо простое
Преподнесла природа в дар...
Скажите мне — ну, что вам стоит! —
Что я еще совсем не стар,

Что жизнь, несущаяся быстро,
Не загнала меня в постель
И что Поэзия, как выстрел,
Гремела, била точно в цель!

1957

ВСТРЕЧА

Откуда ты взялась такая?
«Где ты росла, где ты цвела?»
Твоим желаньям потакая,
Природа все тебе дала:

Два океана глаз глубоких,
Два пламени девичьих щек
И трогательный, одинокий,
На лоб упавший волосок...

Ты стать моей мечтой могла бы,
Но — боже мой! — взгляни назад:
За мной, как в очереди бабы,
Десятилетия стоят.

Что выдают? Мануфактуру?
Воспоминанья выдают?
Весьма потрепанную шкуру,
Что называется «уют»?

Мир так назойлив чудесами!
А я мечтаю до сих пор
Поплыть с тобой под парусами,
Забыв о том, что есть мотор.

Я не зову к средневековью,
К отсталости я не зову, —
Мне б только встретиться с любовью
Вот так — на ощупь, наяву!

Мы с ней встречались и до срока
И после срока... Отчего
Сама любовь — и одинока?
Любовь — а рядом никого?..

Ну ладно, хватит. Эти темы
Не для порядка и системы.
Как спорят где-то в глубине
Язычник с физиком во мне!

Я должен ощущать другое,
Я должен говорить не то...
Надень свое недорогое
Демисезонное пальто.

И мы пойдем с тобою в сказку,
В то общежитие поэм,
Где мы с тобой отыщем ласку,
Которой не хватает всем.

1957

ОДИНОЧЕСТВО

Николаю Доризо

Как узнать мне безумно хочется
Имя-отчество одиночества!
Беспризорность, судьба несчастная —
Дело личное, дело частное.

Одинокая ночь темна.
Мать задумалась у окна —
Бродит мальчик один в степи.
Ладно, миленький, потерпи.

У отца умирает сын.
Что поделаешь? Ты — один.

Вот весной на краю села
Пышно яблоня расцвела,
Ну, а зелени нет кругом —
Не всегда же в саду живем!

Вот и я за своим столом
Бьюсь к бессмертию напролом,
С человечеством разлучась, —
Очень поздно: четвертый час.

Ходит ночью любовь по свету.
Что же ты не пришла к поэту?
Что упрямо со дня рожденья
Ищешь только уединенья?

Стань общительной, говорливой,
Стань на старости лет счастливой.

1957

УТРОМ

Проснулись служащие, и зари начало
На пишущей машинке застучало.
Еще сонливая, идет к заводу смена,
Петух запел — оратор деревень,
И начался совсем обыкновенный
И необыкновенный день.

Меня заколдовала ночь немая —
Спросонок я еще не понимаю:
Где детство милое, где пожилые люди,
Где тетерев в лесу, где дичь на блюде?

Определите точно этот срок —
Когда рекою станет ручеек?
Трагедия всех этих переходов
И для отдельных лиц и для народов.

Пусть время пронесется, мы умрем,
Пусть двести лет пройдет за Октябрем,
Но девушка в предутреннем лесу
Босою ножкой встанет на росу,
Я для нее (а я ее найду!)
За новым платьем в магазин пойду.

И, примеряя новенький наряд,
Я буду ей рассказывать подряд
О том, что было двести лет назад.
Как сообщить ей в темь времен других,
Что мы счастливей правнуков своих?

Тяжелые лишения терпя,
Мы Золушку подняли из тряпья.
Тела и души ветер колебал...
Скорее, Золушка! Не опоздай на бал!
Нашли мы под Житомиром в бою
Потерянную туфельку твою.
Окружены, мы знали, что умрем,
Чтоб Мальчик с пальчик стал богатырем.

И позавидует твоей большой судьбе,
И улыбнется правнучка тебе.
Других веков над нами встала тень...
Так продолжается рабочий день.

1958

УКАЗАНИЕ

Указанье пришло на заре,
Чтоб без премий, без всякого жалования
Сделать всю детвору во дворе
Капитанами дальнего плаванья,
Некрасивого сделать красивым
И несчастного — самым счастливым.

Кто шумит за чужими дверьми?
Почему вдруг заплакали дети?
Беспокоиться вместе с людьми —
Нет профессии лучше на свете!

Может быть, я сочувствую слишком?
Разве можно мне быть ни при чем,
Если рядом безногий парнишка
Загрустил над футбольным мячом?

Ни за что я не стану лениться,
И в желаньях своих не утих —
Я хочу, чтоб исчезли больницы
За огромной нехваткой больных.

Указанье является днем:
Побеждать не мечом и огнем —
Только словом, стихом и теплом.

Может быть, вы меня не поймете,
Это стих вам навстречу слешит,
Будто женщина-врач в самолете
Над Чукоткой к больному летит.

Так несите ж меня, указанья,
Как стремительный водопад!
(Обернулся я — воспоминанья,
Как застывшие волны, стоят.)

Неужели ты, воображенье,
Как оборванное движенье?
Неужели ты между живых —
Как в музее фигур восковых?

Не силен я, не хвастаюсь мощью,
Но — свидетель бессонных ночей —
Здравствуй, сказка! Ты — верный помощник
При создании реальных вещей.

Указание ночью пришло
(Календарь изменяет число),
Я трудился весь день, я устал,
Указания я не слышал.

Но ребятки в предутренний час
Вновь со мною поделятся планами:
«Дядя Миша! Ты сделаешь нас
Хоть какими-нибудь капитанами?»

1958

ТАЙНЫ

Я все время довольствуюсь малым,
Мне ль судьбу свою надо дразнить?
Не мечтаю стать я генералом,
Чтоб военные тайны хранить.

Жизнь диктует в движении гулком:
— Человек! Бесконечно живи,
Чтоб по улицам и переулкам
Всё разбрасывать тайны свои.

Мальчик в грусти непреодолимой
Пьет у будки дешевицкий квас.
Я тебе, мой читатель незримый,
Тайну мальчика выдам сейчас.

Мыслит девочка в страшиом рыданье,
Что не так она жизнь провела,
Что бестактной была на свиданье,
Что косички не так заплела.

Вот с пьянчужкой иду я под ручку —
Одному одиноко в пути.
Это тайна: он пропил получку,
И домой неприятно идти.

Вот чиновник, покой не нарушив,
Стал счастливым, прилег на кровать —
Хорошо свою мелкую душу
Государственной тайной считать!

Люди здравствуют и поживают,
Мне бы только их тайны постичь,
Эти тайны меня соблазняют,
Как охотника редкая дичь...

Все же, что заключается в главном?
Разве мир представлений исчез?
Наше время — не в тайном, а в явном
И в обыденном мире чудес.

1958

БЕССОННИЦА

Памяти В. Луговского

С этой старой знакомой —
С неутомимой бессонницей —
Я встречаюсь опять,
Как встречался с будениовской конницей.

Тишина угрожает мне вновь,
Словно миг перед взрывом, —
Буду верен себе
И навеки останусь счастливым.

Чем могу я, скажите, товарищи,
Быть недоволен?
Мне великое время
Звонило со всех колоколен.

Я доволен судьбой,
Только сердце все мечется, мечется,
Только рук не хватает
Обнять мне мое человечество!

1958

ЗОЛОТО

Александру Безыменскому

То ли жизнь становится напевней,
То ли в каждом доме соловьи...
Города, поселки и деревни —
Золотые прински мои!

Я недаром погибал от жажды,
Я фронтов десяток пересекал,
В душах комсомольцев и сограждан
Собирая золотой песок.

Ни за что не стану торопиться.
Жизнь моя, по-прежнему теки!
Дорогие желтые крупницы
Не истратить бы на пустяки!

От меня промышленность отстала —
Я коплю без края, без конца
Зерна драгоценного металла,
Что не сразу отдадут сердца...

Жизнь моя ничуть не стала тише,
Громкий пульс в крови мы сберегли.
Жизнь идет, земля под солнцем дышит,
Океан колышет корабли.

Не мешало б нам встречаться чаще.
Жизнь идет, года идут подряд,
И над прошлым и над настоящим
Золотые бабочки летят.

1958

ПРИЗНАНИЕ

Юности своей я не отверг,
Нравится мне снова все, что делаю,
Будто после дождичка в четверг
Расцвели сады оледенелые.

Если жив я — и любовь жива!
Для тебя, единственная, ласковая,
Я нашел хорошие слова,
Лучшие из словарей вытаскивая...

Не так легко сравнение найдешь,
Твои глаза в стихотворенье просятся,
Как голубые ведрышки, несешь
Ты их на коромысле переносицы.

Я повторить вовеки не смогу
Твои слова, горячие и близкие, —
Ведь речь твоя способна и в пургу
Всех журавлей призвать в поля российские.

Я всех людей могу богаче быть,
Нет у меня, поверь, на бедность жалобы,
И, чтоб тебе вселенную купить,
Мне, может быть, копейки не хватало бы...

Мне много жить и пережить пришлось,
Но я тебе заносчиво и молодо,
Как связку хвороста, мечты свои принес —
Зажги костер, погрейся, очень холодно...

1959

ЯМЩИК

Посветлело в небе. Утро скоро.
С ямщиком беседуют шоферы.

«Времечко мое уж миновало...
Льва Толстого я возил, бывало,
И в моих санях в дороге дальней
Старичок качался гениальный...»

«Пушкина возил?» —

«Возил, еще бы!..
Тьма бессовестная, снежные сугробы,
Вот уже видна опушка леса
Перед самой пулею Дантеса...»

«А царя возил?» —

«Давно привык!
Вся Россия видела когда-то —
Впереди сидит лихой ямщик,
Позади трясется император...»

«Ты, ямщик, в романах знаменит...»
Им ямщик «спасибо» говорит,
Он поднялся, кланяется он —
На четыре стороны поклон.

Он заплакал горькими слезами,
И шоферы грязными платками,
Уважая прежние века,
Утирают слезы ямщика.

Шляется простудная погода,
В сто обхватов виснут облака...
Четверо людей мужского рода
До дому довозят ямщика.

И в ночи, и темной и безликой,
Слушают прилежно вчетвером —
Старость надрывается от крика,
Вызывает юности паром...

Ловкий, лакированный, играючи
Мчит автомобиль во всей красе,
Химиками выдуманный каучук
Катится по главному шоссе...

Слышу я сквозь времени просторы,
Дальний правнук у отца спросил:
«Жил-был на земле народ — шоферы.
Что за песни пел? Кого возил?»

1959

ТАК ЖИВУ Я

Нет, все листья не облетели,
Может, жизнь потому хороша,
Что живет в моем старом теле
Понимающая душа.

Понимаю и принимаю
И ребенка, и старика,
К человечеству приближаю
То, что видно издалика.

Вижу все — и морей просторы,
И болотную вижу гать,
Вижу — мальчишки через заборы
Лезут яблоки воровать.

Встретил старого пенсионера,
Покалякали час-другой...
Вижу улицу, вижу эру,
Вижу спутника над собой.

Не в каком-нибудь отдаленье —
В гуще времени мне видней
Умножение и деленье,
Плюс и минус борьбы людей.

Гражданином опасность встречу,
Честно смерти в глаза взгляну,
Под волною противоречий
Никогда я не утону.

Понимаю я: в океане —
Что эпохи моей призыв —
Не спортивное состязанье,
А решающий переплыв.

Вижу будущее наяву...
Так живу я и так плаваю,
Не боюсь воды ледяной...
Звезды светятся надо мной.

1959

ВЕСНА

Старик какой-то вышел на крыльцо,
Под временем годов своих шатаясь,
И, как официальное лицо,
Стоит на белорусской крыше аист.
Желаниями грудь моя полна.
Пришел апрель. Опять весна опознана,
Опять она пришла, моя весна,
Но слишком поздняя,
Но очень, очень поздняя.

1950-е годы



К новой юности ревизуя,
Жадно я веду теперь
Итальянскую, тройную
Бухгалтерию потерь...

1950-е годы

СОВЕТСКИЕ СТАРИКИ

Ольге Берггольц

Ближе к следующему столетию,
Даже времени вопреки,
Все же ползаем по планете
Мы, советские старики.

Не застрявший в пути калека,
Не начала века старик,
А старик середины века,
Ох, бахвалиться он привык:

— Мы построили эти зданья,
Речка счастья от нас течет,
Отдыхающие страданья
Здесь живут на казенный счет.

Что сказали врачи — не важно!
Пусть здоровье беречь велат...
Старый мир! Берегись отважных
Нестареющих дьяволят!..

Тихий сумрак опочивален —
Он к рукам нас не приберет...
Но, признаться, весьма печален
Этих возрастов круговорот.

Нет! Мы жаловаться не станем,
Но любовь нам не машет вслед —
Уменьшаются с расстояньем
Все косынки ушедших лет.

И, прошедшее вспоминая
Все болезненней и острее,
Я не то что прошу, родная,
Я приказываю: не старей!

И, по-старчески живописен,
Завяжу я морщин жгуты,
Я надену десятки лысин,
Только будь молодою ты!

Неизменно мое решение,
Громко времени повелю —
Не подвергнется разрушенью
Что любил я и что люблю!

Ни нарочно, ни по ошибке,
Ни в начале и ни в конце
Не замерзнет ручей улыбки
На весеннем твоём лице!

Кровь нисколько не отступала,
Я с течением лет узнал
Утверждающее начало,
Отрицающее финал.

Как мы людям необходимы!
Как мы каждой душе близки!..
Мы с рожденья непобедимы,
Мы — советские старики!

1960

ДРУЗЬЯМ *

1

Мне бы молодость повторить —
Я на лестницах новых зданий,
Как мальчишка, хочу скользить
По перилам воспоминаний.

Тем, с которыми начат путь,
Тем, которых узнал я позже,
Предлагаю года потряхнуть,
Стать резвящейся молодежью.

Дружбы нашей поднимем чаши!
Просто на дом, а не в музей
Мы на скромные средства наши
Пригласили наших друзей.

Как живете вы? Как вам дышится?
Что вам слышится? Как вам пишется?
Что вы делаете сейчас?
Как читатель? Читает вас?

На писательском вернисаже
Босиком не пройти ли нам
Под отчаянным ливнем шаржей,
В теплых молниях эпиграмм?

И, любовью к друзьям согреты,
Проведем вечерок шутя...
Шутка любящего поэта —
Как смеющееся дитя.

1960

2

Не надо, чтоб мчались поля и леса:
Разлука — один поворот колеса.

* Из книги М. Светлова и И. Игина
«Музей друзей».

Да, это разлука — заканчивать книгу,
Но стих посвящен не прощальному мигу,

О, как дорога ты, беседа друзей!..
Мы так изучили друг друга привычки!
Но вот уже дальше бегут электрички
От нашей беседы, от книги моей...

Идет все дальше, глубже возраст мой,
И, вспоминая юных чувств горенье,
Я так взволнован, что с любой строфой
Меняется размер стихотворенья.

Мне нужны (ни с кем не деля),
Как поэту и патрноту,
Для общения — вся Земля,
Одиночество — для работы.

Перелистываю страницы,
Их дыхание горячо...
Что нам к поезду торопиться?
Почаевничаем еще...

Не родственники мы, не домочадцы,
И я хотел бы жизнь свою прожить,
Чтоб с вами никогда не разлучаться
И «здравствуйте» все время говорить.

1960

3

Все ювелирные магазины —
Они твои.
Все дни рожденья, все именины —
Они твои.

Все устремления молодежи —
Они твои.
И смех, и радость, и песни тоже —
Они твои.

И всех счастливых влюбленных губы —
Они твои.
И всех военных оркестров трубы —
Они твои.

Весь этот город, все эти зданья —
Они твои.
Вся горечь жизни и все страдания —
Они мои.

Уже светает, уже порхает
Стрижей семья.
Не загибает, не отдыхает
Любовь моя.

1960

ГОЛОСА

Я за счастьем все время в погоне,
За дорогой дорога подряд.
Телевиденья быстрые кони
Бубенцами в эфире звенят.

Будто с самого детства впервые
Вижу я темно-синюю высь,
Где в обнимку летят позывные
И с романсами переплелись.

До чего же нам стали привычны
Голоса беспредельных высот!
Люди в небе живут как обычно —
Кто поет, кто на помощь зовет.

И возможно, что за небосклоном
Он живет среди звездных миров —
Не записанный магнитофоном
Околевшего мамонта рев.

Мы — живущие вместе на свете —
Разгадали не все чудеса.

И бредут от планеты к планете
Крепостных мужиков голоса.

И быть может, на всех небосклонах
Повторяются снова сейчас
Несмолкающий шепот влюбленных
И густой Маяковского бас.

Пусть звезда не одна раскололась,
Но помятый и вечно живой,
С хрипотцой Циолковского голос
Не замолк на воле звуковой.

С детства не был силен я в науке.
Не вступая с учеными в спор,
Я простер постаревшие руки
В нестареющий синий простор.

Мне близки эти дальние звезды,
Как вот этот заснеженный лес...
Я живу, потому что я создан
Для людей, для земли, для небес.

Я хочу овладеть чудесами,
Что творятся в космической мгле, —
Небо полилится голосами
Тех, кто жил и любил на Земле.

1961

ЖИЗНЬ ПОЭТА

Молодежь! Ты мое начальство —
Уважаю тебя и боюсь.
Продолжаю с тобою встречаться,
Опасаясь, что разлучусь.

А встречаться я не устану,
Я, где хочешь, везде найду
Путешествующих постоянно
Человека или звезду.

Дал я людям клятву на верность,
Пусть мне будет неважно.
Буду сердце нести как термос,
Сохраняющий теплоту.

Пусть живу я вполне достойно,
Пусть довольна мною родня —
Мысль о том, что умру спокойно,
Почему-то страшит меня.

Я участвую в напряженье
Всей эпохи моей, когда
Разворачивается движенье
Справедливости и труда.

Всем родившимся дал я имя,
Соглашаются, мне близки,
Стать родителями моими
Все старушки и старики.

Жизнь поэта! Без передышки
Я все время провел с тобой,
Ты была при огромных вспрысках
Тоже маленькою зарей.

1961

ГОСТЬ

Не поверят — божись не божись, —
У меня, говорю без обмана,
Для подарков людям всю жизнь
Оттопыривались карманы.

Прав, не прав я, наверно, решит
Старый турок Гарун аль Рашид.

Он ко мне, обалдев с непривычки,
Едет в гости на электричке.
Он приехал и ждет на вокзале —
Мне об этом в киоске сказали.

Он столетия пробыл в пути,
На него современность накинется,
И задача моя — привезти
Человека из сказки в гостиницу...

Спит столица в предутренней мгле,
Спит старик телефон на столе,
Спят гостиницы все этажи...

Ну-ка, милый, давай расскажи,
Расскажи мне, что слышно на свете
И поют ли еще соловьи?
Что дарил ты и взрослым и детям?
Как продолжил ты сказки мои?

Как шагал ты по сказочным странам,
Что писал ты и что прочел?
Указал ты пути великанам?
Быть полезным учился у пчел?

Так коснуться бумаги ты смог,
Чтобы пахла она, как цветов?

Как я жил? Что я делал на свете?
Смог ли сказку я в быль превратить?
Не могу я на это ответить,
У читателя надо спросить!

1961

ЖЕЛАНИЕ

Марку Шехтеру

Все желанья собрал я в охапку,
Все послушно, все покорно мне.
И звезда стоит на задних лапках
В широко распахнутом окне.

Разве чужды мне цветы живые?
Разве я рациональным стал?
Я-то колокольчики степные
Не переливаю на металл.

Пусть же будет лепестками песни
Многokrатно шар земной обвит,
Пусть она в загадках поднебесья
С космонавтом третьим полетит.

Устремленная к далеким сферам,
На Земле беседа с детьми,
Пусть она идет людским размером,
Пусть она рифмуется с людьми.

Пусть она, как люди, без простоя
Продолжается, как начата...
Вот мое желание простое,
Вот моя давнишняя мечта!

1961

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ

Разрушены барьеры ночи темной...
Рассвет какой, как все огромно!
Как будто неба тихий океан
Упал на Тихий океан.

Кончается моя ночная сказка.
Земля под синим пологом легла,
Но вот уж фиолетовая краска,
Как школьница, бежит через луга.

Все спящие сейчас вот-вот проснутся,
Лучи нещадно небо терпят.
Они бегут, они ко мне несутся
Ватагою оранжевых ребят.

Бегут лучи, мои родные дети.
Они моя давнишняя семья.
Со всеми красками дружу я на рассвете,
И на закате с ними буду я.

Не для пустого времяпровожденья
Я пробивался сквозь обвалы туч,
И для тебя в твой светлый день рожденья
Я выбираю самый лучший луч.

1961



Живого или мертвого,
Жди меня двадцать четвертого,
Двадцать третьего, двадцать пятого —
Виноватого, невиноватого.
Как природа любит живая,
Ты люби меня не уставая...
Называй меня так, как хочешь:
Или соколом, или зябликом.
Ведь приплыл я к тебе корабликом —
Неизвестно, днем или ночью.
У кораблика в тесном трюме
Жмутся ящички воспоминаний
И теснятся бочки раздумий,
Узнаваний, неузнаваний...
Лишь в тебе одной узнаю
Дорогую судьбу мою.

1961

ПУШКИНУ

Будь пушкинским каждый мой шаг.
Душа! Не подвергнись забвенью —
Пусть будет средь новых бумаг
Жить пушкинское вдохновенье.

Пусть мой поэтический труд
Не будет отмеченным славой,
Пусть строчки мои зарастут
Его головой кучерявой.

Не нужно дороги другой —
Удобней, чем наша прямая!
О Пушкин вы мой дорогой,
Как крепко я вас обнимаю!

Не камень, не мрамор, а вас,
Живого, в страдание и муке
Обняли в торжественный час
Мои запоздавшие руки.

1962



Никому не причиняя зла,
Жил и жил я в середине века,
И ко мне доверчивость пришла —
Первая подруга человека.

Сколько натерпелся я потерь,
Сколько намоглись мои губы!
Вот и горе постучалось в дверь,
Я его как можно приглубил.

Где-то рядом мой последний час,
За стеной стучит он каблуками...
Я исчезну, обнимая вас
Холодеющими руками.

В вечность поплывет мое лицо,
Ни на что, ни на кого не глядя,
И ребенок выйдет на крыльцо,
Улыбнется: — До свиданья, дядя!

1963

ОХОТНИЧИЙ ДОМИК

Я листаю стихов своих томики,
Все привычно, знакомо давию.
Юность! Ты как охотничий домик,
До сих пор в нем не гаснет окно.

Вот, в гуманиность охоты поверив,
Веря в честиость и совесть мою,
Подошли добродушные звери.
Никого я из них не убью!

Не существование, а драка!
Друг мой, гончая прожитых лет,
Исцарапанная собака,
Заходи-ка ты в мой кабинет.

Сколько прожил я, жизнь сосчитает.
И какая мне помощь нужна?
Может, бабочки мне не хватает,
Может, мне не хватает слона?

Нелегка моей жизни дорога,
Сколько я километров прошел!..
И зайчишку и носорога
Пригласил я на письменный стол.

Старость — роскошь, а не отрепье,
Старость — юность усталых людей,
Поседевшее великолепье
Наших радостей, наших идей.

Может, руки мои не напишут
Очень нужные людям слова,
Все равно, пусть вселенная дышит,
Пусть деревья растут и трава.

Жизнь моя! Стал солидным я разве?
У тебя, как мальчишка, учусь.
Здравствуй, общества разнообразие,
Здравствуй, разнообразие чувств.

1962



Выйди замуж за старика!
Час последний — он недалек.
Жизни взбалмошная река
Превращается в ручеек.

Даже рифмы выдумывать лень,
Вместо страсти и ожиданий
Разукрашен завтрашний день
Светляками воспоминаний.

Выйди замуж за старика!
За меня! Вот какой урод!
Не везде река глубока —
Перейди меня тихо вброд.

Там на маленьком берегу,
Где закат над плакучей ивой,
Я остатки снов берегу,
Чтобы сделать тебя счастливой.

Так и не было, хоть убей,
Хоть с ума сойди от бессилья,
Ни воркующих голубей,
Ни орлов, распластавших крылья.

1962

НЕГОДАЙ

Такая у него была порода,
Таким он негодяем был, —
Его всегда, в любое время года,
Сам Иисус Христос по морде бил.

Я у него вторые сутки дома,
Давай, хозяин, щедро угощай!
Не только что — мы сорок лет знакомы,
Ты собственность моя, мой негодяй!

Все в юности произошло когда-то,
Всем незаметный, мне заметный след.
С юнцами говорить мне трудновато.
Ну, а тебя я знаю сорок лет.

Не выдержал ты с жизнью поединка,
Преувеличил человека власть...
И вспомнила холодная снежинка
О том, что теплой каплей родилась.

Я счастлив у поэзии во власти,
Она и я принадлежим труду.
В мир разноцветных радуг, в царство счастья,
Я негодяя за руку веду.

Обоих нас бессмертье ожидает;
Я у суда пощады не молю...
Меня всегда читатель оправдает:
Не виноват я, что людей люблю.

Не знаю, был я трусом или смелым,
Не знаю — знаменит, не знаменит?...
Когда родился я, листва шумела.
Она увяла? Нет, всегда шумит!

1962

СИРЕНЬ

Я счастлив судьбою завидной —
Плыву я по волнам весь день,
Пусть берега даже не видно,
Меня провожает сирень.

Плыву на восток и на запад,
Все волны и волны вдали,
Но все же со мной этот запах —
Сиреневый запах земли.

Плыви же, стихотворенье,
В немислимое бытие,

Где женщины пахнут сиренью,
Где, может быть, счастье мое.

Сирень! Ты ничем не торгуешь —
Бесплатная юность моя!
И если ты не существуешь,
Я выдумаю тебя.

1962



Нет, не в мире встреч, в краю прощаний,
Так живу я на краю земли,
Как давно женатые мещане
В мудрость с легкомыслием пришли.

Мы не молоды, но, кажется, не стары.
Полночь. Тихо. Трудится сверчок,
На столе бушуют самовары,
Создавая новый кипятилок.

1962



Все мне кажется, что я молод,
Что стою накануне дня,
Все мне кажется — конь и молот
Богом созданы для меня.

Я лечу, и несутся искры
От подков по глухим степной.
Юность, юность! Ведь ты не близко!
Юность, юность! Побудь со мной!

Я кую, и несутся искры
В окружающий полумрак...
Юность, юность! Ведь ты не близко?
Я состарился? Разве так?

Дай-ка всех друзей озадачим!
Пусть могила невядалеке,
Я несусь на коне горячем,
Тяжкий молот в моей руке!

1962

ПЕСЕНКА ДВУХ ВЕДЬМ

Из пьесы «Любовь к трем апельсинам»

Каждый день и каждый час
Трепещите, бойтесь нас:
Ведь мы —
Ведьмы!

Нас боится вся страна
От мышонка до слона:
Ведь мы —
Ведьмы!

Укусить мы можем так,
Как две тысячи собак:
Ведь мы —
Ведьмы!

Чтоб не грянула беда,
Избегайте нас всегда:
Ведь мы —
Ведьмы!

Пятью лять — сто двадцать пять!
Вот как учим мы считать:
Ведь мы —
Ведьмы!

Счет у нас особый есть —
Шестью шесть — сто тридцать шесть:
Ведь мы —
Ведьмы!

Как печально, черт возьми,
Что мы не были детьми:

Ведь мы —
Ведьмы!

Люди борются со злом,
Победят — и мы умрем:

Ведь мы —
Ведьмы!

1962



Мне много лет. Пора уж подытожить,
Как я живу и как вооружен.
На тысячу сердец одно помножить —
И вот тебе готовый батальон.

Значенья своего я не превысил,
Мне это не к лицу, мне не идет,
Мы все в атаке множественных чисел
С единственным названием: народ!

Быть может, жил я не для поколений,
Дышал с моей эпохой не в лад?
Быть может, я не выкопал по лени
В моей душе давно зарытый клад?

Я сам свой долгий возраст не отмечу...
И вот из подмосковного села
Мне старая колхозница навстречу
Хлеб-соль на полотенце поднесла.

Хлеб-соль! Мне больше ничего не надо,
О люди, как во мне ошиблись вы.
Нет, я не в ожидании парада,
Я в одинокой комнате вдовы.

Я ей портреты классиков развешу,
И все пейзажи будут на стене,
Я все ей расскажу, ее утешу,
Прошу, друзья, не помешайте мне!

Я радость добывал, и есть усталость,
Но голос мой не стих и не умолк.
И женщина счастливой оставалась —
Я был поэтом, выполнил свой долг.

1963



Мне неможется на рассвете,
Мне б увидеть начало дня...
Хорошо, что живут на свете
Люди, любящие меня.

Как всегда, я иду к рассвету,
И, не очень уж горячи,
Освещают мою планету
Добросовестные лучи.

И какая сегодня дата,
Для того чтоб явилась вновь
Похороненная когда-то,
Неродившаяся любовь?

Не зовут меня больше в драку:
Я в запасе, я просто так,
Будто пальцы идут в атаку,
Не собравшиеся в кулак.

Тяжело мне в спокойном кресле.
Старость, вспомнить мне помоги, —
Неужели они воскресли,
Уничтоженные враги?

Неужели их сила тупая
Уничтожит мой светлый край?
Я-то ладно, не засыпаю,
Ты, страна моя, не засыпай!

В этой бешеной круговёрти
Я дорогу свою нашёл,
Не меняюсь я, и к бессмертью
Я на цыпочках подошёл.

1963

НИНЕ

Я клянусь тебе детской мечтою,
Взрослым подвигом, горем земли —
В мире самой счастливой четою
Мы с тобою прожить бы могли.

Мне узнать бы любовь хоть на ощупь,
Только контуры где-то видны,
И как будто в осеннюю рощу
Я вошел в середине весны.

Нам бы счастье свое не прохлопать,
Я к любым испытаниям готов...
До чего надоедлива копать
Мной еще не зажженных костров.

Как о хлебе, мечтаю о чуде,
Я хочу, чтобы в годы мои
Соловьи запевали, как люди,
Чтоб запели мы, как соловьи.

С молодой, ненасытной жаждой
Мне, наверно, понять не успеть,
Что обязанность зелени каждой —
К дням осенним вовсю зажелтеть.

Отвечайте, прошедшего тени,
Для чего я на свете живу?

В листопад самый гнусный, осенний
Возвращаю деревьям листву.

За столом засиделся я поздно.
Небо в звездах, и космос висит.
И не бабушкой старой береза,
А девчоночкой светлой стоит.

Я шагаю с открытой душою,
Комсомольцы идут впереди,
Все — и маленькое и большое —
Прижимая к широкой груди.

Дни свои я тобою украшу.
Еле слышно меня позови,
И вдвоем, как на родину нашу,
Возвратимся мы к прежней любви.

1963

РАЗГОВОР

Ты — любовь моя!
Ты — перевертень ума,
Ты — как лето на саночках,
Как в веснушках зима.

Нет! Не в сказочной обуви,
Нет, не в туфельках Золушки,
Не в огнях городов,
Не в мерцанье села,
Не в сиянье реклам —
По дорогам проселочным
В тихих тапочках стоптанных
Ты торжественно шла.

Я мечтал о тебе,
Отправляясь в дорогу,
Я искал тебя,
Девушку-недотрогу.

Пусть мне будет
От вдохновения жарко —
К медсанбату в пути,
В обгоревшем лесу,
Я любовь —
Эту раненую санитарку —
Может быть, донесу,
Может, не донесу.

Как мне быть?
До сих пор я не принял решения...
Неужели с годами
Погиб мой запал!
Не по площади бить,
А по точной мишени!
Кто поможет проверить —
Попал, не попал?

Были юными,
Стали согбенными плечи,
Все же тяжести новой
Смиренно я жду.
Ты на месте не стой,
Ты пойдешь мне навстречу,
Все мне кажется —
Сам я вовек не дойду.

Мы уступок
У нашей любви не просили,
Нам соблазны
Не изменили маршрут...
Молодежь не поймет
Наших грустных усилий,
Постаревшие люди,
Быть может, поймут.

1963

МРАМОР

Нынче не совсем обыкновенный —
Мраморный я к людям прихожу, —
От склероза каменеют вены,
Места я себе не нахожу,
Холодом настигнутое тело
Теплого общенья захотело.

Берегов далеких обитатель,
Стань мне другом, дорогой читатель!
Через двести лет иль полтора
Я кричу отсюда: «Мальчик! Здравствуй!
Девочка моя! Сквозь много лет
Белокаменный прими привет!..»

Как всегда, стремился я вперед,
Оступая — я не скороход.
Будь же проклят дважды или трижды
Тот, кто юность мыслит как печать!
Сердце! Будь интеллигентным, выжди,
Продолжай стучать, стучать, стучать!

Мне в твоём таком ритмичном стуке
Будущее протянуло руки,
И в меня, как в мужа, влюблена
Та, которая ещё не рождена.

Перейдя других времен преграды,
Наши жертвы требуют награды,
Мрамора условность ни к чему...
Мой потомок! Я тянусь к нему!

Он родился, учится ходить,
Мне б его в штанишки нарядить,
Пистолет купить ему ребячий...
Таковы теперь мои задачи.

И на средства все, что накопил,
Я подарки внукам накупил.
Плавают, не вышли из игры

Чувств моих воздушные шары,
Вьются белки, бегают лошадки
В очень интересном беспорядке.

От любви мой путь все время ярок,
Жизнь моя — грядущему подарок,
Будущее вижу наяву...
Мрамор дышит — я еще живу!

1963



Музыка ли, пенье, что ли, эхо ли —
Что же это зазвучало вновь?
От вокзала Дружбы мы отъехали
К следующей станции — Любовь.

Кто-то с кем-то навсегда простился,
Чей колеса затоптали след?
И над стрелочницей опустился
Свет разлуки — сумеречный свет.

Будем вместе во всеобщей давке,
Ну какой тут может быть секрет,
Если из коинспиративной явки
Вышла ты, любовь, на божий свет.

Звездами планета разнаряжена,
Ночь растет, растет за часом час,
И заря в тумане ищет скважину,
Чтоб потом насплетничать о нас.

Раио еще. Чуть взошло светило.
Только-только ночь простерлась ниц,
И еще не прикасалось мыло
К неумытым лицам проводниц.

Так оно ведется год от года —
Шпал мельканье, шепот проводов,

И обогащается природа
Движущимся утром поездов.

Через все завалы снеговые,
Через летний утренний туман
Комсомольцы Западной Россин
Мчатся на Алтай и в Казахстан.

Пусть они ни разу не сражались,
Мне смотреть на них не надоест,
Как они вониственно прижались
К седлам бесплაცкартных мест.

Юность расшумелась по вагонам,
Что это творится поутру?
Контролер отшельником казенным
Ходит в распевающем миру.

Каждый день торчу я на вокзале,
Хорошо б за тыщу верст махнуть!
Вежливо мне годы указали
Путь домой — без путешествий путь!

6 апреля 1964 года

В БОЛЬНИЦЕ

Ну на что рассчнтывать еще-то?
Каждый день встречают, провожают...
Кажется, меня уже почетом,
Как селедку луком, окружают.

Неужели мы безмолвны будем,
Как в часы ночные учреждение?
Может быть, уже не слышно людям
Позвоночного столба гуденье?

Черта с два, рассветы впереди!
Пусть мой пыл как будто остывает,
Все же сердце у меня в груди
Маленьким боксером проживает.

Разве мы проститься захотели,
Разве «Аллилуйя» мы споем,
Если все мои сосуды в теле
Красным переполнены вином?

Все мое со мною рядом, тут,
Мне молчать года не позволяют.
Воины с винтовками идут,
Матери с детишками гуляют.

И пускай рядами фонарей
Ночь несет дежурство над больницей, —
Ну-ка, утро, наступай скорей,
Стань, мое окно, моей бойницей!

12 апреля 1964 года



Столкновения все чаще, чаще...
Не уходит драки перегар.
Прошное воюет с настоящим,
Спорят десятина и гектар.

Где ты, где ты, к старшему почтенье?
Презирает лампочка звезду.
И весовщики в большом смятенье —
Центнеры с пудами не в ладу.

Кепки на затылок отодвинув,
Дорогие сверстники мои...
Наблюдали метров и аршинов
Страшные кулачные бои.

И казалось бы, убыток не велик-то,
Связаны мы крепкою судьбой,
Ну поди-ка разреши конфликты
Трудные — меж мною и тобой.

Как люблю тебя я, молодую, —
Мне всегда доказывать не лень,
Что закат с зарею не враждуют,
Что у них один и тот же день.

19 апреля 1964 года



Какой это ужас, товарищи,
Какая разлука с душой,
Когда ты, как маленький, свалишься,
А ты уже очень большой.

Неужто все переименовывать,
Когда, беспощадно мила,
Тебя, по-охотничьи зрячего,
Слепая любовь повела?

Тебя уже нет — индивидуума,
Все чувства твои говорят,
Что он существует, не выдуман,
Бумажных цветов аромат.

Мой милый, дошел ты до ручки!
Верблюдам поди докажи,
Что безвитамины колючки,
Что надо сжирать миражи.

И сыт не от пищи терновой,
А от фантастических блюд,
В пустыне появится новый,
Трехгорбый счастливый верблюд.

Как праведник, названный вором,
Теперь ты на свете живешь,
Бессильны мои уговоры —
Упрямы влюбленные в ложь.

Сквозь всю эту неразбериху
В мерцание печального дня
Нашел я единственный выход —
Считай своим другом меня!

4 мая 1964 года

Стихи, не входившие в книги ГОЛЛИВУД

Из драматической поэмы

Последние листья осень сорвет,
И когда настанет зима,
В пустые залы театров войдет
Голливуд, сошедший с ума.

Он нахлынет в фойе,
Он займет партер,
И подмостки вновь оживут:
«Покажи нам трагедию жертв и потерь,
Которых не знал Голливуд!»

«На сцену, приятель!
На сцену все!
На сцену, актеры и конференсье!
Вас слушает Голливуд!..»

Артист, которому много лет,
Выйдет и запоеет,
Он вынет заржавленный пистолет
И отца родного убьет!

Сангвиник, сидящий в первом ряду,
Вскочит на авансцену:
«Простите, я всю эту ерунду,
Все страсти в любом альманахе найду,
Я знаю этому цену!

Прошли года.
Их шум затих.
Это было очень давно.
Мы бездну родственников своих
Уничтожали в кино.

— Ах, дочь!
— Ах, сын!
— Ах, мать моя!..
И вот изрезана вся семья,
И зритель слезится в истерике...
Страдание становится пошлым, и вот —
Слеза из театра ушла и бредет
По всей остальной Америке...

Слушайте, Джэмс, или как вас зовут —
Нас не обманешь — мы все-таки Голливуд!»

И старый актер, который устал,
Который губы зовет «уста»,
Пройдет к себе за кулсы.
Он вынет заржавленный пистолет,
Он скажет: «Мне уже много лет,
Пора уже застрелиться!»

И тогда пикантный и полунагой,
Тросточкой помавая,
Выйдет на сцену и шаркнет ногой
Комик из Уругвая.

Комик.

Все, понятно, очень просто —
Не смеялись вы давно.
Киньтесь с Бруклинского моста —
Это очень смешно!
Гоп!
Гоп!

Все продали. Ничего нет.
Мертвым это все равно.
Голенькими похоронят —
Это очень смешно!

Гоп!

Гоп!

Схоронил за трое суток
Двух детей и заодно
Сам повешусь... Кроме шуток,
Это очень смешно!

Гоп!

Гоп!

Я счастлив.
Я знаю свое ремесло!
Смотрите, куда меня занесло —
До самого потолка!
Я надену петлю, перестану дышать,
Но трость, как живая, будет дрожать
На кончике языка!..

Сангвиник.

Смежались глаза и закрылись пути.
Он молод был, он дышал огнем...
Ему еще не было тридцати...
Утрите мне слезы — я плачу о нем!

Голос из публики.

Без цинизма!

Сангвиник.

Хорошо. Постараюсь.

А трагик? Его холодеет висок,
И смерть прикоснулась к холодным устам,
И пуля прошла сквозь его мозжечок,
Сквозь цитаты трагедий, дремавшие там.

Он с демонами сражался в пылу,
Колумбом прошел бутафорские бури,
И вот он лежит на холодном полу,
Как голая девушка на гравюре...

Я говорю трогательно?

Зал.
Очень!

Сангвиник.
В небытие мертвецов проводив,
Чуткой акустикой этого зала
Вы слышали, как у искусства в груди
Клапан за клапаном сердце смолкало.

Я видел, как жалость сгущалась над вами
Как в судороге подбородки тряслись, *.

.

ЖЕНЕ НАГОРСКОЙ

1

Я думал, вы меня забыли
И, милой ничуть не дорожа,
Светлову, верю, изменили,
Светлову не принадлежа.

Из головы моей проворно
Ваш адрес выпал издавна —
Так выпадает звук из горна
Или ребенок из окна.

Дыша тепло и учащенно,
Принес мне тень знакомых черт
В тяжелой сумке почтальона
Чуть не задохшийся конверт.

И близко так, но мимо, мимо
Плывут знакомые черты...
(Как старый друг, почти любимый,
Я с вами перейду на «ты».)

Моя нечаянная радость!
Ты держишь в Астрахань пути,

* На этом обрывается машинописный текст поэмы. Местонахождение рукописи неизвестно. (С о с т.)

Чтоб новый мир, чтоб жизни сладость
В соленых брызгах обрести.

Тебе морей пространства любви,
Но разве в них запомнишь ты
Мои измученные губы,
Мои колющие черты?!

Нас дни и годы атакуют,
Но так же, вожжи теребя,
Извозчик едет чрез Сумскую,
Но без меня и без тебя.

И так проходит день за днем,
И люди женятся кругом.

И Рувочка семейным зданьем
Уже осел на бытие...
Пусть примет он все пожеланья
И все сочувствие мое!..

Чтоб не терять нам связь живую,
Не ошибись опять, смотри:
Не на Кропоткинской живу я,
А на Покровке, № 3.

Целую в губы и глаза...
Ты против этого?.. Я за!

1930

2

В гордости и в уваженьи
Сохраню я милый образ Жени.
Все порывы молодого часа
Я храню, как старая сберкасса,

Унося с собою в день грядущий
Молодости счет быстротекущий.
Я мечтал прильнуть к высокой Славе,
Точно так, как ты прильнула к Савве,

Но стихи, как брошенные дети,
Не жильцы на этом белом свете.
Что же! Пусть! Тебе ведь все равно!
Хаим успокоился давно.

1943 Северо-Западный фронт



Когда рисуешь портрет товарища,
Ты утверждаешь улыбку, возраст...
Теперь, дорогая, ты не состаришься
Всегда одинаковая, близко, возле.

Выбери, милая, время любое,
Уезжай далеко, далеко — в невидимое.
Ты ведь не знаешь, что я с тобою
Нарисованною, выдуманною...

Будь же, как прежде, ко мне холодна,
Зови меня строго по имени-отчеству,
Только не уходи с полотна,
Не оставляй меня в одиночестве.

Я ведь не был навязчив ни одной минуты.
Я просто искал и пришел к искомому,
Я рисовал без претензий, будто
Ты по пути зашла к знакомому.

И я не хочу, чтобы ты сердилась!
Хоть эту радость иметь я вправе?
Милая! Где ты остановилась?
В Киеве? В Кременчуге? В Полтаве?

Маленький железнодорожный билет —
От него зависит — далеко или близко...
Ты знаешь, я в жизни не был согрет
Теплою радостью переписки.

Я каждую краску в ладонях грею
Прежде, чем к полотну прикоснуться...
Милая! Приезжай скорее!
Пора, дорогая, пора вернуться!

СУД

Нет! Это не только черные буквы,
Сухой протокол суда —
Это детские крики из «душегубки»
Доносятся к нам сюда.

Нет! Это не перечень тех, кто умер,
Не все протокол сказал —
Это матери в смертном своем безумьи
Входят в судебный зал.

К расплате! Во имя возмездия сразу
Мы все явились сюда,
И легким дымком углекислого газа
Пахнуло в зале суда!

И тридцать тысяч советских граждан
В предсмертном своем бреду
Незримо присутствуют в зале — и каждый
Свидетельствует суду.

И каждый в лицо узнает подсудимых
И смотрит на них в упор:
Мы не забудем! И мы не простим их!
И неумолим приговор!

194(?)

ДИСЦИПЛИНА

Я о долге не забывал,
Я — за доблесть стихотворенья,
Сколько раз я ранен был
У высоток мировоззренья!

Ночь над госпиталем плыла
Массой темною и сырою,
Дисциплина солдат была
Медицинской моей сестрою.

Почему я живу в труде?
Почему я не сбился с круга?
Потому что всегда, везде
Дисциплина моя подруга.

Я ей многое обещал,
Я сулил ей вершины счастья,
Я чайком ее угощал
После холода и ненастья.

Таял в чашечке рафинад,
Плыли маленькие чайники...
У меня сорок лет подряд
Лучше не было вечеринки.

Я чудес обрету края,
Без усилия горы сдвину,
Если только вовремя я
Позову свою дисциплину.

И строка бежит за строкой,
Пышет молодости горенье,
Потому что она со мной
В этом маленьком стихотвореньи.

НЕДЕЛЯ *

Пятница, суббота, воскресенье...
Нет у нас от старости спасенья!
Ты состарилась, судьба? Ну что же,
Постарайся выглядеть моложе.

* Вариант стихотворения «Время».

Пусть войны гражданской острова
Далеки и видятся едва;
Пусть войны Отечественной реки
В море времени ушли навеки —

О неделях будущих порой,
Молодежь, советуйся со мной,
Чтоб узнать, как попадает в цель
Беспощадный автомат иедель.

Пятница, суббота, воскресенье...
Нет у нас от старости спасенья.

Потянулись следом, как всегда,
Понедельник, вторник и среда,
И живет четверг немолодой
Между пятницею и средой.

ПЕСНЯ

Улицею скользкою
Ты идешь домой,
Светишь папироскою,
Дорогой ты мой!

До чего же мирные
У тебя шаги!
Но шумят квартирные
За тобой долги.

Дни, что были редкими,
Можно перечесть,
У тебя с соседками
Отиошенья есть.

С ними, многолетними,
Ты давно живешь,
Никакими сплетнями
Правды не собьешь.

Засветились свечками
Огоньки любви...
Вместе с человечками
Так вот и живи!

Улицею скользкою...

Угрожает холодом
Близкая зима,
Все, что было молодо,
Ничего нема.

Так вот ничегошеньки
Не осталось нам,
Лишь дождей горошинки
Хлещут по домам.

И сквозь неба скважинки
Дождь идет, идет,
Ты попал в неважненький
Этот переплет.

Улицею скользкою...

Вот ударит гром еще
В близкой стороне...
Если ты беспомощный,
Что же делать мне?

Голод одиночества
Мною не забыт...
Все мое пророчество —
Одинокий быт.

Улицею скользкою...



Закон борьбы всегда неистов,
Была ты, жизнь, иль не была?
Трезвонят среди атеистов
Церковные колокола.

Разнообразны все дороги,
Какое множество дорог!

* * * * *

1963



От слабости, от крика удержи
Ничьи другие, а свои страдания,
Разрушенной надежды блиндажи,
Осенние окопы ожидания.

Я ничего не сообщаю нового —
Пять долгих лет тебя я громко звал,
Пять долгих лет тебя я завоевывал,
И день победы нам салютовал.



Ночь закоиспириванным штабом
Все решила — жить кому, не жить.
Ну, не деньги, ну, мечту хотя бы,
Не у кого это одолжить?

Вот забор, какая-то ограда
И над нами звездные пути...
Мировых проблем сейчас не надо —
Мне б тебя до дома довести.



С радостью простой, почти что детской
Я воспитывался, я писал и рос,
В алфавит страны моей Советской
Золотую букву я принес.

Много дней, похожих, непохожих,
Ожидал, дождался, прожил я.
Я иду по жизни. Нет прохожих!
Люди есть! И есть мои друзья!



Хорошо бы жизнь была как шар.
Я так рассуждаю потому,
Что когда уже ты очень стар,
То приходишь к детству своему.



Снова встретились смерть и бессмертье —
Мы страдаем от этих встреч!



Приглядывался я к твоей судьбе.
Я знал всегда: не утро и не вечер,
А сумерки сопутствуют тебе.



И на общем собрании прожитых лет
Мы дальнейшие планы мечты утверждаем.



Зеркала потускнели, теряя
Отражения нашей души...



В каждом обществе так всегда —
Вслед за вторником обыкновенным
Накипающая среда.



Я в жажде близкого общенья
Смотрю, смотрю в твои глаза,
Ты — как дурное сообщение,
Ты — как ненужная гроза.



Ведь радость должна быть ужасной,
Красивою быть не должна.



Юность создана для находок,
Старость создана для потерь.



Хоть звезды еще не погасли,
Хоть спят и земля и моря,
Встает на подсолнечном масле
Поджаренная заря.



Не искал, не ищу покоя,
Не померкли мои края —
Солнце светит, друзья со мною,
Продолжается жизнь моя.



Эта бедная девочка день-деньской по деревне ходила,
По поселкам рабочим усталая к вечеру шла,
Все искала, искала, искала и не находила,
Даже замужем будучи, счастья себе не нашла.



Поколений других на меня надвигается рать.
Я сдаюсь им, я пленник, для них непонятный,
Я живу для того, чтобы мог я ребенку сказать:
Я недорого стою, дитя! Я бесплатный!



Моему честолюбию место
Быть на встрече грядущего дня,
Симфонические оркестры
В коммунизме заменят меня.
Будут жизни моей описания
Не как правила правописания.



Такие пустяки — друзей потешить,
Заплаканную женщину утешить.
И никаких других тебе задач.
Я долго думал: в чем моя задача?
Вот я живу и никогда не плачу, —
Какое это горе для меня!



Всем кажется, что счастье вот-вот-вот!
А человек не двести лет живет!



Здравствуй, исповедь! И священник
Исповедует ради денег.
Все, чем наша душа живет,
Перевел на текущий счет...



Детства электрическая вспышка
Осветила будущие дни.



Я прожил много лет, и я узнал:
Нет юности, но есть журнал.



Грозит обрушиться беда
На наше мирное содружество.
И у поэтов, как всегда,
Войска одалживают мужество.



Нас научили прежние года
И мужества учило иступленье,
Что отступленье временно всегда
И что должно быть вечным наступленье!



Сколько мы в путешествии будем?
Паровоз хулиганил и стих,
И относят носильщики к людям
Чемоданы желаний моих.



Жизни постоянное движенье,
Снилось что-то, стало наяву.
Жить бы мне в таблице умноженья,
Ну, а я вот в алгебре живу.



Я не срывал в горах кавказских фрукты,
Я для погони не седлал коня.
Троллейбус, где отсутствует кондуктор, —
Вот самый лучший транспорт для меня.



Жил я в общежитии, как в чуде,
Редко находил, всегда искал,
Дай мне бог здоровья!.. Люди, люди,
Поднимите за меня бокал!



Нет! В людей не потерял я веру,
И живу я не в лесу глухом,
Если дети и пенсионеры
Наклонились над моим стихом.



Ничего не сказать словами,
Очевидно, встает не зря
Надо мной и над всеми вами
Торжествующая заря.



Будущее юность ожидает!
Кто кого? О чем ни говори —
День грядущий людям открывает
Неоткрытый занавес зари.



Мрак ночной опрокинулся вдруг,
Все закрыла зловещая тень,
Но явился твой преданный друг —
И опять начинается день.



Средь безмолвия ночного,
Чуть подсвечивая тьму,
Млечный Путь раскинул снова
Переметную суму.



И на временном бездорожье
Старой женщине — просто так —
Золотой монеты дороже,
На ладошку кладу пятак.



Я не мальчик, в поисках женитьбы
Жаждающий любимой обладать,
Не на тысячу рублей мне жить бы,
Мне бы на копеечку поспать!



Мне заснуть бы!..
Мне всегда в тесноте ночей
Снятся вытопанные судьбы
Всех погибших моих друзей!..



В полночный час с обычной болью
Встречаю я (один, один!)
Воспоминанья хлебом-солью,
Как самый лучший гражданин.



Жизнь моя, прошумевшая вьюгой
Над весеннею кровлей моей,
Старой ведьмой была, не подругой..
Становясь беспомощней и злей.



Косички муха заплела,
Надела шляпку новую,
Раскрыла зонтик и пошла
Позавтракать в столовую.
Там пахнет так приятно!
Там кормят мух бесплатно!..



...Весна ко мне явилась вновь,
Играет ветер травками,
И я к тебе, моя любовь,
Пришел со всеми справками.



Подхалимски ждут метеориты
Притяжения больших планет...



Плачут домохозяйки-планеты
Над усопшей соседкой Землей...



В моих желаниях ты первою была,
Ты у меня их силой отняла.



В бухгалтерии весь и всегда разделяемый на сто,
С благородством людей, признаюсь, я встречался не часто.



Утверждая все общество в целом,
Человека не понял поэт.



Звезд международное мерцанье,
Умирая, видел над собой...

И отдал он земле родное тело,
И тотчас вся земля оскотелась...

Сказка — ложь, да в ней намек!
Добрым молодцам урок.

С детства знаем мы наизусть эти пушкинские строки. Но некоторые почему-то ошибочно полагают, что «добрые молодцы» и «молодицы», для которых пишутся сказки, — это непременно дети. Да, многие считают сказку лишь одним из жанров детской литературы, ибо, по их мнению, только мальчишки и девчонки должны ходить на уроки, готовить уроки и «получать уроки».

А разве взрослые люди ни в каких «уроках» уже не нуждаются?

Нетрудно доказать, что в мировой литературе созданы классические образцы сказки, адресованной в первую очередь именно тем «добрым молодцам», которые пребывают в юношеском или даже в абсолютно взрослом возрасте. Их тонкая и умная нравоучительность полезна всем! Такие образцы существуют, к счастью, и в нашей советской литературе.

Михаил Светлов тоже сочинял сказки. Для многих это прозвучит открытием. Но не неожиданным, потому что настоящая сказка неотделима от мудрости, от юмора и точной афористичности. А все эти качества как раз и были яркими гранями светловского таланта. Итак, слово — сказкам Михаила Светлова!..

Сергей Михалков

ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ

Человек в своей короткой жизни бывает счастлив дважды: в первый раз, когда он слушает сказки, во второй раз, когда он их сочиняет.

Наша денежная реформа не застала меня врасплох. Уже несколько лет я мечтаю написать повесть о том, как некий рубль разбился на десять гривенников, и о невероятных приключениях этих гривенников. И вдруг денежная реформа. И, число «10» в этой реформе. Мне кажется, что это не случайное совпадение. Много лет тому назад я написал «Гренаду», после чего произошли всем известные события в Испании. Затем я написал «Каховку», после чего там выросла великая гидростанция. И вот совсем недавно я написал стихотворение «Голоса», которое удивительно подошло к запуску нашей ракеты на Венеру, хотя ни я, ни редактор об этом событии даже не подозревали.

Все это я говорю вовсе не для хвастовства. Просто мне кажется, что во мне есть нечто от прорицателя. И я искренне удивляюсь тому, что ко мне не съезжаются политические деятели разных стран, с тем чтобы я предсказал им их будущее.

Хорошие люди, когда приходит их смертный час, любят, чтобы их хоронили в ненастную погоду. Они любят, чтобы ноги друзей и родственников, провожающих их в последний путь, чавкали по грязи или мерзли от свирепого холода.

Они любят, чтобы в автобусе, в котором они приехали на кладбище с Ним и уехали без Него, было очень душно или очень холодно.

И в этом нет никакого эгоизма. В этом есть свой благородный человеческий расчет.

Они хотят, чтобы тряска автобуса, чтобы неожиданный прокол шины, чтобы ругань шофера, чтобы возмущение пассажиров (поскорее бы очутиться в тепле!) или неожиданно хлынувший ливень задержали друзей и родственников в пути. Короче, они хотят, чтобы все эти мелкие неприятности отвлекли близких живых людей от их большого горя.

И они правы. Разве мы не замечали, что на обратном пути наступает момент какого-то странного веселья, что пассажиры оживленно разговаривают и что некоторые поминки звучат сильнее, чем некоторые свадьбы...

Лил проливной дождь, когда Иван Никанорович Пастухов, работающий официантом в кафе на пятнадцатом этаже гостиницы «Москва», хоронил свою жену, с которой он равнодушно прожил около сорока лет, но смерть заставила его полюбить ее. И вот он уже два дня плакал искренними слезами, чего никогда не делал при живой жене.

Он посмотрел на свои ботинки. Они были сплошь в мокрой глине. Да и брюки глина задела.

«В таком виде нельзя являться на работу», — подумал он. Потом он подумал, что у него нет средств на поминки, потом он подумал, что шеф Петр Семенович не сделает ему выговора (смерть жены — уважительная причина), потом он подумал, что его соседу — безногому инвалиду — выдали специальный автомобильчик, потом он вспомнил, что для детишек его дома строят спортивную площадку, потом он вспомнил, что у чистильщика обуви на углу есть специальная будка, и только потом он вспомнил о своем горе. Он окликнул свое горе, но оно не откликнулось, оно осталось на кладбище.

Он посмотрел в окно. Он увидел огромные, недавно выстроенные кварталы домов.

«Почему же я их раньше не заметил?»

Он был простой человек и не знал, что на пути к прощанию ничего не замечаешь, а на обратном пути начинаешь кое-что замечать. Он увидел, что дома построены квадратами и в каждом квадрате зеленеет большая площадка, а на одной из площадок он увидел бассейн, в котором, несмотря на дождь, плескались ребяташки.

Иван Никанорович заметил, что ни у одного нового дома нет ворот. «Да и к чему они — ворота?» — подумал он. И тут

же понял, что социализм тяжело ранил, а может быть, убил половицу: «Ни в какие ворота не лезет».

Дождь прекратился, когда он подъехал к Охотному ряду. На углу рыли тоннель для прохожих, и так как Иван Никанорович принадлежал к племени прохожих, он подошел посмотреть.

Фыркали какие-то машины, скидывали бедную землю с ее вековой постели, и какой-то человек бегал по краю огромной ямы и что-то кричал.

«Должно быть, прораб», — подумал официант, но тут же вспомнил, что опаздывает на службу.

Швейцар сочувственно встретил его.

«Почему у всех швейцаров бороды, а нормальные люди бреются? Такая борода при современной цивилизации! Старина, старина...» Торжественно осудив бороды, Иван Никанорович сразу повеселел и нажал кнопку лифта.

В служебной комнате он увидел накрытый стол. Его украшали несколько бутылок вина, блюдо с ветчиной и неожиданная ливерная колбаса (в кафе ее не подавали). Стол был рассчитан, как говорится, на восемь кувертов.

«Натюрморт», — сказал Иван Никанорович.

Этому слову научили его знакомые художники, посещавшие рестораны. Как-то он встретился с ними в вестибюле, где действительно висел натюрморт. Художники, подвыпив, решили позабавиться и хоть вскользь посвятить официанта в тайны своего искусства.

— Это натюрморт, — сказали они, указывая на картину.

Иван Никанорович ничего не понял.

— Натюрморт? — переспросил он.

— Натюр, а не натур!

— Натюрморт, — согласился официант. — А вот скажите, если бы вместо этого жареного тетерева на столе была нарисована вареная курица — это тоже натюрморт?

— Тоже.

— А если было бы нарисовано обыкновенное мясо, говяжье там, баранье или телячье, — тогда как?

— Натюрморт.

— А если бы никакого мяса не было?

— Натюрморт.

И тогда он понял, что в живописи произошло большая перемена — любая картина теперь называется «натюрморт».

И когда он однажды, работая не в ресторане, а разнося блюда по номерам в сопровождении начинающего официанта, увидел на шестом этаже какую-то батальную картину, он торжественно произнес: «Натюрморт».

Начинающий официант притворился, что понял.

Иван Никанорович снова удивился накрытому столу и главным образом тому, что за этим столом никого не было.

Он сел, склонил голову на руки и слегка задремал. И ему показалось, что весь его сегодняшний прожитый день перенесли на холстину:

дождь — натюрморт,

дорога — натюрморт,

автобус — натюрморт,

гроб — натюрморт,

кладбище — натюрморт,

и вся его прошедшая жизнь — натюрморт, и его покойная жена Евдокия Марковна, уроженка Смоленской области, — самый главный натюрморт.

Полусонные слезы потекли по его щекам.

Его разбудили приближающиеся голоса. Вошло несколько официантов во главе с метрдотелем.

— Не удивляйся, мы решили устроить поминки по твоей Евдокии Марковне. Пусть мы с тобой находимся на разных служебных ступеньках, но все мы детали одной лестницы, называемой жизнью, — несколько высокопарно произнес метрдотель, который недавно прочел четыре стихотворения Рабиндраната Тагора. У него лет двадцать тому назад умерла жена, а он все еще помнил и любил ее.

Все уселось за стол.

— Не больше, чем по одной, — сказал метр. — Вы на работе. А тебе можно и вторую. У тебя горе.

Вино было разлито по бокалам.

— Памяти Евдокии Марковны! — сказал метр, и какой-то официант потянулся к нему чокнуться.

— На поминках не чокаются, — строго сказал метр.

Тихо выпили.

— Постарайся забыть свое горе, — продолжал метр. — Но это вряд ли тебе удастся. Я вот уже двадцать лет не могу забыть собственное горе.

Один молодой официант, который чудом держался на ногах из-за злоупотребления не той жидкостью и в котором еще до

поминок содержание превышало форму, с пафосом произнес:

— Не желаю я пить за покойных! Я желаю поднять тост за живых, за их дела, за их будущее! Ура-а-а! — завопил он во всю свою молодую силу.

— Дисциплинированный официант не имеет права крнчать, — сделал ему замечание метр. — Дисциплинированный официант даже слово «ура» должен произносить тихо.

— Ура! — шепотом прокричал дисциплинированный официант.

В ресторане наступили часы «пик». И если до этого официанты покидали подсобку отдельными группами, то сейчас, подчиняясь авралу, они оставили бедного Ивана Никаноровича в полном одиночестве.

За стеной играла музыка, веселилось подобие человеческого счастья, а он, грустный, сидел за столом и получал удовольствие от своей грусти. В таких случаях всегда тянет к поэзии.

Он помнил только две строчки двух разных стихотворений. И сейчас он вычерпал до дна весь свой кладезь поэзии.

«Средь шумного бала случайно», — подумал он о себе под музыку и под шелест танцев в соседнем зале. И выпил.

— Извиняюсь, что без тебя, Евдокия Марковна, — сказал он и налил вторую.

— Скажи мне, ветка Палестины, — продекламировал он ни к селу, ни к городу, только потому, что знал эту строчку.

Иван Никанорович вспомнил начало своего романа с покойной Евдокией Марковной.

Она полюбила его как поэта. Дело в том, что Иван Никанорович (тогда еще Ванечка) вычитал где-то стихотворную строчку «Встречая новую зарю» и подгонял эту строчку под все случаи жизни. Скажем, его угощали вином. И тут же рождался экспромт: «Встречая новую зарю, вас за вино благодарю». Угощали папиросой, и к неизменной строчке «Встречая новую зарю» прибавлялась новая: «Вас за табак благодарю». Когда давали чаевые: «За денежки благодарю». И так во всех случаях жизни.

Это покорило Евдокию Марковну (тогда еще Дусю). Рифма есть, значит, и поэт есть. И она соглашалась совершить с ним загородную прогулку.

Вечерело. Облака — эти одеяла господа бога — окутывали землю. Было очень тепло.

На пустынной лужайке в лесу они вдвоем уселись на траву. Иван Никанорович любил траву больше деревьев. На деревьях объясняются в любви только птицы и обезьяны. На траве в любви объясняются люди. И Ванечка объяснился. Набравшись храбрости, он предложил:

— Не разделите ли вы со мной свое будущее?

Любовь была велика, но Дуся все еще сопротивлялась:

— А если ваше будущее — тюрьма, так мне что — вам передачи носить?

Ванечка растерялся, но спасительная поэзия пришла ему на помощь. «Встречая новую зарю, вас за любовь благодарю», — выпалил он и мгновенно овладел ею. И сейчас же ему захотелось жениться. Но греческая богиня любви Афродита могла доставить ему, русскому человеку, неприятности, и он прожил с Дусей около сорока лет. Детей у них не было.

— Как там они без меня справляются? — рассек свои воспоминания Иван Никанорович и нетвердыми шагами вышел в зал.

Он мутнеющими глазами осмотрел зал. Почти всех танцующих он знал. Все они делились на две категории: кому можно давать в кредит и кому нельзя. И скучно, невыносимо скучно стало ему. Хотя бы ему какой-то настоящий авантюрист попался! Он продолжал озирать зал в поисках какого-нибудь настоящего авантюриста.

Его внимание привлек весьма пожилой человек, одиноко сидящий за столиком. Две опорожненные бутылки коньяка стояли перед ним. К нарезанному лимону он, очевидно, и не притронулся. Он лениво смотрел на танцующих и думал какую-то никому не известную думу.

Ивану Никаноровичу этот человек показался подозрительным. Почему люди пьют? Потому что, когда они выпивши, им кажется, что они обладают неограниченной властью. И Иван Никанорович решительно подошел к незнакомцу:

— Ваш паспорт!

— А вы кто такой? — безразлично спросил незнакомец.

— Я работник одного учреждения, — смело ответил официант и тут же поправился: — Этого учреждения.

Незнакомец так же безразлично протянул паспорт, и Иван Никанорович прочел:

— Иван Иванович Рубль. Год рождения 1473.

Иван Никанорович во все глаза уставился на незнакомца. «Для своего возраста неплохо выглядит», — подумал он и сказал: «Извиняюсь», и ушел обратно в подсобку.

Хмель как будто начинал проходить, и еще одна стопочка подкрепила гаснущие силы официанта. Душавное состояние восстановилось, и он опять готов был участвовать в любой сказке.

Он вынул сигарету, а спички выскользнули из его дрожащих пальцев и рассеялись по полу. Он встал на колени, пытаясь собрать их. И ему показалось, что спички убегают от него. И не мудрено! Надоело им жить в этой чудовищной тесноте, в бараке, именуемом спичечным коробком, и каждая из них решила пойти по свету искать отдельную однокомнатную квартиру.

Не успел Иван Никанорович собрать все спички, как голову его просверлила поразительная мысль: «Не может быть, чтобы нормальному человеку было без малого пятьсот лет! Пойду-ка еще раз проверю!»

Страшное зрелище ожидало его. Незнакомец, пошатываясь, ходил по самому верху балюстрады. Иван Никанорович бросился было к нему, но было уже поздно. Иван Никанорович склонился над балюстрадой и посмотрел вниз. Он ничего не увидел. Он только услышал тихий звон. Это рубль, ударившись о тротуар, разбился на десять гривенников.

О дальнейшей судьбе этих гривенников, каждой в отдельности, и пойдет мое повествование.

Мой первый Гривенник, освободившись от родительской опеки Рубля, планировал на улице Горького.

Он остановился перед магазином готового платья. За стеклом стояли хорошо одетые манекены и, как всегда, загадочно смотрели вдаль.

Гривенник постоял, постоял и пошел дальше. Вот он оказался перед кафетерием и сразу почувствовал, что очень голоден. Он увидел выходящих из кафетерия довольных и улыбающихся людей, и, как всякий голодный человек, он счел всех сытых людей негодяями: «Небось, паразиты, икры нажрались!»

Буита против сытых он не стал устраивать, а просто подумал, как ему при весьма скудных средствах утолить свой голод.

«Только не надо унижаться. Надо всегда быть гордым!» И с видом двугривенного Гривениик вошел в кафетерий.

Свободных столиков не было. Он подсел к какой-то пожилой женщине в платье, какие наши женщины не носят. Ему захотелось побеседовать с нею, но из иностранных слов он знал только фамилии приключенческих писателей: «Майн Рид», «Жюль Верн», «Брет Гарт». На таком языке много не наговоришься.

Иностранка расплатилась и ушла. И тогда официантка обратилась к нему:

— Вам чего, молодой человек?

— Меню!

В прейскуранте все было выше его возможностей. Цены доходили до рубля и выше.

— Выбрали, молодой человек?

— Я еще подумаю.

Как бы ища выхода, он осмотрелся вокруг. Кругом ели. Кто жадно, кто равнодушно, а кто даже презрительно. Кошка под столиком уминала брошенный ей кем-то остаток котлеты. Она на мигнула оторвалась от еды и посмотрела на голодного мальчика. «Бывает же счастье!» — внутренне промяукала она и снова принялась за трапезу.

В полном отчаянии Гривениик взглянул на дорожную буфетчицу и затем на покрытый изогнутым стеклом прилавок. Цифра «8» привлекла его внимание.

«Не восемь же рублей, — подумал Гривениик. — Такого дорогого блюда и на свете нет!»

Он небрежной походкой подошел к прилавку и убедился в том, что сдобная булочка стоит восемь копеек.

Теперь он уже уверенно сидел за своим столиком. Подошла официантка.

— Ну как, выбрали, молодой человек?

— Знаете, мне как-то расхотелось есть. Но, пожалуй, вот эту булочку я съем. Принесите.

Эту булочку он мог бы проглотить в секунду, но подчинился рестораниному ритуалу. Минут десять он пощипывал булочку, пока от нее следа не осталось.

— Девушка! — громко позвал он. Так подозрительные юноши и девушки кличут официанток. Мой Гривениик хотя и был мал, но успел много чего наслышаться. — Сколько с меня?

— Восемь копеек, — равнодушно сказала официантка, поняв, что чаевых не будет. Но мой Гривенник был не такой.

— Получите девять! — небрежно сказал он. И как только в его руке очутилась сдача, произошло редчайшее на земле явление: мальчик превратился в девочку — Гривенник стал Копейкой.

И вот девочка Копейка стоит на углу Пушкинской площади и не знает, куда ей деваться. Она неумело поправляет на себе плиссированную юбочку, проверяет пуговицы на кофточке, лишь бы убить время...

Из кондитерского магазина вышли двое влюбленных. Трагедия их заключалась в том, что оба работали в вечерней смене, а днем им нигде было встречаться.

— Эврика! — воскликнул влюбленный, увидев одинокую девочку Копейку. Его подруга была менее образованна и подумала, что девочку зовут Эврикой. Мало ли какие имена напридумало человечество за последние десятилетия!

— Ты куда идешь, девочка?

— Мне все равно куда идти. Я сейчас свободна, — ответила девочка Копейка.

— Тогда едем с нами!

Он поднял руку. Проезжавшее мимо такси заскрипело тормозами.

— Эврика! — повторил влюбленный, обрадовавшись своей неожиданной выдумке, суть которой мы скоро узнаем. — Ты, девочка, сядешь с шофером. Ты ребенок, а детям всегда хочется быть впереди.

— Куда? — спросил шофер.

— На Курский вокзал.

Девочка следила за счетчиком, за быстро мелькающими копейками, и ей показалось, что это ее сверстницы взапуски бегут одна за другой.

Потом она вспомнила, что ее тетя — ее единственный родственник на земле — живет в городе Курске на углу Сказки и Большой Почтовой улицы. «Может быть, они едут через Курск и возьмут меня с собой?»

— Куда ты меня везешь? — спросила влюбленная. — Я никуда не поеду. У меня вечерняя смена.

— И у меня, ты знаешь. Мы никуда не поедем.

— Зачем же тебе Курский вокзал?

— Мне не весь вокзал нужен. Мне нужен только перрон, — таинственно сообщил влюбленный.

На вокзале он, оставив девочку Копейку на попечение своей подруги, побежал к расписанию поездов дальнего следования. Он скоро вернулся.

— Поезд на Симферополь отправляется через час с лишним. Значит, нам с тобой минут сорок нечего делать.

— А мне уходить? — спросила девочка Копейка.

— Нет, нет, ты побудь с нами. Ты, наверно, голодна?

— Я бы что-нибудь поела, — скромно ответила девочка.

В ресторане он спросил:

— Так что бы ты поела?

— Все! — не задумываясь, ответила Копейка.

После хорошо прожаренного бифштекса и двух бутылок крем-сода девочка задумалась. Она пыталась представить себе свою тетю, которая, думается, не случайно живет на углу Сказки. Да и сам угол, упирающийся в Сказку, должен быть чрезвычайно интересен. Но все представления были у нее от прочитанных книжек. А ее тетя и угол, на котором она живет, должны быть ни на что не похожи. А непохожего она ничего не могла представить себе.

Втроем они вышли на перрон. Пассажиры и провожающие только еще собирались, и влюбленные вместе с девочкой начали вдоль пересекать перрон.

Но вот толпа стала гуще, начались объятия и поцелуи. И наши влюбленные стали так обниматься и целоваться, как будто они прощались навеки. И поезд уже давно отошел, и разошлись провожающие, а ненасытные влюбленные не отрывались друг от друга.

Подождал дежурный по вокзалу:

— Это что такое, граждане?

— Мне дали билет не на тот поезд, — нашлась девушка.

— А что это за девочка?

— Я их дочка, — помогла влюбленным Копейка.

Дежурный отошел.

— Приходи каждый день к Симферопольскому поезду, — ласково сказал влюбленный, и девочка осталась одна.

Она дошла до конца перрона и увидела надпись: «Ходить по железнодорожным путям воспрещается». Ей показалось, что в этой надписи чего-то не хватает. Ну конечно же, должно было быть: «Детям до 16 лет ходить по железнодорожным путям

воспрещается». Она себе не представляла, что людям старше шестнадцати лет может быть что-нибудь запрещено.

Тетя в далеком сказочном Курске маршировала ей. Конечно, она могла бы на электричке на добрых несколько десятков километров приблизиться к своей мечте, но Гривенник числился в родословной Копейки. А Гривенник был очень гордый мальчик и ни за что не стал бы ездить зайцем. И девочка спрыгнула с перрона и пошла в далекий путь, который даже паровозы заканчивают пыхтя.

Сначала она шла очень весело и жалела о том, что у нее нет веревочки. Она бы через эту веревочку прыгала со шпалы на шпалу и так бы, играючи, прибыла в Курск. Но, дойдя до станции «Москва-Товарная», она почувствовала себя так, как автор этого произведения, написавший только первую строчку своих предстоящих десяти сказок. Хватит ли у меня сил, возможностей и фантазии дойти до последней станции-страницы, на фронтоне которой гордо высится название «Конец»? И я не поеду зайцем, потому что все мои герои гордые, в гордые они потому, что я, автор, числюсь в их родословной.

Не сердитесь, читатель. Чем дальше я буду углубляться в свои сказки, тем реже будет мое вмешательство.

Девочка Копейка остановилась. Ей с небольшого холмика было видно, как рельсы извиваются большим полукругом, и она решила пройти по ним. Это километра на два сокращало дорогу. После хождения по шпалам ноги ее чуть не закричали от радости — трава была такой мягкой, человеческой и ласковой! Девочка положила на траву свои ладошки, и они тоже очень обрадовались. Потом девочка легла на траву. И все тело: и родинка на правом плече, и косички ее, и все двадцать ногтей на руках и ногах ощутили безмерную радость. Девочка заснула.

Ее разбудил какой-то старичок. Он был чуть-чуть неправдоподобен, то ли из легенды, то ли из ближайшего колхоза. Глаза у него были выцветшие и тусклые, как и предполагается их возрасту, а руки у него были беспокойные. Они все время двигались, они жестикулировали, они как бы жаловались: «Зачем нас отдали этому старому телу? Мы еще, ох, чего можем со-творить!»

— Куда ты идешь, девочка?

Девочка не ответила. Она только спросила:

— Скажите, старый человек, вы когда-нибудь были мальчишкой?

— Не помню, — угрюмо ответил старик.
— А мы помним! — закричали его руки.
— А вы помните девочку, которую вы полюбили?
— Давно это было, — неохотно ответил старик, и пальцы его рук сцепились как в объятии.
— Куда же вы идете?
— Я иду за пенсией, — ответил старик, и руки его безмолвно ловили.
— До свиданья! — сказала девочка и пошла дальше.
— До свиданья! — сказал старик и пошел дальше в противоположную сторону.

Он очень устал. Он присел на пенек и положил голову на руки. И тогда руки напомнили ему о его молодости. И он вспомнил точно такую же девочку, которую он встретил шестьдесят семь лет тому назад. Она была такая милая, что ей с первого взгляда хотелось писать письма.

Больше он эту девочку не встречал.

«А сегодняшнюю девочку я обязательно встречу на обратном пути и расскажу ей о том, что я вспомнил».

Но встреча эта не состоялась. Когда он возвращался обратно, девочка была уже где-то возле станции «Стальной конь»...

Она остановилась на берегу какого-то озера. Был ледяной час. Над Россией висела луна. Лунный столб рассекал озеро на две неравные части. Этот лунный столб был какой-то необыкновенный...

Девочка разделась и вошла в воду. Ее серебряное тельце бесшумно лоплоло по золотой поверхности.

Она легла на спину и увидела луну, на которой скоро будут находиться люди.

«К тому времени, — подумала девочка, — наверно, изобретут такие сильные телескопы, что я увижу, как мои знакомые машут мне оттуда руками».

Вдруг ей показалось, что луна повернулась обратной стороной. И вместо привычной в небе матрешки девочка увидела носатый профиль старого колдуна.

Она в ужасе закрыла глаза, а когда открыла их, луна была такой же, как всегда...

Она оделась и олять луснилась в путь-дорогу. Луг кончился. Девочка снова подошла к железнодорожной насыпи. Шло время. Заря, как русская женщина, просыпалась медленно. Она чуть приоткрыла глаза, и на земле стало светлее. Залели

птицы. Они своим пением как бы доказывали прелесть человеческого существования.

Девочка шла и шла. Потом она присела на рельсы отдохнуть и задумалась. Думы детей! Это целая треть дум всего человечества...

Два поезда, как две кавалерийские армии, на рысях яростно мчались навстречу друг другу. Два паровоза для поддержания боевого духа вагонов до хрипоты трубили в свои широкие горны.

А девочка Копейка сидела на рельсах задумавшись. Атакующий клич паровозов заставил ее мгновенно подняться и отскочить. Но отскочила она не в сторону насыпи, а в сторону соседнего пути. Еще секунда, и встречный поезд раздавил бы ее. Невероятным усилием она остановилась между путей.

Она стояла на узеньком-узеньком участке земли между двумя мчащимися поездами. Она была как разведчик на ничейной полосе между двумя сражающимися армиями. Поезда были длиннее, и девочке показалось, что она уже начала дышать грохотом. Поезда прошли, и на земле стало совсем тихо, как после празднования Дня Победы.

Девочка продолжала идти...

В двенадцати километрах южнее станции «Стальной конь» путевым обходчиком служил царский Полтинник. Советская власть давно простила его, и он оправдал доверие.

Его участок пути был всегда в полной чистоте и исправности. Дважды он обнаружил лопнувший рельс, за что ему начальство дважды выразило благодарность.

А жил он на свете один-однишенек. Его последний дальний-дальний родственник — голландский Полудукат — уже давно умер...

В это воскресное утро он проснулся, как всегда, в седьмом часу утра. Он тут же поднялся, сделал несколько приседаний, произвел определенное число вдохов и выдохов. Если бы царский Полтинник ежедневно не занимался гимнастикой, он бы не дожид до наших дней.

Потом он отправился со своим длинным молоточком выстукивать рельсы: «Как вы себя чувствуете, стальные полосочки мои? Гачки не побаливают?» И рельсы отвечали ему веселым звоном: «Крепкие наши гачки, крепкое наше здоровье!»

Так, постукивая молоточком и слушая ответный звон рельсов, царский Полтинник дошел до конца своего участка.

Он уже собирался повернуть обратно, но обратил внимание на небольшой сине-белый, чуть шевелящийся холмик...

Вскоре обессиленная от усталости и голода девочка Копейка увидела склонившееся над ней странное и удивительно привлекательное лицо. Ей показалось, что какой-то рисуюнок из детской книжки пришел к ней в гости. Под огромными, все еще молодыми глазами висели набухшие старческие мешки. Они были похожи на спущенные чулки. Толстые седые усы были настолько длинными, что концы их владелец загнул за уши. Из рта, невидимого под усами, донеслось:

— Ты это что, нарочно тут улеглась, девочка? Дома в кровати надоело?

— Надоело, — солгала девочка.

— Может быть, тебе и питаться надоело?

— Не совсем надоело, — кокетливо ответила очень голодная девочка. Так бы на ее месте ответила каждая, даже не очень голодная женщина.

— Помочь тебе подняться? — спросил незнакомый человек с зачесанными за уши усами.

— Не надо, я сама! — ответила Копейка, но не в силах была подняться.

— Я понимаю, что ты самолюбивая. Это очень похвально. Поэтому я тебя не возьму на руки, я тебя буду только поддерживать...

Так они подошли к будке путевого обходчика.

Знаменитой русской печи в этой будке не было. Да и где ей было поместиться в таком крохотном помещении! Газовый баллон снабжал грюющим самодельную плитку.

Царский Полтинник недолго повозился у этой плитки, готовя завтрак для себя и для девочки Копейки. Затем достал из шкафчика небольшую странную бутылку.

— Из царских погребов! — сказал он. — В семнадцатом году одна фрейлиня обменяла ее на буханку хлеба.

— Фрейлиня была из сказки?

— Нет. Из Зимнего дворца. Выпей. Это тебя подкрепит.

Ликер был такой старый, что никак не вытекал из бутылки. Он превратился в желе. Царский Полтинник разбил бутылку и нарезал ликер кубиками. Один из этих кубиков он молча протянул девочке. Она проглотила кубик и тотчас же почувствовала себя как в царских покоях. Глаза ее заблестели, ей захотелось

общения и захотелось узнать — кто же этот удивительно милый, им на кого не похожий старый-старый человек?

— Вы, наверно, в молодости были пажем и были очень богатым?

— Не был я пажем и не был я очень богатым. Я был ямщиком. Должность не так уж хорошо оплачиваемая... Что ты еще скажешь, девочка?

И девочка произнесла много раз слышанную ею фразу: «Повторим?»

— Согласен! — сказал царский Полтинник и протянул ей второй кубик. И серая комнатка показалась девочке голубой. Ей все больше нравилось, становилось близким и родным круглое лицо царского Полтинника.

Слеза карлика ничуть не меньше слезы великана. Пьяная девочка не менее сентиментальна, чем взрослый мужчина:

— Знаете, вы необыкновенно добрый! Я еще таких добрых людей не встречала.

— В этом нет ничего удивительного, — изрек царский Полтинник. — Все люди к старости становятся добрыми. Нет на свете человека добрее палача на пенсии...

Вода в котелке уже давно забулькала, картошка сварилась, и гостеприимный хозяин выложил на стол редкую рыбу — шемаю. Он был страстным рыболовом и в течение всего завтрака жаловался девочке на то, как хищнически ведется рыбный промысел в Азовском море, как скоро, наверно, исчезнет такая волшебная рыба, как рыбец и шемая. Он с горечью констатировал, что этой рыбы осталось так мало...

Честно говоря, он совсем не был заинтересован в судьбе этой редкой рыбы. Он просто хотел отвлечь девочку от горя, если оно у нее было. Стремясь к этой цели, он мог бы с таким же успехом рассказывать девочке об исчезновении тигров в индийских джунглях или об инвалидности рифмы в современных стихотворениях.

Но девочка заинтересовалась:

— А в ваше время было больше этой шемаи-рыбца?

— Куда больше! Почти задарма продавалась.

— А почему так?

— Потому что вместе со всей техникой растёт и техника уничтожения. Вот, скажем, каспийский лосось... Плотина — это, конечно, великая вещь. А лососю что — плотина? Для лосося плотина все равно что для человека высотный дом без две-

рей. И вот люди будут жить в светлых домах, а кушать они будут вяленую треску. Может, когда и стерлядка попадется.

Но девочка уже не слушала. Глаза ее смыкались. Ей показалось, что она взлетела высоко-высоко в небо и потом плавно опустилась на землю. Это царский Полтинник взял ее на руки и уложил на единственную в своем домике лежанку. Затем он уселся на табуретку и стал напряженно, не мигая, смотреть на девочку Копейку. Что ждет ее? Какие люди, какие напасти, какая любовь?

Девочке приснилось, что она приблизилась к концу своего путешествия. Вот она уже в городе Курске, вот он — заветный угол Сказки и Большой Почтовой улицы. Тетя ушла на рынок, но навстречу ей выбежал пестрый котенок и приветственно замурлыкал. Она взяла его на руки и потерлась щекой об его шерстку. А на самом деле это царский Полтинник поцеловал ее. Его усов хватило бы на добрую сотню котят.

Девочка спала. А легендарно старый человек с неустанной любовью смотрел на нее. Он завидовал людям, общающимся с ней, он завидовал дому, где она постоянно живет, он завидовал воздуху, который несет ее голосок. Так был одинок этот царский Полтинник!

Ну хорошо! Он, чтобы позабавить ее, рассказывал ей всякие небылицы о рыбах. О чем он ей еще будет рассказывать, когда она проснется, и как будет забавлять ее?

Наброски к «Взрослым сказкам»

Бывают не только толстые и тонкие люди, бывают люди среднего веса. Людям среднего веса хочется быть одинаковыми по отношению к добру и злу, и слава богу, что они существуют.

Они готовы разделить с человеком подушку во время сна. Но на собрании они поддерживают резолюцию, осуждающую человека, спящего с ними на одной подушке. Страшные люди!.. Но ведь, кроме подушки, есть еще мебель. Есть стул, на котором сидел твой умерший друг, есть еще выцветшая фотография, на которой изображены люди, уже давно умершие, есть еще часы со старинными курантами, которые ты случайно

купил в комиссионном магазине, и они отзванивают время, которое будет так же равнодушно к следующим поколениям. Я себе представляю сейчас комнату, где я живу в своем великольном одиночестве и где когда-нибудь будет сидеть мой абсолютно не видимый мною правнук и где будут так же тикать мои, приобретенные в комиссионном магазине старинные часы и вспоминать обо мне, о том человеке, который когда-то был их современником.

Идут миллионы световых лет. Свет проходит триста тысяч километров в секунду, и нам кажется, что законы света не подчинены закону нашей жизни. А закон один: прошлое, настоящее и будущее. И тут я, конечно, не вспомнил, я не могу это вспомнить, как какой-то молодой кадет танцевал с Наташей Ростовой в Дворянском собрании, сейчас это называется Колонный зал Дома союзов. Он танцевал с Наташей Ростовой, и ему казалось, что любовь — это бесконечность. Он медленно шел по улице, по московской улице, где еще был Охотный ряд, и думал: «Как я ее люблю!» Но она вообще не существовала. Она была выдумана Львом Николаевичем Толстым.

А мальчик, влюбленный в нее, уже давно похоронен, как глубокий старец, на мне неизвестном кладбище.

И все равно, да здравствует Наташа Ростова и влюбленный в нее случайный мальчик, похороненный, как глубокий старец, на неизвестном мне кладбище!

И мальчику стало очень грустно. Но он был гордый, он не заплакал, вся природа заплакала, а не он, — шел дождь.

Мальчик был кадет, а ты слесарь. Клянусь тебе честью, что, несмотря на разные социальные прослойки, ты будешь так же несчастлив, как он. Как бы ни был ясен небосвод, дожди будут. И мое самое главное желание, чтобы и ты и все люди на земле были счастливы даже во время дождей. Не было бы дождей, не было бы и радуги. Самая большая беда для хорошего художника, когда ему приходится рисовать радугу во время дождя. Это вымышленная радуга.

Ты рисуй радугу только, когда ее видишь, ты даже выдумывай радугу, если ее и нет на свете. Но помни: радуга может стать изойливой, и тогда выдумывай дождь. А если нет ни радуги ни дождя, тогда выдумывай то, чего нет на свете. Это и есть самый настоящий реализм.

Романтика — это есть реалнам, который нельзя купить в магазине. Ссоры в коммунальной квартире происходят не от романтики, а от реализма. Стоило бы этим озлобленным соседям только подумать о том, что у каждого человека есть своя долгая и задушевная жизнь, то тогда бы ни один человек не подумал бы о том, что ему хочется жить в отдельной квартире.

Коммунизм — это желание приобрести соседей, это желание присоединить свое одиночество к одиночеству соседа. Как бы ни было многочисленно собрание, всегда оно оканчивается тем, что люди расходятся по местам, где они живут. Никакие фанфары торжественных собраний не заменят тебе твоего одиночества.

...С пятнадцатого этажа на тротуар падает человек. Подбегает милиционер и видит: лежит пиджак и десять гривенников. Упавшего человека нет. Но в пиджаке находят паспорт. Выясняется, что фамилия его владельца — Рубль. Рубль разбился на гривенники. (Начинается новый рассказ. О судьбах гривенников. О каждом гривеннике отдельно. У каждого своя судьба.) Один захотел послушать курских соловьев. Билет в Курск стоит дороже гривенника. Пришлось добираться пешком. В Курске опять неприятности. Без командирского не дают номера в гостинице. Заночевал на улице. Кто-то подобрал его и разменял в трамвае на копейки. Начались новые судьбы.

Судьбы копеек. Второй Гривенник стал большим начальником. Допустим, секретарем Союза писателей. Нелегкая задача для Гривенника. Но он справляется. Как? Да еще как! Теперь он выглядит важнее Рубля. Третий пошел работать шофером такси. Он начал размножаться. Повернул ручку счетчика — выскочил гривенник. Довез пассажира — получил на чай гривенник..

Первый Гривенник был очень голоден. Он купил за девять копеек булочку и, съев ее, превратился в девочку-копеечку.

«Как жить? — подумала девочка. — У меня в Москве нет никого близких. А в Курске есть тетя».

И девочка пошла к тете в Курск.

Ах, как здорово она идет! Я еле поспеваю за ней. Если бы я мог сообщить вам, о чем она сейчас думает, я стал бы ве-

ликим писателем. Но я пока что только член Союза советских писателей; давно не вносящий членские взносы...

Девочка остановилась у самой обочины этой тропки и задумалась...

Над Россией стояла луна.

И вот посреди снежной России идет медведь и несет на вытянутых лапах девочку. Мне хочется сказать: на руках, но у медведя нет рук, у него лапы.

Медведь шел по шпалам.

Все шпалы, шпалы, шпалы,

Все спало, спало, спало.

Но медведь не привык ходить по шпалам, и потому он скоро устал. Впереди горел огонек. И вдруг огонек погас, и тогда всей грудью задышала сказка...

С правой стороны выскочил страдающий бессонницей заяц, с любовью поглядел на девочку и сказал:

— Ничего не бойся, девочка, во мне ты всегда найдешь верного защитника.

А стрекоза, усевшаяся на ее блузочке между третьей и четвертой пуговицей, ничего не сказала, она от рождения была глухонемой.

Ночь была очень торжественная, девочка шла и шла, и луна возвышалась над нею, как старая вдовствующая императрица, которая все еще мечтает выйти замуж за какого-нибудь короля.

Девочка шла, и вместе с нею шли дни. Девочка похоронила бабочку и поставила муравья сторожить ее могилу.

— Я не хочу, чтобы ее тело растерзали дикие звери.

Зиму сменила весна, весну — лето, муравей умер, не сходя с назначенного места.

Девочка идет к тете в Курск, она устала, она похоронила медведя и бабочку-однодневку. И тогда город со всеми домами, улицами, мостовыми пошел навстречу девочке. Булыжники тоже ушли навстречу девочке, и в городе легко стало класть асфальт.

Девочка стала фантазировать. Она приняла обыкновенную будку обходчика за волшебную, и, как это ни странно, будка оказалась действительно волшебной.

Девочка вошла в магазин, и кассирша, утомленная семейными дразгами, взглянула на нее пьяными глазами, потому что у пьянства и у горя глаза одинаковые.

— Девочка, — сказала кассирша, — я устала оттого, что все, буквально все приходят ко мне за звездами. Девочка, будь доброй, попроси у меня пылинку.

Девочка обнаглела:

— Дайте мне самую большую пылинку, какая у вас есть!

И тогда старая, утомленная кассирша, у которой плохие соседи и у которой всю ночь в ушах было трамвайное движение, выдала ей пылинку величиной с земной шар...

— Мы стали очень быстрыми в сплетнях
И очень медленно спорим с судьбой, —

негромко сказала кассирша.

А девочка попросила:

— Пожалуйста, пригласите меня в гости!

И вот она пошла к ней в гости.

(Показать жизнь рядовой трудовой женщины. Малейшую трещинку в табуретке показать.)

Я так жалею, что эту кассиршу Варвару Никифоровну придумал только в третьей главе. Как хорошо было бы, если бы она действительно существовала.

Я бы пошел к ней вместе с девочкой, и мы встретили бы там участкового надзирателя Ивана Моисеевича Урядникова, который давным-давно совершил столько преступлений, что не арестован только потому, что является участником моего повествования.



1915 r.



М. Светлов среди друзей. 1922 г.



Начало двадцатых годов.



Середина двадцатых годов.



Светлов среди артистов Детского театра.

1941 г.



1941 г.





1942 г.

1945 г. Берлин, у рейхстага.





Начало пятидесятих годов.



Середина пятидесятих годов.



1960 r.



М. Светлов и И. Игин. 1960 г.

М. Светлов и А. Прокофьев.





1963 r.



1963 r.

На своем юбилейном вечере. 1963 г.





1963 г.



М. Светлов выступает
на вечере 27 октября
1963 г.



На юбилейном вечере
27 октября 1963 г.

Ялта. 1963 г.



Иван Монсеевич Урядников вовсе не человек — это старый царский полтинник. Он член КЗП — Клуба Заплаканных Палачей. Это он казнил Софью Перовскую и Желябова...

Мы сели бы с ним за стол, который уже четвертый век существует без четвертой ножки. Но моя коленная чашечка уже привыкла к ее отсутствию и приспособилась, как приспосабливается всякое живое существо. Я бы спросил Урядникова:

— А вы знаете, что теперь каждое утро тысячи Софий Перовских проходят через проходные и два раза в месяц получают зарплату? Зачем же вы казнили ту, самую главную?

А в это время вошла бы выдуманная мною Варвара Никифоровна и внесла бы прелестные суточные щи. И щи загрустили бы оттого, что они суточные, им захотелось бы жить дольше...

Вдруг девочка, такая милая, что ей с первого взгляда хотелось писать письма, сказала:

— Я никогда не видела моря.

— Поедем! — сказал я.

— Это далеко?

— Сколько хочешь, столько будем ехать...

И мы оказались на берегу моря. Вдруг девочке показалось, что на морской глади возник лунный столб. Он был невероятный, этот столб... Частная капиталистическая яхта рассекла этот столб. Владелец яхты был лично знаком с замечательным сказочником Александром Грином. Он страдал бессонницей и избороздил все моря и океаны в поисках страны, где можно задешево покупать сны.

И девочка через многие морские мили крикнула капиталисту:

— Я вам отдаю свои сны бесплатно, у меня их так много!

— Отвези меня обратно, — сказала девочка. — Ведь я так и не побывала у тети. А она старенькая.

— Хорошо, — сказал я. — Разве ты не видишь, мы уже в Курске.

И тогда девочка увидела удивительное войско. Это не было ополчение 1812 года. Это было ополчение 1941 года... (Одним из еле выживших, но потом все равно умершим, был Восьмой Гривенник.)

Звезды не хотели идти к ней, потому что боялись обжечь ее, а планеты не подходили близко, потому что боялись, что ей будет холодно, так как они светят отраженным светом. И вдруг звезды показались ей покорными, и она сказала им:
— Подите ко мне!

И звезды пошли к ней, и никогда в астрономии звезды не были так близки к земле.

И тогда девочка, играя в скакалочку, на десять лет подпрыгнула вперед.

И звезды, как свидетели скандалов,
Так не хотят идти в Народный суд!

Над ним даже звезды, как тяжелые шторы, висят...

А мой Второй Гривенник был очень разумный мальчик, он сразу же попал в детдом, там его воспитали, он стал инженером, потом его судили за растрату, он сел и так и будет сидеть в тюрьме до конца этого моего повествования.

Чем хороша опасность? Тем, что от нее некуда деваться.
(Судьба Шестого Гривенника.)

Мне хочется выдумывать, но не как фокусник, а то что есть на самом деле. Мне хочется выдумывать сливочное масло, и я жалею, что оно уже есть. Мне хочется выдумывать домоуправление, которое мешает жить жильцам.

Официанта Райпищеторга обязали быть официантом на Олимпе. «Им, богам, хорошо, — жаловался официант. — А меня-то трест послал на высоту по службе, а на высоте чаевые дают облаками, А у меня двое детей...»

— Ты хочешь есть?

— Нет.

— И я не хочу. Давай закажем одно «хочу» на двоих...

Были бы у меня такие силы, с каким удовольствием я бы выпил!

Заря была очень похожа на русскую печь, в которой пекутся булки для ангелов.

Людям раздавали куски зари и куски заката, но очереди не было. Люди привыкли стоять в очереди за хлебом, за мясом и не хотели стоять в очереди за зарей или закатом.

И часы, разведя руками, показали четверть десятого.

— Господи, боже мой! Обратись ко мне! — сказал горячо любивший жену атеист.

Ночь. Не спится и не пишется. Достая кошелек, вынимаю гривеник и кладу его перед собой. Гривеник стал одушевленным. Он встал на ребро и побежал по окружности стола. Никто не видел на Гривенике выражения страдания. Я первый увидел. И тогда я неожиданно понял, что Гривеник такой же бедняк, как я. И у него и у меня было не больше десяти копеек...

СТАТЬИ, РЕЦЕНЗИИ, ВЫСТУПЛЕНИЯ

ВИССАРИОН САЯНОВ

Много говорили и спорили о том, существует ли в природе «комсомольская» поэзия, разнится ли она от пролетарской и что под ней следует подразумевать.

Споры носили чисто идейный характер, поэты редко соглашались носить звание «комсомольский», подразумевая под этим званием незрелого пролетарского художника.

Небольшая книжка Виссариона Саянова «Комсомольские стихи»^{*} рассеивает все сомнения: это стихи, безусловно, комсомольские, написать ее мог только комсомолец, и предназначена она в первую очередь для комсомола. О «незрелости» здесь не может быть и речи. Крепко налаженный, строго связанный стих стоит на голову выше многих произведений наших «стариков», за исключением нескольких, более ранних произведений поэта («Когда еще шумит Тверская», «Скрипка» и др.).

Песню ведут запевалы,
Будто коня под уздцы...

Хороший образ, приложимый к самому поэту. Он не скачет галопом, бия себя в грудь, клянясь в преданности, в любви к революции и высоко поднимая хвост, подобно многим другим

^{*} В. Саянов, Комсомольские стихи. «Московский рабочий», 1928.

поэтам. Осторожно обходя каждую тропу, каждую строку, он ступает осторожно, боясь замочить рифму, запачкать строку, проскакать и не увидеть. Такая манера сделала бы другого поэта холодным, лишенным темперамента, неорганичным. Саянов же обуздывает, укрощает свою строку, как будто нарочно не давая ей разбега, от чего строка достигает максимума нагреваемости.

...Два года проходят
Под рокот ветров —
В разведке,
 в тылу,
 в комендантском.
И голос ломается.
Стал он суров
Под Пермью,
Под Соликамском.

Иногда горячая лирическая строка как бы вырывается из напряженных рук Саянова, но поэт, как бы стыдясь своей «самостоятельности», обуздывает ее следующей замкнутой строкой:

Ах, томик помятый,
Ах, старый наган,
Ах, годы прославленных страствий!
Еще пробиваются через туман
Огни левобережных станций...

Отдел книги «Ленинград — Балхаш», кроме своих чисто художественных достоинств, радует еще четким и ясным мирозерцанием поэта. Это не путешествие какого-нибудь слюня-туриста, обсасывающего глазами каждый ручеек и звездочки над ним. Это не прогулка репортера, описывающего «все поименножку». Это поход человека в поисках нового, нужного, отматающего в сторону всякую путевую чепуху, ставя человека впереди всего видимого.

...Малиновый сполох ложится, неистов,
Сплошной лавиной ссыпаясь с круч
На горные скаты, на полымя туч.
Так вот, где черствела заря декабристов!

(«З а К у б а н ь ю»)

И только одно стихотворение диссонирует общему настроению всей книги:

Смерть придет. Она неотвратимо
Простирает руки надо мной.
Даже легкий ветер от Ишима
Небывалой полон тишиной...

(«Прожитый день»)

Но это — нехарактерное для поэта настроение, так что ругать его не следует, а только указать «выдержанным» пальчиком на «уклончик». Это принесет ему гораздо больше пользы.

Слабее стихи «Скрипка» и «Побег шахтера Гурая под Клинцами».

Мальчишка смеется, мальчишка поет,
Мальчишка разбитую скрипку берет.
Смычок переломлен, он к струнам прижат...

(«Скрипка»)

Очень уж это напоминает «Лесного царя» и как бы пародирует его — «кто скачет, кто мчится под холодной мглой? Ездок запоздалый, с ним сын молодой».

Написанный в ложно парадном стиле «Побег шахтера Гурая под Клинцами» несколько надуман, неестествен, не волнует.

Хоть он метил в тень,
Пали пули в пень,
Только шашек сверк,
Только руки вверх.
Синий дол спален,
Шел краском в полон.

Следует отметить также, как отрицательное явление, слишком частое «поднятие рук» в стихах:

...Я поднимаю руки,
Я говорю с тобой...

(«Возвращение»)

...И ты прибегаешь,
Закинувши руки...

(«Ленинградская весна»)

...И заломив немного руки...

(«Когда еще шумит Тверская»)

Иногда встречается неприятная инверсия:

...И ты видишь мир, как

Понт зарей восток...

(«На подступах Азии»)

Часто также повторяется слово «порск» и т. п.

Это, пожалуй, все очень малочисленные недостатки книги.

В целом книга великолепная, лучшая из вышедших за последнее время. И хотя сам автор, вероятно, считает эти стихи незрелыми («комсомольские»), мы считаем эту книгу большим нашим достижением.

В заключение нам хочется процитировать следующие отличные строчки:

И путилевский парень и пленник,
Изнуренный кайеннской тюрьмой,
Все равно — это мой современник
И товарищ единственный мой...

1928

ЗАМЕТКИ

Пятый час ночи.

Те, кто делает советскую литературу, давно уже спят. В пятом часу ночи я один заменяю их всех — я сижу и работаю.

Стол мой завален шкурками колбасы, съеденной одним из моих голодных поклонников. На письменном столе спит моя мать. Мир тебе, старушка! Спи — я устроился на обеденном...

Жена моя спит, повернувшись лицом к стене. По стене, как по экрану, проходят ее скромные сны. Ребенок сопит в люльке. Это очень приятно, когда у тебя есть ребенок и когда он так приятно сопит.

Ангелы сна пролетают над моей двухсаженной площадью...

Я уже, кажется, сказал, что сижу и работаю. Пишу заметки

для отдела «Записки писателя». Должен написать о том, как я работаю. Это тоже работа. Для меня особенно трудная, ибо я в последний год мало чего написал. Мне было бы гораздо легче написать о том, как я не работаю.

Халтура! Это существо неодушевленное, но живучее. Ни одно живое существо так не расстраивало меня. Поэта-профессионала кормит его литературный гонорар. Если «не пишется» или (что гораздо чаще) нет возможности писать, — надо халтурить.

— Миша! Напиши стихотворение. Мне нужны боты, — сказала мне жена в одну из «трудных» минут.

Она шутила. Но в глубине ее больших серых глаз я заметил хвостик нелегальной надежды: «А вдруг действительно напишет?!»

Недавно я ей купил боты...

Жена моя ни бельмеса не смыслит в поэзии. К стихотворению относится, как конторщица к уроду-хозяину: «Противный, но все-таки кормит!» Но рецензий не пишет. В ней погибает критик.

Никогда не писал прозы. Эти заметки — моя первая прозаическая вещь. Начал по Шкловскому. Рублеными фразами. Не мой жанр. Продолжаю иначе.

Сентиментальность — это не искусство. Несмотря на свой приятный розовый цвет, это жидкость ядовитая. Поэт, писатель должны быть опытными гомеопатами и отпускать на каждый печатный лист не более трех-четырех капель сентиментальности.

Сентиментальность не должна быть обнаженной — она должна просвечивать сквозь пронзедение, как загар сквозь тонкую рубашку.

Голая сентиментальность — это халтура, в лучшем случае — ханжество. Голые дураки те, кто принимает голую сентиментальность за задрапированную лирику. Человек страдает больше тогда, когда удерживает слезы, а не тогда, когда они катятся у него по лицу. Это, конечно, не значит, что глаза у нас созданы для того, чтобы слезоточить...

Самое популярное мое стихотворение — это «Гренада».

Я не слежу обычно за тем, как у меня получается стихо-

творение, но весь процесс работы над «Гренадой» мне совершенно ясен.

Помню: я шел по Тверской и все время бессознательно напевал:

Гренада, Гренада,
Гренада моя!

Неожиданно я обратил внимание на всю бессмысленность этих строк. Откуда они появились? Спустя некоторое время я вспомнил, что на Тверской есть гостиница «Гренада». Очевидно, вывеска ее бросилась мне в глаза.

«Вот бы написать стихотворение из жизни испанских грандов! Как бы надо мной смеялись!»

Я уже мысленно читал абзацы журнальных и газетных столбцов:

«Светлову, как видно, надоела наша советская действительность, и он обращает свои взоры в сторону испанской буржуазии. Тов. Светлова нам, конечно, терять не хочется, но если испанский империализм так уж вам по душе, то — скатертью дорожка, гражданину Светлов!»

Несмотря на такую ужасающую перспективу, я продолжал напевать. Так я добрал домой.

И вдруг я понял, что здесь надо действовать путем контраста. Что, если эти строки вложить в уста, скажем, крестьянина с Украины? Не успел я как следует осмыслить это, как у меня появились новые две строки:

Гренадская волесть
В Испании есть!

Написать остальное не представило никакой трудности...

Стихотворение «Я в жизни ни разу не был в таверне» появилось таким же образом, как и «Гренада».

Однажды вечером я шел с приятелем по Фонтанке. Шутя, я сказал:

— Вот был бы номер, если бы здесь неожиданно появился тигр. Как быстро побежали бы все эти спокойно идущие люди!

Выдуманное стало как бы реальностью: медленно, вразвалку бредущий тигр и кинематографическая стремительность людей:

...Усатые тигры прошли к водопою...

Стихотворение былр обращено — оно должно было быть написано.

Глубоко ошибаются те, кто думает, что сначала обдумывается тема, а затем пишется стихотворение. Строчка разбегается в тему. Инерция этого разбега создает стихотворение.

Часто поэт жалуется: «У меня есть замечательная тема для стихотворения, но я не знаю, как начать».

Ошибка в том, что он хочет именно «начать», то есть писать подряд с первой строки. Нужна вообще строка (она случайно может быть и первой в стихотворении), но если ты приступаешь к теме и у тебя нет строки (неважно какой по счету), от которой могло бы «разбежаться» все стихотворение, — стихотворения не получится. Получится нечто резонерское, антихудожественное, с неприлично расстегнутым социальным заданием.

Надо забыть о том, что стихотворение делается только с головы. Человеческий зародыш начинается не с черепа, а со случайности. Это не значит, конечно, что разум в стихах отходит на задний план. Когда стихотворение «бежит», нужно натянуть поводья.

Когда кто-нибудь выступает с речью, в которой имена Безыменского и Жарова пересыпаются с именами Теофиля Готье и Поля Верлена, — нам кажется, что человек этот здорово образован.

Те-о-филь Готье! Это звучит эрудицией. На самом же деле эта эрудиция — миф. Человек только «образованность пушает». А многие верят. Верят потому, что им хочется, чтобы кто-нибудь да знал. Нельзя же, чтобы все ни черте не знали!

Так создается литературный фасон, очень часто меняющийся, ибо невежда обнаруживает себя. Каждый старается найти какого-нибудь забытого средневекового поэта и блеснуть им на ближайшем собрании. Это своего рода «поиски нового человека».

Кризис в литературе огромен. Я только констатирую, но не разбираюсь в причинах. Болезнь очень серьезная, но зависит не от патологических изменений в литературном организме — инфекция принесена снаружи, из сферы внелитературной.

Халтурщик кажется ангелом по сравнению с подхалимом, ханжой и лизоблюдом. Бороться с ними — это задача не только литературная.



Вот совершенно замечательный конец повести Кибальчича *
«Поросль»:

«Гребенкин после впрыскивания морфия открыл глаза, обвел мутным взглядом собравшихся и продолжал:

— Коммуна не должна погибнуть... мы вместе боролись за нее... Не забывайте великий завет великого Ильича: «Коллективизм» — первое звено к социализму... Не вводите анархию... Если бы Пикулева... Пикулева сюда... Меня убил Антон... Штанчик... неважно... они понесут свою кару... Жаль, нет Пикулева... Привет ему от меня... Я слышу великие перезвоны... это от коммун повсюду... слышен их звон... по всему миру города и села... деревни и столицы... все коммуны... все равны... все свободны... нет богатых и бедных... Про-о... щайте...

Григорий в последний раз откинул голову на подушку; глаза закрылись, веки сошлись, дыхание затихло.

Черноземного вождя не стало.

К воротам коммуны подъезжал автомобиль...»

Кибальчич вложил в уста умирающему целую «выдержанную» передовицу. Но это не для того, чтобы показать всю положительность героя — Гребенкина, а для того, чтобы читатель подумал: «Вот он какой советский — этот самый Кибальчич!»

В большинстве случаев делается так: ханжа и подхалим строго разделяют роли — ханжа накачивает вокруг себя ореол работности, подхалим притворяется, что восхищен ореольником...

Кризис в литературе большой. Как его изжить? Мое мнение таково: нужно решительно и бесповоротно, раз навсегда, железной метлой...

Восьмой час утра. Я засыпаю...

Перо падает из моих ослабевших пальцев, и я еле успеваю (с большой неохотой) поставить свою фамилию под этими заметками.

1929

* Кибальчич — писатель, однофамилец революционер-народника Н. И. Кибальчича.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ РАБОТЕ ПИСАТЕЛЯ В ГАЗЕТЕ

Мне кажется, что самым большим недостатком всей советской поэзии является то, что мало пытаются создать новое, свежее. Скажем, такой факт: присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины к Советскому Союзу — это же в истории нашей жизни единственный факт, первый такой факт; казалось бы, если послать туда человека, то он оттуда должен привезти совершенно замечательные вещи, потому что, когда видишь человека оттуда, свеженького, из-под помещика, то можно написать что-то замечательное.

И вот я читал все эти стихи. Ей-богу, я бы мог, сидя здесь, написать не хуже, даже не стараясь. Уж если ты ездил, то ты можешь и не сейчас написать, мы потерпим... Это грустный факт, даже непонятно, как о таких событиях можно писать столь посредственно. И я думаю, что это болезнь не только этой минуты, а, очевидно, общая болезнь нашей поэзии и наших поэтов; это, по-видимому, значит, что мы разучились самостоятельно подходить к этому делу...

Надо сказать, что у нас вообще существует ложное представление о том, что писать надо большие полотна... А получается не полотно, а просто много ситца, целые кипы ситца, а полотно не получается, потому что к полотну нужно подходить с умением писать; у нас же эскизов, этюдов не делают, нет у нас этюдов, а пишут прямо на полотно. Вот откуда идет вся эта беда...

Мне кажется, когда собрались поэты из многих городов, то нужно подумать, как избежать этого производства ситца. Я помню такой случай. Однажды, это было давно, я встретил на улице Маяковского, который мне сказал: «Я прочел в «Известиях» ваши стихи, совершенно страшные стихи, вы не умеете писать агитки, не пишете, я умею — я пишу».

Вот произошло присоединение Белоруссии и Украины — и все стараются писать об этом. А между тем ни одной настоящей строчки об этих событиях, а эти события сами по себе необычайно волнуют. Поэзия находится ниже этих событий...

Я не сомневаюсь, что Джамбул очень хороший поэт, но переводчики думают, что Восток это обязательно рахат-лукум, поэтому они не делают разницы между Стальским и Джамбулом, а между тем она должна быть и, безусловно, есть. А в

переводах все это очень расфасовано, нет типичного, которое свойственно этим народам. Очень жаль, что я не знаю этих стихов в оригинале, я не знаю языка, но мне жаль, что нет Брюсова. Мы бы тогда в его переводах поняли всю величину, всю художественную свежесть этих поэтов.

Я не люблю переводить, всегда от этого отказывался, а когда переводил, то посредственно. Переводчику тоже нужно быть талантливым...

Мы неправильно понимаем свою задачу. Мы обслуживаем население, а поэзия должна обслуживать поколение. Мне кажется, что вся наша беда именно в этом и заключается.

Товарищи говорят, что советские поэты ничего не сделали за десять лет, а ашуги есть. Ашуги это не наша заслуга, это заслуга времени, роста Советского Союза, роста народов. Мы в этом ничуть не повинны. Мы только посредственно переводим их. Это совсем другое явление, это явление национального роста наших народов.

Когда мы говорим о Западной Белоруссии, об Октябрьских праздниках, мне кажется, что мы их обудняем, они поэтому выглядят буднично в наших стихах. А задача поэзии показывать будни так, чтобы они выглядели как праздник.

Многие говорят, пусть будет 98 строк плохих и две гениальные, тогда все будет хорошо. Это неправильно. Мы создаем не для отдельных строк, а для стихов.

И еще одна страшная вещь происходит в поэзии: когда человек напишет плохие стихи о празднике, о параде, говорят, что это халтура; но стоит только написать что-нибудь о «любимой», то никогда не скажут, что это халтура; между тем есть страшно распространенный вид лирической халтуры, но этого мы еще не понимаем. У нас происходит дикая лирическая халтура, на которой люди выезжают, причем про них не говорят, что такой поэт — это халтурщик, но что он теплый человек; но ведь это же не тепло — это паровое отопление.

Так вот, борьба с такой лирической халтурой, которая обманывает подчас и довольно опытных людей, необходима, нужно бороться против нее, с тем чтобы не допустить такого лирического халтурщика к овладению поэтическим хозяйством.

Еще говорят — по кому равняться, у кого учиться? Но, честное слово, никто этого не знает. Все это, может быть, очень пессимистически звучит, но черт его знает, как мы на самом деле учимся. Для меня, например, Маяковский любимый поэт

с 1920 года, но я никогда в жизни ему не подражал. Восхищаться им я могу, но я не могу сказать, что я у него учился, потому что я поэт совсем другого плана.

1939

ДЖЕК АЛТАУЗЕН

С большой грустью я узнал о гибели этого молодого, талантливого и удивительно жизнелюбивого человека. Это был хохотун в самом лучшем смысле этого слова. Он смеялся неудержимо, необычайно по-доброму и так заразительно, что человек с самым дурным настроением в его присутствии становился таким же веселым, как и сам Джек Алтаузен.

Его необычайное для России имя Джек произошло от того, что он родился в Лондоне, где прожил не дольше своего ясельного возраста.

Я познакомился с ним в Москве, когда он только начал складывать азы в советской поэзии. А затем весь процесс его творческого роста происходил на моих глазах. И все время, от ученической поры до овладения мастерством, его никогда не покидало чувство гражданственности в своей литературной работе. Не тихая венозная, а кипучая артериальная кровь билась в его творчестве.

И, думая о моем большом, пусть и более молодом друге, я благоговейно склоняю голову перед памятью о нем.

1942(?)

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

Людам, лично знавшим и любившим Алексея Недогонова, радостно за читателей, которым он оставил эту книгу*, написанную от всего его молодого сердца.

Стихи Недогонова можно узнать сразу, даже если под ними нет подписи. Большевик-поэт с резко выраженной творческой индивидуальностью, Недогонов не ограничивался слова-

* А. Недогонов, Простые люди. «Молодая гвардия», 1948.

мн: «Я люблю Родину». Он эту любовь очень убедительно доказывал, утверждал почти в каждом своем стихотворении.

Вот как начинается его «Баллада о железе»:

Говорят, что любой человек
Состоит из воды и металла:
Девяносто процентов воды,
Остальное огонь и металл.

Кончается это стихотворение такими характерными для Недогонова строками:

Я бы всю родословную отдал,
Я пошел бы на то,
Чтоб при всех
Под сняньем светил
Из меня златоустинский мастер
Снаряды сработал
И чтоб их Железняк
В ненавистный Берлин вколотил.

В каждом стихотворении Недогонова — мысль большого накала, взволнованность предельного напряжения, — без этого Недогонов не брался за перо.

Перелистываешь сборник «Простые люди», вчитываешься в строки, чтобы выбрать наиболее сильные, — и невольно хочешь процитировать всю книгу целиком.

Позма «Флаг над сельсоветом», включенная в сборник, в рекомендации не нуждается. Она сразу стала известной в народе, она удостоена премии. Но если присмотреться внимательно к творчеству Недогонова, то можно заметить, что каждое его стихотворение звучит как маленькая поэма — так оно насыщено мыслью и чувством.

Недогонов молод, так же как и герои его стихов:

Когда ученик в «мессершмитте»
Впервые взлетел в высоту,
Веснушчатый Саша Матросов
Играл беззаботно в лапу.
Когда от еврейтора писем
Из Лины фрау ждала,
Московская девочка Зоя
Совсем незаметной была...

Будущие герои, о которых пишет Недогонов, были сверстниками поэта.росло поколение людей, родившихся при Советской власти и утверждающих ее всей своей работой, своим помыслам, жизнью.росла молодежь, готовая к подвигу ради всечеловеческого счастья:

Только очень помнится,
Что где-то
Под Мадридом,
Непогодь кляня,
У артиллерийского лафета
Встал пушкарь, похожий на меня.

Жажда борьбы за освобождение человечества от рабства и угнетения никогда не оставляла Недогонова. И естественно, что при первой же тревоге он встал в ряды защитников Родины. Его песни и стихи громко звучали в годы Отечественной войны. Он воевал и в первые трудные дни и в дни приближающейся победы...

Вся книга молодого поэта посвящена войне и победе над врагом. И только поэма «Флаг над сельсоветом» отражает наш послевоенный, победный период. «Простые люди» — так называется книга. Эти простые люди — русские солдаты, сам Недогонов и вы — молодые читатели его стихов.

...Моя первая встреча с Недогоновым произошла следующим образом. В клубе литераторов ко мне подошел молодой смуглый человек и робко представился:

— Я Недогонов. Сегодня читаю здесь свои стихи. Я очень прошу вас выслушать меня.

Мы слушали его стихи, и всем присутствующим стало ясно, что существует еще один интересный и талантливый поэт. Об этом свидетельствовало горячее дыхание стиха, пульсирующая в нем жизнь.

Сейчас, когда поэта нет с нами, хочется повторить слова одного из героев его — «Сына собственных родителей», гвардии сержанта Петрова:

Друзья мои,
Поверьте мне,
Мне, искрестившему в войне
Гремучую планету:
На свете смерти нету!

И живой творческий источник со всей силой молодости продолжает бить со страниц новой книги Алексея Недогонова, так рано ушедшего от нас в пору весеннего цветения своего большого таланта.

1948

ЖИВОЙ ГОЛОС ПОЭТА

Нельзя жаловаться на то, что у нас мало пишут стихов, или на то, что у нас мало талантливых поэтов. Того и другого у нас много. Но значительно реже можно сейчас встретить человека, который на прогулке или за работой с наслаждением бубнит себе под нос чрезвычайно понравившееся ему стихотворение. Молодежь весьма часто поет песни советских композиторов и значительно реже запоминает стихи советских поэтов. В журнале часто печатаются стихи, то есть собранные строчки — отдельные пальцы стихотворения. Реже встречается удар сжатым кулаком по сконцентрированной теме.

Я постараюсь пояснить свою мысль. Я подразумеваю под стихотворением живой организм с замкнутой кровеносной системой, а стихи — это мясо и кровь стихотворения, но без пульсации.

Идет паренек по Алтаю, стоит пограничник в дозоре, матрос качается в корабельном гамаке, — и все эти люди, строчка за строчкой, вспоминают поразившее их стихотворение. Я считаю, что для поэта нет большей радости, чем быть автором этого стихотворения.

Недостаточно взять читателя за руку и идти с ним рядом по трудному жизненному пути. Читатель согласен и на это, во-первых, потому, что он считает поэта владельцем секрета красоты, и, во-вторых, потому, что уверен, что ты большой поэт, чем есть на самом деле.

Поэт, прозаик, музыкант, художник должны не только идти рядом со своим читателем, слушателем, зрителем, — они должны читателя вести! При этом надо следить за тем, чтобы не произошло то, что произошло с некоторыми композиторами. Они стремительно неслись, как им казалось, вперед, по «равнинам искусства», а когда им пришлось осмотреться — вокруг никакого народа, и музыки их не слышно в самые мощные громкоговорители: слишком велико расстояние оказалось между творцом и народом.

Я прошу извинения у Константина Мурзиди за то, что, начав писать о его книге, о нем еще ни разу даже не упомянул. Однако я хочу, чтобы эта статья прозвучала для читателя как маленькая повесть о хорошем поэте.

А Мурзиди действительно хороший поэт. Книжка открывается именно стихотворением. Оно небольшое, и я его цитирую полностью, чтобы показать то, в чем я, может быть, и не прав, но что я люблю.

ПИСЬМО

Письмо его написано в пути.
Оно сквозит любовью неподкупной...
То мелко, неразборчиво почти,
То чересчур размашисто и крупно
Ложились на листочке небольшом
Строка к строке — и все с наклоном разным.
Две первых строчки написал он красным,
Другие две — простым карандашом,
Последние — чернилами, с нажимом,
Не сбившись, запятой не пропустив,
Как пишут на предмете недвижимом,
На возвышенье локоть утвердив.
Что было тем устойчивым предметом?
Дорожный камень, ящик или седло?
За столько миль письмо меня нашло,
И понял я по всем его приметам,
Как иногда в походах тяжело,
Хотя в письме не сказано об этом.

Это хорошее стихотворение. Но не лучшее в сборнике. Такие стихи, как «Во льдах», «Я помню: молча двигался полк», «В тесной землянке», «Шаги бойцов» и другие, могут войти в хрестоматию. Патриотизм, не внешний, а пробивающийся сквозь все поры стихотворения, точная и всегда интересная мысль, предельная сжатость, четкая индивидуальность — вот черты К. Мурзиди как поэта. Я не хочу цитировать строфы — это всегда обедняет. Есть книжка, и ее надо прочитать. Мое дело — представить поэта не только уральского и «областного», а поэта, идущего в первых рядах нашей литературы.

Он идет не позади хороших поэтов, а рядом, об руку с ними.

Значительно слабее стихов поэмы «Ерофей Марков» и «Братья». Они сильно отдают литературщиной, то есть в них течет искусственная кровь. Особенно это заметно в «Братьях».

Есть у К. Мурзиди крупный недостаток: он погружен только в свой Урал.

Я понимаю, что это такая тема, которой хватит не только на одну, но и на несколько жизней, но я уверен, что и самому Мурзиди было бы приятней, если бы и сами уральцы говорили о нем не только: «Он хорошо пишет о нашем Урале», но и шире: «А он ведь наш, уральский». Возвращаться к теме Урала Мурзиди надо всю жизнь, но вместе с тем ему надо расширять свой творческий диапазон. Иначе он может стать однообразным.

Может быть, в этом виноват не сам Мурзиди, а редактор книги, который, задавшись благой целью показать поэта как уральца, все же сильно ограничил наше поле зрения.

Ни в одной антологии, посвященной тридцатилетию Октябрьской революции, Мурзиди нет. Почему? Ни в одной статье, посвященной достижениям советской поэзии, Мурзиди нет. Почему? Разве для этого надо жить только в Москве или в Ленинграде? Или, быть может, список популярных поэтов неизменно и его нельзя раздвинуть, чтобы вставить имя еще одного хорошего поэта?

Очень трудно точно определить качество настоящего стихотворения. Поэт, мне кажется, определяет поэта по чувству зависти: «Почему не я написал это стихотворение?» Я завидую Константину Мурзиди.

1948

ЭДУАРД БАГРИЦКИЙ

К 15-летию со дня смерти

1925 год. Высший литературно-художественный институт имени В. Я. Брюсова. Перерыв между лекциями. Мы — три комсомольских поэта (Михаил Голодный, Александр Ясный и я) — сидим на подоконнике и, не помню уже о чем, беседуем. К нам грузно и медленно подходит нестарый, но уже седоватый человек в гимнастерке и тяжелых сапогах:

«Послушайте, ребята, я вам сейчас прочитаю стихи».

Это предложение было не из приятных. Стихи в то время

писали и читали многие, подавляющее большинство их было плохими, каждому хотелось показать, какой он талантливый, и мы тосковали больше о простой человеческой речи, чем о стихах.

Но отказать незнакомому человеку было неудобно, тем более что сам он производил очень приятное впечатление, и мы с кислыми лицами приготовились его слушать.

Багрицкий начал с «Арбуза». Как только он его прочел, мы сразу поняли, что перед нами большой поэт и что не столь важно, чтобы мы его выслушали, сколь важно, чтобы он выслушал нас.

Эдуард продолжал читать. Нас было уже не четверо, а, пожалуй, человек тридцать. Подходили еще и еще. Тщетно надрылся звонок, призывая нас на очередную лекцию, — мы так и не пошли на нее. Прекрасное, своеобразное чтение Багрицкого прерывалось частым кашлем (он страдал астмой). Мы требовали еще и еще. «В другой раз, ребята, вы видите, я больной человек, я сразу много не могу».

Он был утомлен, но счастлив. Каждый молодой поэт едет впервые в Москву с сомнением: как его примут, что скажут, трудно ли будет «пробиться»? Здесь признание было мгновенным и полным.

Спустя четверть века после этого первого нашего знакомства я перечитываю Багрицкого, и еще шире, еще многограннее встает передо мной образ этого замечательного поэта, чудесного спутника моей юности. Великий закон жизни: если хочешь, чтобы товарищи никогда не расставались с тобой, лиши хорошие книги, делай настоящую работу, — и разлуки никогда не будет. Я перечитываю Багрицкого, и мне кажется, что я никогда с ним не разлучался.

«Ребята, я пишу поэму. Послушайте кусок».

И он читает нам отрывок из «Думы про Опанаса». Очень нам нравилась эта поэма. Стоило нам узнать, что Эдуард написал еще хотя бы несколько строк, — и мы мгновенно мчались в Кунцево, где он тогда жил, чтобы услышать первыми.

Он очень любил поэзию и любил говорить о ней. Он больше, чем кто-либо из нас, понимал будущее советской поэзии, пути роста ее кадров, и отсюда его безграничные любовь и внимание к молодым поэтам, которые он пронес через всю свою жизнь. Это великолепно выражено в стихотворении «Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым»:

Что ж! Дорогу нашу
Враз не разрубить:
Вместе есть нам кашу,
Вместе спать и пить...
Пусть другие дразнятся!
Наши дни легки...
Десять лет разницы —
Это пустяки!

Багрицкий начал писать и печататься еще тогда, когда литературно-художественные альманахи носили странные названия: «Авто в облаках», «Седьмое покрывало» и т. п. Предреволюционный декаданс захлестнул Одессу — родину поэта. Но и тогда в своих ранних произведениях Багрицкий уже обладал революционным темпераментом. Он облачался в поэтическую традиционную форму, как ребенок в материнскую шаль, — шаль была старой, а лицо — молодым. Вот почему Багрицкий не испытывал никакого кризиса при переходе от тем литературно-патетических к темам революционной действительности:

Нас водила молодость
В сабельный поход,
Нас бросала молодость
На кронштадтский лед.

Боевые лошади
Уносили нас,
На широкой площади
Убивали нас.

Но в крови горячее
Подымались мы,
Но глаза незрячие
Открывали мы...

Этот отрывок из стихотворения «Смерть пионерки». Каким огромным и горячим сердцем надо обладать, чтобы написать такое стихотворение!

Тихо поднимается,
Призрачно легка,
Над больничной койкой
Детская рука...

Еще поражает в Э. Багрицком диапазон его творчества. От «Улеишигеля» до стихов на агитпоезде «Интернационал», от «Трактира» до «Думы про Опанаса» — широкий путь прошла поэзия Багрицкого по полям гражданской войны; громким голосом говорил поэт в первые годы создания нашей социалистической державы. Болезнь мешала ему быть более активным бойцом и строителем, и весь свой гражданский темперамент вкладывал Багрицкий в поэтическое творчество.

Когда мы вспоминаем об ушедших друзьях, мы подчас думаем об их странностях. Багрицкий, например, слыл страстным охотником. Но я убежден в том, что за всю свою жизнь он не убил ни одного зверя, ни одной птицы. Зато с каким наслаждением он надевал высокие сапоги и пропадал в болотах — ему нужна была не самая охота, а воздух, атмосфера ее. Отсюда голуби, рыбы и звери по-домашнему чувствуют себя в его произведениях.

Много можно написать о Багрицком. Пятнадцать лет прошло со дня его смерти, но стоит мне только развернуть книгу его стихов, как предо мной сразу предстает окруженный молодежью большой, своеобразной красоты седой человек (которому еще далеко до сорока): «Почитайте-ка, ребята, что вы там такое написали!»

Молодежь читает, Багрицкий слушает улыбаясь. Ни разу никто не слышал от него резкого слова, и вместе с тем он ни разу не похвалил то, что ему не нравилось. Поэт, воспитатель поэтов, Багрицкий продолжает жить в нашей памяти о нем, в нашей любви к нему.

1949

В ПОИСКАХ ПРАВДЫ*

Это разговор не столько о пьесе, сколько по поводу нее.

Человек, не разбирающийся в музыке, судит о ней, учитывая только одно: что он думает во время исполнения этой музыки? Не будучи отягощен знанием законов драматургии, я все же хочу поделиться с читателем думами, которые посетили меня во время чтения пьесы «Годы страстных». И пусть

* Алексей Арбузов, Годы страстных. Пьеса.

мне простит автор, если я, коснусь недостатков, иногда совершенно не касающихся разбираемой мной пьесы.

Два врага захотят пританяться за торжественностью нашего предстоящего съезда. Их надо вовремя разоблачить и обезвредить.

Эти враги — демагогия и сентиментальность. Демагогия легко сходит за идею, сентиментальность — за чувство.

«Бедная Лиза» Карамзина бросилась в пруд, Анна Каренина бросилась под поезд. Обе женщины покончили самоубийством. Но какая между ними разница!

Мне, несмотря на ее необыкновенные достоинства, антипатична Смуглянка из «Кавалера Золотой Звезды» С. Бабаевского...

Мы справедливо требуем показа на сцене нашего современника — живого советского человека. Но обыкновенного живого человека нельзя выволакивать на сцену. Он просто застесняется и тут же убежит за кулисы. На сцене нужен артист, то есть живой человек, помноженный на искусство и мастерство.

Кто главный герой драмы «Годы странствий»? Неужели Ведерников?

Ни в коем случае! Герой пьесы, на мой взгляд, жена Ведерникова — Люся, прекрасно выписанный автором женский образ.

И этот матриархат меня никак не устраивает.

Что нам импонирует в герое? Когда он несет идею в себе. И нас очень огорчает, когда он несет идею на себе, когда она только от него отражается. Идея, просвечивающая сквозь героя, а не как заплечный мешок носимая им! Видеть в герое не только то, что все видят, а обнаружить в нем не ультракороткие волны, которые может увидеть только художник. Мы настолько богаты, что можем позволить себе отказаться от капли волшебства.

Нам иногда препятствуют в этом. Но неужели мы должны испытать из чистого источника искусства только после того, как в нем выкупался редактор?

Поговорим о нас самих. Как часто мы видим, что критик несет идею не в себе, а на себе, но не он, а мы, бедняги, сгибаемся под этой нелегкой кладью.

Почему мне не нравится главный герой — Ведерников? Жена его написана прелестно, товарищи хороши, а вот он сам не

вышел. Дело в том, что он пребывает в пределах того, к сожалению, еще часто встречающегося у нас стиля, который я склонен назвать государственной сентиментальностью. Я подразумеваю под этим чувствительность, а не чувство. Внутренний его мир беден, и автор, чтобы сделать своего героя интересным, прибегает к помощи происшествий — то он влюбляется в другую женщину, то она исчезает, то у него мать умирает и т. д.

А с Люсей, его женой, происходит всего одно происшествие — она теряет своего любимого мужа. Но как она обволакивает читателя и зрителя! (Вообще женские образы у Алексея Арбузова — лучшие в нашей драматургии.)

Я вспоминаю «Вишневый сад» Чехова. Всего одно происшествие — продажа сада, а какая огромная человечность держится на одном этом происшествии!

Поговорим об образе Галины. Он предстает предо мной несколько тускло. Галина мечется по всей пьесе, и мне ее несколько не жалко. И влюбленный в нее Архипов Никита Алексеевич для меня, как всадник без головы. Он уже побывал во многих пьесах и приехал к драматургу Алексею Арбузову проводить свой творческий отпуск. Если у ста людей взять по копейке, наберется целый рубль.

Чем же я недоволен в Галине? Тем, что она сделана, а не создана. Я вижу эту мятущуюся душу, но не понимаю причин этого смятения. Несколько слов о ее прошлом мне мало для того, чтобы стать ее другом. И поэтому образ литературен, а не жизнен. Опять-таки чувствование, а не чувство. И пусть эта чувствительность относится к очень важным для нас темам, она от этого не перестает быть чувствительностью.

Проверим наш репертуар. И мы увидим, что во многих пьесах есть какое-то наперед заданное чувствование.

Да и в стихах его сколько угодно. Парень и девушка работают на стройке. Они любят друг друга. Но написано это такими отработанными приемами, что, если выбить из-под влюбленных стропила, они упадут в девятнадцатый век.

Многим кажется, что партия этого требует. А партия требует совсем другого — сегодняшними глазами показать сегодняшнего человека. Мы в меру сил стараемся справиться с этой задачей, но далеко не всегда достигаем этой вершины. Это потому, что мы отмахиваемся, и очень легкомысленно, от еще одной нависающей над нами опасности — легче популяризировать, чем творить! Легче работать для населения, чем для

поколения! Не только отображать жизнь, но и создавать ее! Не только человека, каков он есть, но и таким, каким он должен быть! Прибавлять к жизни, а не только бежать взапуски рядом с ней!

Была когда-то точная характеристика писателя: властитель дум. Партия это право писателя всемерно поддерживает. Большой писатель — это первый советчик партии.

Мы часто говорим: наша литература — лучшая в мире. Да, это не так уж трудно! А вот давайте сравним свою работу с работой наших классиков девятнадцатого века. Куда мы денемся?

Почему я подумал обо всем этом, читая пьесу А. Арбузова? Он меньше других повинен в описанных мною грехах. Это я просто музыку слушаю и рассказываю читателю, что я в это время думаю.

Проследим историю наших недостатков.

Сначала оказалось, что у нас кое-где есть плохие председатели исполкомов. Но зато секретари райкомов — одио упое-ние! Потом беда обрушилась на заместителей министров. Министры пока что уцелели.

Но не в этой нашей одиобокости дело, а в том, что народ живет своей жизнью, отдельно от нее. Вот в чем причина схематичности многих наших произведений. Берутся четыре действия, разделяются на клеточки, в эти клеточки выдавливаются несколько тюбиков текста, и автор считает, что дело сделано.

И опять-таки это не столь касается А. Арбузова, сколь других. Очень хороший язык, великолепное умение создавать атмосферу, чистота образов — эти качества не покинули А. Арбузова и в предлагаемой пьесе. Но он принадлежит к числу любимых мной в драматургии людей, и я хочу, чтобы силомер его таланта всегда показывал — «очень сильно».

Вся наша жизнь — это служение Советской власти. И это служение должно быть всегда благородным и никогда — лстивым. Советская власть — это не девушка, которой говоришь хорошие слова, и она от этого млеет. Советская власть — это седая женщина, прожившая невероятно трудную жизнь, и с ней надо говорить честно и прямо.

Так ли все идеально в нашей жизни? Нет, не все идеально. Должны ли мы для своих произведений отбирать только хорошее? Нет, не должны. Важно единственное: куда устремлен писатель? Если его стремления совпадают со стремлениями

партии, он может писать как хочет. Никакого формализма тут быть не может, будут только творческие поиски правды.

Служение Родине — обязанность благородная, но это благородство не должно носить на себе ни малейшего пятнышка ханжества. Несутся слухи, что по поводу борьбы с алкоголизмом нельзя будет ни одной свадьбы на сцене показывать. Пусть меня простят поборники борьбы с алкоголизмом, но человека, который не выпьет за здоровье новобранцев, не следует приглашать на свадьбу.

Я совсем далеко ушел от пьесы. В ней очень много хорошего. Сцена на вокзале, например, написана первоклассно. Но меня удручила концовка пьесы.

Ольга, которую Водерников долго и мучительно искал и, наконец, случайно нашел, буквально на одной-двух страницах расстается со своим любимым и уезжает. Водерников возвращается к своей жене. Та, конечно, безумно рада.

Мало! Куцо для таких сложных человеческих отношений! Здесь нужна площадь целой пьесы, а не одной-двух страниц.

Или еще: Водерников узнает, что его мать тяжело больна, и тем не менее продолжает разговаривать о вещах, ее не касающихся.

Вот французы показывали у нас такую одноактную пьесу «Рыжик». Мальчик ненавидит свою мать... Но если бы он узнал, что она умирает, то сейчас же побежал бы посмотреть. — как умирает то, что он ненавидит. Как же оставаться на месте, когда умирает то, что безмерно любишь? Реакция в таких случаях бывает мгновенной. Нехорошо, когда человек живет только что сочиненными отношениями, но так же плохо, когда в произведении люди живут уже давно сочиненными отношениями.

В пьесе Водерников живет уже сочиненными отношениями. Почему он талантливый? Только потому, что он произносит несколько «медицинских» слов, а другие их не произносят?

Это, как в детских пьесах — порочные мальчики самые интересные. Получилось плохо — талант сочинил автором и не присущ герою. Получилось как будто живое, а на самом деле мертво. Дело в том, что правда сильнее быта. Хочешь утешить некрасивую женщину, и говоришь, что у нее хорошие глаза. Не то что красивые, а просто хорошие. Мне это много раз говорили, но я-то знаю в чем дело.

Почему я, отвлекаясь от пьесы, обо всем этом говорю?

Потому что общение через трибуны нам почти заменило

письма. Мы разучились писать их. А как они нужны, эти дружеские письма!

И пусть Алексей Арбузов — писатель, который мне творчески очень близок, — сочтет эту статью за самое обыкновенное письмо. Захочет — покажет кому-нибудь, не захочет — не покажет.

1954

О ПЕРЕВОДАХ

Я пришел для того, чтобы сказать: труд переводчика оценивается так: из бриллианта ты должен сделать бриллиант, не иначе. А у нас в руках очень редко бывают бриллианты. Нам нужно обычный гранит отшлифовать так, чтобы это была брошка. Вот в чем дело.

Я завидую Льву Озерову, потому что у него большая влюбленность в свой труд. Он любит перевод так же, как свои стихи. А я люблю процентов на 90 меньше.

Труд переводчика — это тяжелейший труд. Кроссворд мы решаем для забавы, а здесь — колоссальная ответственность. Мы должны передать дух народа, его поэзию. И тут, конечно, не обойтись без ошибок.

Труд переводчика — это безумно тяжелый труд. Не знаю, дождется ли он премии, но польза, которую приносит переводчик, невероятно велика. Его труд приносит подчас куда большую пользу, чем оригинальные стихи многих из моих товарищей. Переводчик открывает поэтов других народов. Подход к переводчику должен быть подходом к человеку огромного труда. Если человек перевел несколько тысяч строк и перевел их хорошо, то нельзя его бить за несколько неудачных строк. Так нельзя относиться к большому и тяжелому труду товарища. Лев Озеров дело свое делает добросовестно, с любовью, даже со страстью, а если у него есть неудачи, то и мы от них не гарантированы.

Спорят о том, нужно ли знать язык оригинала. Хорошо, возьмемся за изучение языков! Но пока мы их будем изучать, в Советском Союзе не выйдет ни одна переводная книга. Известны, между прочим, случаи, когда человек, знающий язык, переводит хуже, чем не знающий. Все зависит от того, как на тебя дохнет оригинал, вернее, подстрочник.

1954



Поэт от слова выжитого
Идет путем обратным,
Чтоб из всего пожитного
Все сделать непожитным

Л. Мартынов (по рисунку П. Федотова
«Нет, не выставлю, не поймут!»).

ГОРЯЧИЕ СТРОКИ

Некоторые люди считают, что расстроенность чувств — это и есть лирика. Дескать, он ее любит, а она его нет — вершина конфликта в лирическом стихотворении. Наступающая осень символизирует собой приближающуюся старость — ах, как трогательно! Пейзаж, на фоне которого пасутся две-три коровки, — ах, какая наблюдательность!

Все это, конечно, неверно. И это с неотразимой убедительностью доказывает очень хороший поэт Расул Гамзатов*.

Главное достоинство его лирики в том, что она в первую очередь энергична. Какое бы стихотворение вы ни прочли в его последней книге, в нем обязательно присутствует активно действующий человек.

У Расула Гамзатова много здорового, свежего юмора. Это юмор не развлекательный, не снижающий лирического накала стихотворения, а, наоборот, повышающий его. Юмор входит в стихи Гамзатова, как молибден входит в сталь. Для примера прочтем и разберем «Стихи о времени» в очень хорошем переводе Гребнева. Они начинаются так:

Летит по бездорожью, по дороге,
Минуя рубежи веков и страи,
Скакуи неукротимый быстроногий,
И нет на нем узды и нет стремян.
Ему, как дорогому гостю «здравствуй!»,
Мы говорим с улыбкой на губах,
Себя вопросом мучая не часто:
«Он или мы, кто у кого в гостях?»

Добрая улыбка поэта чувствуется в строках, которые другой, менее даровитый автор написал бы «всерьез», сокрушаясь о том, что вот время идет и человек от этого не молодеет.

И в другом стихотворении из этого же небольшого цикла:

Ты спешишь. На деревьях желтеет листва,
Хлещут ливни, мутнеют потоки,
И неделю смололи твои жернова,
Я неделю писал эти строки.
Слушай, чертова мельница, короток путь,
Что дано совершить человеку.
Поломать тебя, ось твою, что ли, согнуть.
Перекрыть бесноватую реку?

* Расул Гамзатов, Лирика. «Молодая гвардия», 1954.

Здесь во всю свою мощь пробивается энергия, о которой я говорил выше. В теле стиха переливаются бицепсы, задумчивость не переходит в раздумчивость, возбужденность не превращается в экзальтацию. И заканчивается цикл:

Часы идут, и тикают, и бьют...
Что сделал ты, прислушиваясь к бою?
Или пришлось вести им счет минут,
Бессмысленно растраченных тобою?!

Много, очень много хороших стихов в этой книге. Естественно, что я не могу их все процитировать в коротком отзыве.

Прочтя книгу Расула Гамзатова, я обнаружил одно отличное качество поэта: в каждом его стихотворении пружинит мысль, ни одно из них не бездумно, ни одно из них не написано потому только, что у автора появилось желание рифмовать.

То, что я написал об этой книге, не рецензия. Это рекомендация. Горячо рекомендую читателю: прочтите последнюю книгу стихов Расула Гамзатова. Это очень хороший, настоящий, интересный поэт!

1955

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ПЛЕНУМЕ МОСП

...Я буду говорить о том, что меня волнует и о чем мы мало говорим, когда собираемся вместе.

...У нас немного потребительское отношение к поэзии. Вот сегодня где-то происходит «то-то», а завтра в другом месте — другое, и мы спрашиваем: «Поэт, где твой отклик»? Но ведь бывают разные люди. Маяковский откликался мгновенно. А я не могу, не умею.

Однажды Маяковский встретил меня и говорит:

— Я читал ваши стихи в «Известиях». Это гадость. Вы не умеете писать агиток. И не пишете! Я умею — я пишу!

...Мы требуем положительного героя везде и во что бы то ни стало. Но вот Гоголь написал «Ревизора» против взяточников. Прошло сто с лишним лет. Как мы оценим конкретную пользу «Ревизора» или «Мертвых душ»? Ведь там нет ни одного положительного героя! Так неужели Гоголь любил Россию меньше нас с вами?!

Значит, и со знаком минус можно писать большие произведения. Это моя точка зрения. И я хотел о ней сказать.

Я пишу пьесу. Какова моя задача или, вернее, сверхзадача? Я хочу, чтобы зритель, уйдя из театра, стал на полдюжину лучше. Если слепить каждого полдюжину, то в общей массе это лучшее достигнет немалой величины.

...Вот Москва — святое для нас место. В Москву можно приехать из Архангельска и из Харькова, то есть существуют совершенно разные подъезды к одной и той же цели. В поэзии, как и в жизни.

Я себе представляю дело так: заседает правительство, говорят — у нас в Союзе столько-то миллионов пенсионеров, обдумывают — как сделать, чтобы они жили лучше? Выступает министр финансов, говорит: «Это дело трудное, нужны миллиарды!»

Я художник. Но я не вижу ни миллионов, ни миллиардов. Я вижу одну нашу уборщицу, которая весьма довольна, что получает сейчас 300 рублей вместо прежних 215. От нее я иду к общему.

Вы понимаете, насколько это разные подходы. Я не могу представить себе трех миллионов жаждущих, если не вижу конкретно трех из них. Мне необходимо видеть трех из трех миллионов!

...Если лимонад притворяется шампанским, я все равно от него не хмелею. Как часто это бывает у нас в поэзии! Когда встречаешь знакомого, спрашиваешь: «Как твоя жизнь?» А художник, встречая художника, должен спрашивать: «Как твоя бессонница?» Я так люблю, когда художник — нервный, восприимчивый, острый!

...У нас говорят — «отряд советских поэтов». А поэт — это командир отряда. Он ведет читателей за собой. А если наш Союз писателей — отряд, ну, ладно, пойду в президиум заседания — постою на часах и уйду... Настоящий художник — не рядовой в отряде. Я хочу, чтобы мы по-серьезному определяли роль писателя.

...Когда поэт сам про себя говорит: «Я пишу на пользу Отчизне», мне странно слушать эту нескромность. Ты должен быть до краев наполнен любовью, не подозревая этого. Тогда получатся стихи. Иначе они не получаются!

...В общем какие бы мы слова ни придумывали, чтобы поднять еще выше нашу поэзию, дай нам бог одного — настоящей творческой бессонницы.

1957

ПЕРВАЯ КНИГА МОЛОДОГО ПОЭТА *

Для невнимательного взора
Природа Севера бедна.
Но разве беден лес, который
Доверил снегу семена?

Читая эти стихи Валентина Берестова, я чувствую, что моя семья расширяется. Семья художников, семья людей, очень любящих человечество. Задача поэта — стать близким людям. В. Берестов еще юноша, но он станет таким взрослым, нужным людям человеком.

Не слишком ли большие авансы я выдаю молодому поэту? Так ведь можно и зазнаться! Нет, думаю, он не зазнается.

...Каждый наш поступок мы должны как бы измерять меркой нашей юности: так ли ты мечтаешь, как мечтал, стремишься ли ты к тому, к чему в юности стремился? Многих моих сверстников уже нет в живых, а найти нового друга куда труднее, чем потерять старого.

Все эти мысли пришли ко мне, когда я читал «Отплытие» В. Берестова. Неверно! Не отплытие, а приплытие. Приплытие к человеку, к людям, мечтающим о коммунизме, но еще не живущим в нем.

Но есть у меня и серьезные претензии к молодому талантливому поэту.

Я боюсь, что вы станете просто милым поэтом. Это самая большая опасность, которая вам угрожает. Откуда возникает такая опасность? От желания нравиться. Это болезнь молодости, но никогда не было такой молодости, которая бы не прошла. А потом, в старости, чем вы будете дороги людям? Вы будете дороги тем, что беда, наступившая человека, покажется ему рядом с вами более легкой, а радость, пришедшая к нему, более совершенной.

Значит, речь идет о диапазоне творчества. Поэт должен быть спринтером на огромное расстояние, отделяющее горе от радости. Пока что вы только удивительно милый собеседник. Где ваши волевые качества? Вы должны сильным движением взять читателя за руку и указать ему: «Иди туда! Там хорошо!» Пока что это ваше движение слишком мягко. Хорошо,

* В. Берестов, Отплытие. «Советский писатель», 1957.

что вы не грубо настойчивы. От этого вам больше веришь. Но плохо, что за вашей мягкостью не чувствуешь твердой руки, привыкшей держать тяжелое оружие. Больше видна привычка к легкому и тонкому инструменту. А не ощутив твердости, может быть, и не рискнешь опереться на вашу руку в долгом и трудном пути.

Чтобы указывать, вы сами должны знать, где хорошо, а где плохо. Вы же еще не столько знаете, сколько угадываете. Оттого, может быть, даже о зле вы говорите все с той же обескураживающей улыбкой: вы уже не любите зло, но еще не ненавидите его.

В ваших стихах много света и тепла. Это ощущение дает мне счастье. Но в то же время мне чуть страшиовато. Я не люблю, когда ко мне приходит настроение: «Какие мы все хорошие!» Мне тогда начинает казаться, что я в бою и теряю оружие.

Почитайте классиков. Какие это были люди!

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

Что это — умиротворение? Великая вселенная и вечное время? Или только торжественность бесконечности, дающей отдохновение надорвавшейся душе? Но, оказывается, бесконечность дает приют только сильному, собирающему новые силы.

Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь.

Первая строфа — это трамплин для прыжка в большую мысль о несдающемся и не ломающемся человеке.

А теперь цитата из вашего стихотворения:

Как-то в летний полдень на корчевье
Повстречал я племя пней лесных.
Автобиографии деревьев
Кольцами написаны на них.

Сначала поражаешься: вот выдал прозаизмы — «племя пней», «автобиографин деревьев». Потом восхищаешься прелестью и емкостью образа, особенно в последней строке:

...детство станет сердцевиной
Человека будущих времен.

Да, это все очень хорошо, но этого мало. Вы любуетесь отдельными кирпичиками, а забываете о том, что вы строите стихотворение, в котором людям надо жить. Сначала уясните задачу, а потом нищте кирпичи. Узнайте точно, что вы строите.

Человеку нельзя жить без друзей. Находите их! Каждый ваш читатель — это ваш друг. А друзья у читателя должны быть интересные. Иначе к чему ему эта дружба? Вы можете стать большим, а для многих даже единственным другом. Но пока вы только приятель, добрый, веселый, надежный, но все же только приятель. Он может рассказать о жизни немало любопытного и меткого. Он, чувствуется, не откажется помочь в беде. Но все-таки с большой тайной и с большим горем к нему не пойдешь.

Вы любите строить стихотворение на случай, на анекдоте. Вам, как видно, нравятся притча. Но она часто сковывает вас. Ее мораль для нынешнего читателя немного наивна. Иногда притча вносит в ваш стих примитив. Воспитывать своего читателя надо не мнимыми побасенками, а резким вмешательством в его жизнь.

Вы это можете. Я на вас надеюсь.

1958

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА СОБРАНИИ СЕКЦИИ ПОЭТОВ МОСП

Я взял первое слово потому, что, мне кажется, задам верный тон нашему собранию.

Нет сомнения, что в нашей среде появился еще один талантливый человек. И именно потому, что он талантлив, к нему следует предъявлять такие же требования, какие мы предъявляем к себе.

Он читал нам стихи — там есть великолепные куски, но главный враг Ручьева — стилизация. «Разъединиственный пиджак?» — «Наш единиственный пиджак» куда лучше. Для меня в стихотворении 25 километров куда больше и длиннее, чем миллион километров. Если я вышел ночью от товарища и у меня нет денег на такси, чтобы доехать домой из Кунцева, то для меня это куда дальше, чем до Млечного Пути. Так что правдоподобие заключается не в «разъединиственном». В ваших стихах есть стилизация, которая как бы заменяет чувства — и с этим нужно бороться.

Вы понимаете, как дружески мы к вам относимся, — если бы я не считал вас талантливым, я просто не пришел бы сюда. Так что вы подумайте над этим. Редактору будет очень трудно с вами работать, и вот почему: если он по-настоящему любящий советскую поэзию редактор, он не захочет, чтобы вы вышли рядовым писателем. Вы должны появиться как явление — вы имеете на это право. И не имеете права выйти очередной книжкой, одним из многих.

Сегодня я слушал ваши стихи. Нужно сказать, что я вообще очень плохо воспринимаю стихи на слух, но, мне кажется, с вами должен работать удивительно жесткий редактор — вы иногда впадаете в болтливость. Стукил кулаком — и хватит. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот почему меня эти стихи даже огорчили.

По-над Волгой плавает челик,
Эх ты, Волга, родная река!

Думаешь, что это не народное — уж очень легко стилизовать.

Мы собрались здесь ради вас, а это значит, что в вас нуждаются. Но если вы пойдете по пути успеха для командировочных, ничего не получится.

Вы станете таким же сериальным поэтом, каких у нас много... И вы должны бояться этого...

Почему я говорю, может быть, слишком резко? Потому что мне ваши стихи понравились и вы понравились (а мне очень редко нравятся люди, в последний год, может быть, один-два человека). И я сказал, что буду с вами жестче, чем с другими.

Вам ничего сомневаться в том, что ваша книга выйдет, но

надо, чтобы вы нашли в себе силы выбрасывать даже хорошие строфы, если они мешают стройной композиции.

У меня впечатление вообще, что стихи надо не писать, а лепить — одни на другой. Это своеобразное крупноблочное строительство. А если лишняя строфа, как лишний кирпич, мешает — ее надо убрать.

И вы должны понять, что мы хотим, чтобы появился новый талантливый советский поэт. Я вас знал давно, но тогда вы только зарождались, а сейчас вы — зрелый поэт и должны с должной требовательностью относиться и к своим стихам и к чужим.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ДЕКАДЕ ГРУЗИНСКОГО ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРЫ

Я понимаю, конечно, что у меня в ваших глазах гораздо больше обаяния, чем у всех предыдущих товарищей, потому что я женат на грузинке. Найдите мне еще одного оратора, который был бы женат на грузинке!

Однажды я с моим другом, с которым вместе начинал писать, с Михаилом Голодиным, ездил на побережье Черного моря. Ни я, ни он не умели выступать. Там встретился нам один старый грузин, и когда мы ему об этом сказали, он дал совет: самое главное — произнести первую фразу: «Товарищи!» А потом начинай думать.

Вот я и говорю: «Товарищи!», и сейчас начинаю думать. Я считаю, что это самая верная форма выступления.

Я занимался молодыми поэтами, и должен сказать, что я просто многим недоволен. Недоволен тем, что некоторые или даже многие писатели едут из Ленинграда в Москву и думают, что они Радищевы, путешествующие из Петербурга в Москву. Я очень боялся, что встречу такую книгу и, честно говоря, очень обрадовался, что этого не случилось.

Растет молодое, по-моему, великолепное племя грузинских поэтов. Тут сорок поэтов, и не то что декады, но и пятилетки не хватит, чтобы обо всех сказать. Поэтому я, не затрагивая каждого отдельно, скажу о своем общем впечатлении.

Не помню, кто это выступал, но он сказал о фразе, о такой строке: «На этом основании» — это прозаизм. И ему по-

казалось, что это учрежденческий оборот. Очень редко, но надо проявлять прозаизм. Иногда прозаизм — волшебное слово. Только не надо им злоупотреблять. Два раза — это много. Хотя можно и без этого обойтись. Но дело не в этой фразе.

Я много читал молодых поэтов и вожусь с ними — и с нашими и с поэтами наших республик. В чем там беда? Там беда в том, что они думают, что поэзия — это рахат-лукум, что до Советской власти рахат-лукум был плохой, а при Советской власти стал удивительно вкусным.

Есть еще убогость мыслн. Некоторые думают, что любой культурный человек может писать и может стать поэтом, что его можно научить стать поэтом за любую плату. Это чепуха.

Я должен вам сказать, что я с большой радостью воспринимаю декаду. Но для меня декада не закон. Если бы мне что не нравилось, я бы так и сказал: не нравятся.

Я должен вам сказать, что в творчестве поэта всегда происходит скачок. Если у него не произошел скачок, то ничего нельзя с ним сделать. Мы можем сказать, что у человека вообще скачка не произойдет, и так бывает... Может произойти скачок, а может и не быть. Лично у меня такой подход к молодым поэтам. У меня здесь отмечено много хороших мест и неудачных.

Я должен вам сказать, что у нас великолепные переводчики, мы их недооцениваем. Мы думаем, что это передатчики чужих мыслей, а тут творческие переводы. Мне попадались неизвестные для меня фамилии, и как они великолепно перевели!

Я не буду разбирать отдельные стихи, вы уже устали, а я тем более, ибо я вожусь не только с молодыми поэтами, но со многими вообще. Я очень рад этой декаде, и говорю это не в декадном плане.

Мне приходилось видеть молодых поэтов, которые никак не могли писать, языка не знали, а потом вырастали в чудесных поэтов.

Я убежден, что у вас сейчас очень урожайная юность в поэзии. Учтите опять-таки, что я говорю это не в смысле декадности. Дай бог счастья этим поэтам. Я хочу, чтобы они меня помнили и любили. В этом у меня свой эгоизм.

1958

230

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ДЕКАДЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ

Я хочу обратиться к молодым поэтам Таджикистана. Поговорить по вопросу жанра. Это было давно, тогда, когда я только начинал писать. И вот при встрече с Маяковским он мне сказал: «Я читал ваши стихи, и они мне не понравились». Он был ужасно требователен. Я сказал тогда ему, что как умею, так и пишу. Он был в то время прав абсолютно. Бывает так, что человек сразу не находит своего призвания, а потом уже на практике это выявляется. То есть я говорю о жанре. Надо каждому молодому писателю определить свой жанр. Вопрос этот абсолютно серьезный, и вам надо на него обратить внимание по-настоящему.

И второе. Вот часто наблюдаешь, когда начинает писатель писать вещь, он обязательно пишет, что до революции жизнь была плохая, а после революции стала лучше и т. п. Ведь для того, чтобы это сравнить, не надо даже иметь на плечах головы. Это же страшная вещь, тут не нужно головы вообще. Тут нужна одна ручка.

Надо поднимать жизненно важные темы, которые порою у вас лежат рядом, мы с вами взрослые люди, и это должны не только понимать, но и различать. Нужно на жанр обратить серьезное внимание. Когда будете старыми, уже будет поздно, нужно определить себя молодым.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА ТВОРЧЕСКИХ ВСТРЕЧАХ, СЕМИНАРАХ, ЗАСЕДАНИЯХ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ИНСТИТУТА

В спорте, как вы знаете, есть институт тренеров. Это вовсе не значит, что тренеры играют, например, в футбол лучше, чем тренируемые, или что в борьбе тренер сильнее, чем борец; напротив, хороший борец может положить своего тренера на лопатки. Но дело в том, что тренер знает приемы.

Я буду работать с вами в качестве старшего тренера.

Как мы будем вести наши занятия? Мы будем импровизи-

ровать. Не ждите от нас пощады... Мы будем подходить к вам с точки зрения того, что каждый из вас обязан быть классиком. Только при таком подходе можно найти то, чем вы владеете, и выяснить, чего у вас не хватает. Мы будем к вам требовательны, как к себе. Это обязательно...

У меня подобрался коллектив моих товарищей — талантливых людей, и мы примерно люди одного вкуса. Поэтому у нас не будет разнобоя в оценках. Не потому, что мы будем заранее сговариваться, а потому, что по многолетней совместной работе мы знаем, любим друг друга. Несомненно, что и у нас с вами установятся такие же взаимоотношения.

Я не люблю вести семинар так, что сидят «старенькие» и сидят «молоденькие», что вот, мол, мы мудрые, мы вас научим. Мы также в состоянии говорить и делать глупости, но все же наш возраст и стол позволяют нам делать суровую и справедливую оценку.

Поэт — это не человек, который пишет стихи. Поэт — это явление.

Дело вовсе не в том, что мы разберем какое-то стихотворение. Мы собрались не для этого, а для общения. Общение — великое дело. Общение поэтов должно быть пожизненным.

Любого культурного человека я берусь в три месяца научить печататься. Но научить его быть поэтом я не могу.

Многие молодые поэты считают, что чем книга толще, тем лучше. На деле же между печатаньем и поэзией колоссальная пропасть, и чертовски трудно навести над ней прочные мосты.

Никто из вас во время обеда не скажет: «Сегодня обед с хлебом», потому что если к обеду хлеб — это обычно. А если хлеб очень вкусный, тогда говорят: «Сегодня обед с необыкновенно вкусным хлебом». Так вот, поэзия — это «необыкновенный хлеб».

После каждого стихотворения читатель должен быть обогащенным. Если я не получаю нового, выраженного с резкой поэтической страстью, мне незачем читать.

Надо, чтобы стихи прилипали; чтобы вы шли по улице, а из головы не выходили строки, такие, к примеру, как у Есенина:

Я не скоро, не скоро вернусь!
Долго петь и звенеть пурге.
Стережет голубую Русь
Старый клей на одной ноге.

А стихи многих современных поэтов прилипают к книжной полке так, что их не оторвешь от нее — не хочется читать их.

Станиславский говорил, что на сцене надо играть для одного зрителя в самом заднем ряду.

Не думайте, что поэту просто, легко войти в народ. Если народу нравится, а нам не нравится — это плохо. Если нам нравится, а народу не нравится — это тоже плохо.

У народа большая жажда. От жажды он может пить и мутную воду. А наш долг — давать народу только чистую воду, процеженную сквозь фильтры высокой квалификации.

Когда мне было шестнадцать лет, я уже печатался, хотя и писал очень плохо. Первое мое выступление в одном из клубов прошло под аплодисменты. Но не мог же я всю свою дальнейшую работу строить на аплодисментах комсомольцев...

Не верьте аплодисментам! Вчера я видел спектакль, где все сработано на старых приемах... В конце пьесы шесть свадеб. Это что-то невероятное по безвкусице. Но представляете, с какими горящими глазами выходили зрители из театра! Разве на это мы должны ориентироваться? Демагогией куда легче взять, чем настоящим художественным вкусом. Давайте условимся: мы пишем для народа, но написанное нами пропускаем через фильтр, который представляем мы: я, он, вы, все. Тогда вы увидите, насколько все станет чище, благороднее и без всякой демагогии.

Одно стихотворение — не показатель творческого состояния поэта... Надо проанализировать по меньшей мере десять стихотворений одного поэта, чтобы понять и оценить его, помочь ему.

Для слабого поэта рифма — затруднение, для хорошего — первый помощник. Она сближает разные понятия и создает ассоциации. Вот почему писать белым стихом куда труднее, чем рифмованным, в белом стихе мыслям не помогает рифма.

У меня есть три настоящих стихотворения. Считают, что это немало... Если в Союзе писателей тысяча поэтов и каждый из них напишет по три хороших стихотворения, то получилось бы то, чего не было даже в великолепном девятнадцатом литературном веке.

Года два назад вышла моя книга. Однажды в трамвае я увидел, как один пожилой человек читал ее. Первое мое желание было спросить у него: «Ну как, интересный я собеседник?» Но, конечно, я не сделал этого.

Обязанность поэта — быть интересным собеседником.

Юмор не шуточки, не анекдоты, не смешные события. На мой взгляд, нет ничего печальнее на свете, чем юмор. Вспомните Чехова «Толстый и тонкий». Это трагедийно, но это юмор. А Чаплин, а гоголевская «Шинель»?!

Поэт не только вдумчивый и переживающий человек. Он еще главным образом мастер. Труд — первое условие для создания художественного произведения. Не все то, что сразу пришло в голову, передавайте бумаге. Нужно воспитывать в себе чувство отбора.

У вас сил на поэму не хватило и не могло хватить. Это все равно, что я, имея двести рублей в кармане, пошел бы покупать «Победу».



Новый жанр в стихах и наганах,
 Он премудрости достиг, —
~~никогда не~~
 ридома отонет, ридома илагет,
 ридому душит, белот стих.

В. Солоухин.

Вы знаете, сколько за девятнадцатый век было написано поэм? За самый богатый литературный век — всего с десяток поэм. А Советской власти еще не исполнилось полвека (это для нас много, а для истории пустяк). За эти годы не было написано десяти таких поэм, которые захватили бы нас. Я пытался писать поэму, но это было стихотворение, а не поэма...

Поэма — это колоссальное здание, вроде здания Московского университета. Вот так надо ее строить. У нас есть примерно шесть высотных зданий, а университет — один. Дай бог нам создать такую поэму.

За поэму вам не надо было браться. Нужно запастись большим количеством продуктов, чтобы не проголодаться, пока прочитаешь ее до конца. Но есть в ней хорошие строчки:

Звезды зажглись понемножку,
Их столько сегодня друг к другу прижалось,
Что кажется, все их собрали к окошку
И больше вокруг ни одной не осталось.

Очень хорошо: скопище звезд в окне.
Или:

Когда застилают девичьи постели,
Не место здесь даже небесным светилам.

Правильно, никто не имеет права видеть, как раздевается девушка.

А вот плохие строчки:

То станет подушка холодной, как льдина,
То вдруг — не притронешься, так горяча.
Наташа, Наташа, родная дивчина,
Ты что это плачешь одна по ночам?

Вы меня щекочете, хотите, чтоб я заплакал — очень это нехорошо.

Женские руки
Сильны, незлобивы.
Какою тяжелой дорогою шли вы.

На руках ходят, но только в цирке.

Если два человека сделают мне одинаковое замечание, я задумаюсь.

Надо уметь беспощадно выкидывать блестящие строфы, если они мешают хорошим стихам. Нужно, чтобы был живой организм, а не медуза. Медуза — тоже организм, но какой-то расплывчатый.

Великолепное четверостишие:

Мечтал ты о ракетном корабле,
Чтоб звезды проносились чередой,
И навсегда остался на земле
Под холмиком с фанерною звездой.

Эти строки сразу завоевывают, а меня трудно завоевать: я человек сложный.

Ты повернешь свое лицо
Под свежий ветер улицы.

Лицо не поворачивают, поворачивают голову, а лицо подставляют.

Я знаю, что солнце почетным жильцом
В квартирах уютных навечно пропишется.

Здесь хохмачество, а не образ, который дан изнутри. Это остротка, снижающая авторитет стихов.

И ты в душе моей, как елка,
Живешь зеленою всегда.

Отчего ваша любимая позеленела? Довели, значит?.. Я нашел точные слова, связанные с елкой: «Ты не линяешь никогда».

Вы считаете, что у вас свободный стих. Он не свободный, а неумелый.

У вас ложная манера Маяковского. Подражать ему невозможно... Когда видишь лестницы строк и нет чудовищного темперамента Маяковского, остается плохое впечатление.

Представьте, что я со своей внешностью буду выдавать себя за Илью Муромца. Это, конечно, не получится. Вот о чем идет речь.

Вы пишете:

Глаза орла
полны тревоги птичьей.

А какая же может быть тревога у орла — медвежья, что ли?

Возьмем такие пушкинские строчки:

Тяжелозвонкое скаканье
По потрясенной мостовой.

Что это — аллитерация? Нет, колоссальное видение! Вы думаете, что здесь простое сочетание гласных и согласных? Когда мы читаем эти строки, становится тяжело от видения...

Разве Блок поражает аллитерацией? Я вижу его и страдаю.

У Исаковского нет ни одной вычурной рифмы, а поэт он прелестный.

На стыке двух степных дорог
Могила горький бугорок.

Что за «горький бугорок»? Вы что, бугорком закусывали?

Читаю у вас:

И к собственному сердцу примеряя
весь этот мир,
почти еще совсем не обжитой.

Получается слишком большое сердце и слишком маленький мир. Надо бы иначе — примерить свое сердце к миру.

Есть такая игра — «Гигантские шаги». Вспомнил о ней и подумал: где наши гигантские шаги?

Много лет назад я написал несколько стихов, ставших популярными. А сейчас задача — одолеть «гигантские шаги».

Или, скажем, другой пример. Когда люди меряют свои силы на силомере, стрелка сначала идет очень быстро, а дальше, особенно на последних миллиметрах, очень трудно бывает выжимать. Давайте же «выжимать» эти миллиметры.

Нарочитый темперамент, напыщенность приводят в стихотворении к совершенно обратным результатам.

В любви бы к людям
Мне не знать границы,
Все амбразуры бы закрыть собой!

Александр Матросов закрыл своим телом одну амбразуру и навечно остался народным героем. А закрыть все амбразуры — это уже не героизм, это профессия.

Скажите, хорошая рифма: «ласкаю — уступаю»? (Голос с места: «Плохая».) А вы знаете, что так рифмовал Пушкин? (Голос с места: «Это ничего не значит».) Нет, это очень многое значит. Перечитайте «Брожу ли я вдоль улиц шумных». Там есть четверостишие:

Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю: прости!
Тебе я место уступаю,
Мне время тлеть, тебе цвести.

Я не хочу других рифм. Здесь стихотворение идет за счет внутренней энергии, а не за счет «бархатных штучек» необыкновенных рифм.

Учить я не могу, а общаться люблю — это у меня природный дар. Я и с солдатами общаюсь, и с академиками, и неизвестно, кто больше тянется ко мне. Потому что я могу найти в человеке хорошее и плохое и тут же прямо сказать ему об этом. И никто на меня не обижается. Давайте и дальше держаться вместе. В самом деле, для чего мы живем? Для того чтобы нести ответственность за написанное. А после этого уже идти в народ.

О чем я мечтаю в нашем деле? Вам, может быть, покажется напыщенным, если я скажу, что мечтаю о соревновании талантов. В жизни у нас соревнований сколько хотите: то один скоростник обогнал другого, то один сталевар обогнал другого. Я еще помню время, когда Маяковский соревновался с Есениным. А вот когда соревнуются два молодых поэта и каждый пишет, что раньше было плохо, а сейчас хорошо, то это не соревнование талантов. Есть такая восточная поговорка, что если два осла бегут вперегонки, то один из них обязательно придет первым. Я против такого соревнования... Сейчас у нас своя, высокая культура, и будьте добры вносить вклад в нее...

Поверьте, мне так не хочется переходить в ряды тренеров... Мне хочется самому участвовать в беге, в соревновании...

Позвольте пожелать добра всем вам, потому что вы дали мне уверенность, которую я почти начал терять, уверенность в том, что нашу поэзию ожидает большое будущее.

Не могу я погрузить вас в тайну стиха. Могу только подвести вас к этой тайне. Если бы в поэзии не было секрета, то все были бы поэтами и не осталось бы читателей.

Если нет исканий в молодости, то надо заложить ее в лом-бард.

Вы ищете. Это хорошо. Восхождение на высоты поэзии напоминает альпинизм — это трудный и медленный подъем.

Добивайтесь, чтобы в ваших стихах текла толчками, пульсом артериальная, а не венозная кровь.

В поэзию нужно входить, как мусульманин в мечеть, предварительно сняв обувь.

Образ — это еще не мысль. Стих — это одушевление образа. Кроме зримой идеи стиха, в нем должны быть зримые люди.

У влюбленной женщины может быть больше чувств, чем у поэта, но он выразит их лучше.

Разница между оптимистом и пессимистом: оптимист говорит: « $2 \times 2 = 5$ » — и радуется; пессимист говорит: « $2 \times 2 = 4$ » — и беспокоится.

Стихи должны обладать инфекционным свойством — заражать читателей.

Слушая стихи о Кремле, мы настораживаемся, потому что плохих и средних стихов о Кремле больше, чем зубцов на его башнях.

Ритм в стихотворении не размер, а темперамент строки.

Обращайте внимание на температуру стиха. Пусть будет хотя бы 37 градусов. Только 40 градусов не надо. Получится бред.

Написав стихотворение, подумайте, с чего начать его.

Прелесть таланта в том, что он делает то, чего я не могу.

В ваших стихах издержки производства. Так и должно быть. Если станок не работает, нет и стружек. Работайте!

У молодежи всегда прет: «Смотрите, какой я интересный». А должно быть: «Какая жизнь интересная!»

Хорошо сшитый костюм — значит, не видно, как сшит. Вот как мой костюм. Поэт «шьет» не вообще на людей, а на хорошего человека.

Обычно говорят, что стихи нужно писать. Нет, их нужно лепить.

Инженер построил хороший мост. Он может построить еще тысячу таких же мостов. Но в поэзии это не так: в поэзии каждый мост — другой.

Без ассоциаций нет творчества.

Больше всего боятся смерти отсталые люди. Гениальные же пишут: «Брожу ли я вдоль улиц шумных».

Вы адресуете стихи одному человеку, а нужно — всему человечеству.

Я не занимаюсь преподаванием. Я высмеиваю недостатки. В разборе стихов только смехом можно выбивать недостатки.

Комбайн — современная машина, но он показан у вас как цветок. Можно, конечно, написать: «Вот ползет агрегатик, цветут васильки».

Комбайн — это серьезный товарищ. О нем нельзя писать идиллию.

Вы можете написать о цветке, и это будет революция, несмотря на внешнее спокойствие стиха...

Нужна поэтическая экономия. «Евгений Онегин», на мой взгляд, короче самого хорошего стихотворения любого из ныне живущих поэтов.

Не давайте в стихах таблицы умножения человеческих отношений.

Вы переговариваете, а надо недоговаривать.

Допустим, что я бурильщик. Дошел до нефти. Зачем я буду бурить дальше уже ненужный пласт? А вы это делаете...

Наша беда в том, что чужие недостатки мы считаем своими достоинствами.

Вы хотите удивить меня чужой биографией, а не богатством своей души.

Ваши стихи рассчитаны на чувствительность, а не на чувство. Они сентиментальны, примитивны. Вы не сумели подать тему, пытаетесь разжалобить читателя самими фактами, а не глубиной образа.

«Разлилась душа, как Волга» — банально, штамповано, как трамвайный билет.

Банальность — это дутая гиря, с которой клоуны выступают в цирке.

«Сердце мое — вулкан» — не надо. Это гипербола для командированных.

Вы копаете лопаточкой по поверхности. Нужна глубокая вспашка лопатой, пусть даже не квадратно-гнездовым способом.

Керосин вырабатывают из нефти, а вы вместо этого покупаете его в лавке.

После вашего стихотворения я чувствую себя так, словно бесплатно прокатился в такси.

У одного художника спросили: «Почему на вашей картине только машины?» — «Машина, — ответил он, — заменяет тысячу человек». Можем мы согласиться с ним? Нет!

В ваших стихах только крылья самолета, вещмешки, запчасти, и... нет человека.

Беру одну строфу из вашего стихотворения:

Тогда хочу я криком стать,
Себя призывом расплатать,
Все чувства слить в одну строку:
О люди, будьте на чеку!

Смысл получается угрожающий: «Будьте, люди, на чеку, или я стану криком».

«И взглянет виук его глазами...» Что-то не совсем ясно. Чей он виук — мой или его? Видимо, бабушка в молодости согрешила.

Слова у вас как отдельные существа: висят впереди мысли, они затемняют мысль.

Надо, чтобы в стихотворении была атмосфера сегодняшнего дня и сегодняшних людей.

Вы пользуетесь фольклором, но не осмыслили его. Нельзя просто повторять фольклор. Фольклор — это кладовая, из которой нужно брать для сегодняшнего дня.

Ваше стихотворение похоже на старинный пятак — такое большое, а ничего нельзя на него купить.

Выкиньте из стихотворения «сплин». У нас ни в одном магазине не продают этого товара.

«Нельзя стрелять сразу из трех ружей. Надо стрелять в одну мишень (о чересчур длинном стихотворении)».

«Пленительный, нежный шепот любви» — такое впечатление, будто вам двести пятьдесят лет. В бабушкином платье собираетесь на молодежный фестиваль. И по мысли здесь нет стихотворения. Чем я обогатился? Абсолютно древним лексиконом и еще одной историей о том, как он наслаждался ею и дал деру. Вы говорите, что этот лексикон — традиция восточной поэзии... Мой отец болел туберкулезом, и я болел. Это не традиция.

Ваша стихи о любви — это асфальтированное шоссе с однообразным пейзажем. Туристское отношение к любви.

«Песня моя подойдет к губам твоего сердца» — плохо. А что будет, если песня подойдет к затылку сердца?!

Вы пишете: «Зефир твоей любви». В прошлых веках зефир был воздухом, а в наш век стал кондитерским изделием.

«Улыбка раздвигает губы». Это все равно что сказать: «Мои веки смыкают яблоко глаза».

У вас неопытность поэтическая и жизненная. Поставьте себе сверхзадачу: вот я сел за стол, и вот какое богатство я предложу читателям. Вам сколько лет? Восемнадцать? Не отчаивайтесь, вам жить еще шестьдесят два года.

«Баллада о промахе» — заголовок плохой. Такой же, как если бы вы придумали «Балладу о снижении цен». Баллада — это непрерывное действие. Если есть такая строчка: «Обрывки обоев качает сквозняк», — то баллады уже нет.

У вас балладность мешает, теснит чувство, словно у стиха тесный воротник. Вода в термосе теплая, но сквозь термосную оболочку вашего стиха я не чувствую тепла.

Мне кажется, что вы использовали порочный размер. Важно, в какую одежду вы оденете стихотворение. Если я к вам приду на семинар не в костюме, а в шотландской юбочке, вы удивитесь!

В стихах нужна живая плоть. Может быть, вы живете на чердаке, где есть запыленный Надсон или Бальмонт?

У меня от ваших стихов такое впечатление, словно я иду в театр не с женщиной, а лишь с ее платьем или ем нарисованную колбасу. Вы увлекаетесь дактилическими рифмами. Этими рифмами вы не удивили не только меня, старика, но и моих молодых слушателей... «Господи, господи — тоже не пес, поди», — я восторгался этим. Нужно ловить не дактилические рифмы, а жизнь, выработать вкус.

Художник — индивидуальность. Если нет индивидуальности, ты просто один из печатающихся граждан. Не спешите печататься. Не идите по этому пути. Идите по пути риска.

«Я вижу в рассказе несколько концов, из них следовало бы выбрать один, чтобы была недосказанность. Казаков будет



Видят же души, «Мозаика», «Карабона»
 Такая в творчестве его пора была,
 Иная, ведь, к нему придет пора
 И ясно стих скользнет из-под пера!

А. Вознесенский.

талантливым прозаиком, но у него еще нет поэтической экономии. Когда в борщ кладут много сметаны, не видно капусты... У Казакова диапазон должен быть шире». (О рассказе Ю. Казакова «Дым».)

Поэтическая работа — сплошь сомнения.

Ваши стихи страдают литературщиной. Вы пытаетесь «накачивать» поэзию в стихи.

Вы часто употребляете слово «люблю». О любви нужно писать конспиративно. Вместо слова найти суть... Избегайте износившихся слов — этого восточного рахат-лукума. Иначе вы будете молодой древностью.

«Огненное вино» — черт побери! Где достают его?!

А вот строка, которая так и просится на пародию:
«Зачем меня ты, Маша, посылала?» Сразу хочется добавить: «За четвертинкой в магазин».

Кто-то из вас сказал, что в стихотворении есть одна хорошая строка... Дайте мне шестьдесят коммат, я буду жить в одной. Но это не стихотворение, если я буду жить в одной строке.

Душевное богатство поэта — это не сберкнижка, с которой списываешь, это сберкнижка, на которую все время вкладываешь.

Талантливому человеку всегда высказываешь множество пожеланий, а человеку бесталанному — единственное пожелание: не писать.

Как можно оценить и передать чужую печаль или чужую радость? Только перенеся их на себя.

Много написать — нетрудно. Мало и хорошо написать — трудно. Много и хорошо — идеал.

Когда-то я видел на экране Веру Холодную. Весь зал рыдал. А спустя много лет я побывал на вечере старых фильмов. Когда Вера Холодная умирает, в зале дикий хохот... Эстетические нравы меняются...

Нужно быть интересным собеседником или уметь интересно молчать. Быть талантливым человеком, самим собой в поведении, в общении с другими — это тоже очень отражается на стихах.

Обращайте внимание на свою сущность, будьте талантливыми людьми, а не только поэтами.

Если говорить о задачах искусства, в частности поэзии, то мне кажется, что Ромео и Джульетта должны быть не менее талантливыми людьми, чем сам Вильям Шекспир. Что это значит? Это значит, что люди, которых создает поэт, получают права гражданства, хотя этих людей до нас и не было. Так Ярослав Смеляков создал «Девочку Лиду».

Поэзия в первую очередь непосредственность. Против «Строгой любви» Ярослава Смелякова никто не может возразить, потому что у него великое качество — непосредственность.

Вы все знаете песню, где ее героя «парни снабжали махоркой». В этой песне показано не только то, что происходило и что происходит, но ясно видно и что произойдет. В ней — считанные строки, но запоминается она на всю жизнь. Это искусство.

В композиции большую роль играет соразмерность каждого члена организма. Поэма — это живой организм: ей нужны голова, шея, торс, ноги.

Единство темы — хорошая вещь, но до тех пор, пока она не становится надоедливой. Если в этом единстве нет переливов, то все стихи будут звучать как одно бесконечно длинное стихотворение.

От чувствования до чувства — грандиозное расстояние, хотя они кажутся рядом.

Прозанизм, введенный в стихотворение, должен звучать в ряду поэзии, а не как случайно подслушанное слово. Прозанизм в поэзии — это ее подъем, а не спад.

Есть люди, которые любят коммунизм в себе. И есть люди, которые любят себя в коммунизме. Это надо различать. Тот поэт, который хочет, чтобы ему было хорошо, не стоит полкопейки.

Творчество — мучительный процесс. Таким же оно будет и в золотом веке коммунизма.

Слушаем соло ветров...

Если «ветров», то это уже не соло.

Сердце бьется, как колокол...

Если бы мое сердце билось, как колокол, у меня был бы инфаркт.

Угломонились в барачных сумерках
Такие ж, как он, сыновья, оторванные от матерей.
Только и слышно, зуммер как
Выговаривает: точка... точка... тире...

Очевидно, вы обрадовались необыкновенной рифме: «сумерках — зуммер как». Но ведь Минаев делал такие рифмы не хуже Маяковского, а поэтом все же был маленьким.

Я был в тот вечер светлоглазым...

А в другой вечер каким вы были?

И весенней радугой смеется
Вымытая рожица окна.

Если бы вы написали так все свои стихи, им не было бы цены!

У нас часто говорят с Маяковским языком Маяковского, а Маяковский не стал бы слушать. Как только я вижу стихотворение, написанное под Маяковского, я перестаю читать это стихотворение. Зачем мне сто плохих Маяковских, когда есть один хороший.

Я понимаю, как сейчас волнуется Метаксе*. Но полагаю, что оснований для беспокойства у нее нет. Диплом она защитит. А вместе с тем радуюсь, что она волнуется, потому что волнение — первый признак молодости, и это вполне нужно перенести в стихи.

Я с ней занимался несколько лет. Много горя она хлебнула от занятий со мной. Дело в том, что у меня свой метод воспитания молодого поэта. Когда говоришь ему, что это можно, а это нельзя, то он чувствует себя школьником, внимательно смотрит на тебя, но не воспринимает.

Мне думается, что самый лучший способ воспитания — это высмеивание недостатков, преувеличение их. Тогда видна каждая клеточка этих недостатков.

С Метаксе произошло то же самое. Когда она увидела свои недостатки в преувеличенном виде, она сделала скачок и начала писать гораздо лучше.

* Метаксе Погосян — поэтесса.

Считаю это своим достижением. Откуда я взял этот метод? Ко мне Маяковский относился хорошо, но если бы вы знали, как он высмеивал меня! И мне все становилось ясным.

Опыт своего учителя мне хотелось передать своим ученикам.

Что осталось у Метаксе не сделанным? У нее есть так называемая краснота чувств, которая сильно мешает. Она часто бумажные цветы любви поливает одеколоном и думает, что так пахнет любовь. Это неверно...

Очень трудно понять естественный запах природы человека. Для этого надо быть мастером. Метаксе еще не мастер, хотя и достойна диплома.

Она еще не понимает, что воздействие искусства на жизнь происходит длинным путем, а не прямым попаданием. Метаксе еще неопытный, хотя и, безусловно, способный человек.

Если идти только от потребительского значения литературы, тогда нам нельзя было бы издавать Достоевского, — начали бы подражать Раскольникову, и в Советском Союзе не осталось бы ни одной живой старухи.

Значит, Метаксе нужно научиться всесторонне освещать жизнь, а не одним прямым светом...

«Я тебя люблю», — говорят тысячи лет. Но это не значит, что нужно перестать любить или перестать говорить это. Но это нужно сказать так, чтобы было видно, что ты поэт. Это я и говорю как напутствие молодой поэтессе Армении.

Товарищ Р-ский диплом защитит. Но у него есть много опасностей. Когда поэт что-то говорит, то люди узнают новое, биографию того или иного человека или еще что-нибудь.

Р-ский сразу хочет получить результаты. Он не понимает, что они приходят, когда человек много переживает, много работает. Р-ский увлекается красотой...

У меня дома двести книг молодых писателей. И многих из них я не читаю. Не хочу, чтобы так случилось и со стихами Р-ского. Хочу, чтобы он был не тем человеком, который может состряпать книжку, а тем, который может стать властителем дум. Для этого нужно много перемучиться, а он не любит мучиться...

Мне один переводчик как-то сказал: «Искусство — это уме-

ние ходить по лезвиям». Некоторые же не любят ран, а любят ордена.

Советую вам, Р-ский, стремиться к тому, чтобы мир входил в вас, а не вы — в мир...

Вы владеете текстом, но не владеете подтекстом. Когда мы читаем: «И звезда с звездою говорит», — вы думаете, что идет собрание звезд?

У вас сказано: «Где зелень оттеняет мрамор», — это же рядом лежит. Если бы я писал каждый день такие стихи, то легко зарабатывал бы большие деньги.

Есть у Р-ского действительно хорошие вещи... Надо работать для людей, а не для себя. Я хочу, чтобы Р-ский огорчился сегодня, — это для него самое лучшее лекарство и для меня тоже. Результат достигается очень трудным путем, а не асфальтированной дорогой.

При полий мой благожелательности к вам, Р-ский, мне кажется, что вы недостаточно серьезно относитесь к своей работе. Мучительная дорога вам незнакома. Сельвинский вас перехвалил, я переругал. Думаю, что вы найдете середину.

Вы, Р-ский, написали хорошее стихотворение, но неизвестно, напишете ли вы такое же завтра. Надо, чтобы все были Лермонтовыми. Если мы будем исходить из этого, тогда у нас будет поэзия.

ВСТРЕЧА С ДРУГОМ

Печать времени — самая неизгладимая печать. Ее никак нельзя ни заменить, ни стереть. Исходя из этой аксиомы, я внимательно всматривался в Ручьева: намного ли он постарел с тех пор, как я в последний раз читал его стихи? Нет, не постарел. Внешне он несколько изменился (да и то, мне кажется, к лучшему), а как поэт — несомненно помолодел. Это всегда бывает с поэтами, когда они начинают писать совсем хорошо. Двадцатипятилетний Лермонтов, нам кажется, куда моложе, чем двенадцатилетний.

Чем Борис Ручьев так обрадовал меня и моих товарищей по ремеслу? Он в полной мере раскрыл себя, и мы яснее ясного увидели, что перед нами очень богатый чувствами поэт, умеющий отделять зерно от плевел, умеющий простыми

средствами создавать непростые вещи. А это самое трудное в поэзии.

В противоположность некоторым другим поэтам он не страдает убожеством мысли. Он не пишет: «Если понадобится, я отдам за тебя свою жизнь», «площадь знамена полощет», «понад Волгой тучи мчатся», «в бездонных глазах любимой» и т. д. В таких случаях и думать не надо. Зашел в магазин, купил несколько рифмочек и пару размерчиков, и вот тебе готово стихотворение.

Борис Ручьев не принадлежит к этому племени легко пишущих, или, вернее, легко переписывающих поэтов. Пока его мысль не станет своей, ручьевской, он ее не переплавит в слово. Вот как он, например, пишет о Родине в одном своем великолепном стихотворении:

Она приучит к радостям и бедам,
сама одежды выдаст по плечу,
она прикажет —
я живу медведем,
она велит —
я соколом взлечу.

Я выдам читателю сразу всю порцию цитат, чтобы к ним больше не возвращаться. Большой писатель как-то сказал, что сначала поэт пишет просто и плохо, затем сложно и тоже плохо, а побеждает тогда, когда пишет просто и хорошо. Борис Ручьев подошел к третьей, заключительной стадии. Вот его рассказ о том, как он впервые попал в забой:

Как же ты такие годы прожил,
столько гор и речек пересек,
на героев вовсе непохожий,
очень невеликий человек!

И тогда я в первый раз — не скрою —
не ученый тяжкому труду,
думал я, что где-нибудь в забое
от разрыва сердца упаду.

И еще одна цитата из другого стихотворения:

Будто между нами нет прохожим места,
волосы седеют, а любовь жива.

ТЫ



**ПОДПИСАЛСЯ
НА «ДОБРОВОЛЬЦЕВ»?**

*Кодяку за такую тямку
И ситам ба дидидамбаг пезо,
Когда б он взял свою пенку
И туринда сократил на трейб.
М. Свечин*

Е. Долматовский.

Будто ждешь, как ~~девушка~~, любишь, как невеста,
терпишь, как солдатка, плачешь, как вдова...

Правда, это хорошее стихотворение испорчено банальным и сентиментальным началом (да и размер кажется несколько убаюкивающим):

У завода город, а меж нами речка,
а над речкой домик с рубленным крыльцом...
Если затоскуешь, выйдешь на крылечко...

Не понимаю, как это такой зрелый и талантливый поэт, как Борис Ручьев, мог так начать стихотворение. Это все равно что поднести любимой букет своей бабушки.

Но все это легко исправимо — у Ручьева достоинств куда больше, чем недостатков. Его стихи не залеживаются на полках. Они приносят радость читателю и самому автору.

1959

КОРОТКИЕ МЫСЛИ

Я отлично понимаю всю опасность такого названия статьи. Это вкуснейший хлеб для пародистов. Так легко играть на понятиях «длинный» и «короткий». И тем не менее я иду на риск. Дело в том, что мои разрозненные и потому короткие мысли могут помочь талантливому человеку создать из наших литературных задач стройную систему.

Первая скорость. Это самая сильная скорость. Она двигает машину с места. В нашем деле первая скорость может стать последней. Я не Бернард Шоу и не стараюсь говорить парадоксами. Постараюсь это доказать.

Из всех написанных мною стихотворений самое ненавистное мне — это «Гренада». Такое впечатление у многих, что после нее я ничего не написал. Такие же переживания были у Маяковского после его «Облака в штанах». Он жаловался мне на это. Я тогда мало что понимал в биографии стихотворения.

Я уже и устно и в печати много рассказывал о возникновении «Гренады». Я не полениюсь сделать это еще раз.

Там, где сейчас помещается театр имени Станиславского (бывшее кино «Арс»), во дворе находилась гостиница «Гренада». Я увидел вывеску, и во мне зародилась шальная мысль — хватит мне этой назойливой «ндейности» МАПП, РАПП и ВАПП, напишу-ка я серенаду. Но в трамвае по дороге домой мне стало жаль тратить время на пустяки. И тут на меня нахлынули воспоминания. А воспоминания — это не наколотые в гербарии мертвые бабочки, это живые бабочки, которых тебе не всегда удается поймать. И я вспомнил всех тех китайцев, латышей и венгров, которых я встречал во время гражданской войны. Ни с какими испанцами я в то время не был знаком. А куда я дену такое заманчивое слово «Гренада»? И я мгновенно понял, что национальность здесь не имеет никакого значения. Важен интернационализм. Перед моими глазами прошли паренки разных национальностей. Не все ли равно, будут ли один из этих паренков китайцем или испанцем, если люди нуждаются в свободе? Оставался только технический процесс — написать стихотворение. Вывеска «Гренада» стала первой скоростью этого стихотворения.

Одного примера мало для доказательства. Приведу второй.

Очень долго за мной волочилась рифма: «излучина — изучена». Я не знал, в чем заключается соединяющая их диалектика. И вот в войну, когда я приехал домой, как говорится «на побывку», подруга моей жены показала мне крест, снятый с груди убитого на Дону итальянца.

Разве среднего Дона излучина
Иностранным ученым изучена?

Стихотворение было готово. Итальянцы воевали против нас на Дону, я — участник войны, и мне все сразу стало ясно. Рифма стала первой скоростью этого стихотворения.

Сейчас я, как и обещал, стану говорить импрессионистски, то есть показывать нашу работу разрозненными, но неизвестно как и почему связанными пятнами.

Я хочу поговорить о противоположности и о схожести площади и мишеней.

Можно днями и ночами декламировать свою любовь к коммунизму. И «ах, как было плохо» и «ах, как будет хорошо»!

Это будет стрельба по площади — куда ни пальни, все равно попадешь в будущее. А вот, когда я вижу одного, от силы двух пенсионеров, у которых обеспечена старость, это стрельба по мишени. Само собой разумеется, что я говорю о стрельбе не как об уничтожении, а как о предмете точного попадания художника. Художнику не нужен целый океан, а нужна только капля воды, которая принадлежит океану.

Но тут нас подстерегает другая и очень большая опасность — мы можем происшествие принять за событие. Это страшно для писателя. Мы можем злость принять за гнев, сентиментальность за любовь, демагогию за искусство. Разве мало нам приходилось встречаться с такими явлениями? От всего этого нам остаются только горькие воспоминания.

Вот я получил, как делегат съезда, напечатанные доклады наших республик. Это было сделано с благой целью — чтобы мы не гуляли по фойе во время этих однообразных докладов. И если бы не разные фамилии, то, скажем, Эстонии никак нельзя было бы отличить от Азербайджана. Тут вступает в силу стрельба по площади. Нужен не вообще коммунизм, а человек, вступающий в коммунизм. Беда наших театров заключается в том, что артисты чаще играют идею, чем человека, несущего эту идею. Идею «играть» нельзя, можно играть только человека.

Тут я приступаю к самому главному — любой наш съезд должен быть производственным совещанием. Когда в Кремле собираются колхозники, они говорят о конкретных способах повышения урожайности, когда собираются металлурги, они говорят о точных методах повышения производительности труда, а мы что, будем изощряться в нашей преданности? Маловато это для нашей высокой профессии. Пусть каждый советский писатель точно и конкретно передаст свой опыт — и все свои ошибки, и все свои достижения на очень трудном пути. Я мечтаю о таком съезде. Доживу ли я до него?

Меня несколько удивила статья Ильи Сельвинского о тактовом стихе. Я об этом никогда не думал и, клянусь, думать не буду. Мысли об этом меня не беспокоят. Моя задача — достигнуть непосредственного общения с читателем. Можешь ходить хоть на голове, и если твой голос снизу лучше звучит, то ходи на голове. Не касается ли это тактового стиха?

Меня часто упрекают в том, что я больше каламбурю, чем доказываю. Я отбрасываю от себя это обвинение. Я считаю

самым правильным способом излечения от недостатков — это или осмеяние, или гиперболизация их. Если мы будем бояться преувеличения недостатков, то мы должны отказаться от применения микроскопов в Советском Союзе — самые злостные микробы они увеличивают в сотни раз.

Еще я хочу сказать несколько слов о положительном герое в нашей литературе. Когда ты его представляешь своему читателю, ты не думай о том, положительный он или отрицательный, ты его видишь. Когда ты пишешь, твой письменный стол должен стать плацдармом, на котором сражаются человеческие интересы. А как только ты начинаешь задумываться, как сделать своего героя на шестьдесят процентов положительным, а на сорок процентов несколько худшим, ты перестаешь быть близким своему читателю. В стихотворении ты не развешивающий продукцию продавец, ты творец. Мы не младенцы, мы не должны бояться удара по темечку — оно у нас уже давно заросло.

У меня сейчас двойное любопытство — напечатают ли эту мою статью и как к ней отнесется читатель, если ее напечатают и главным образом как к ней отнесутся мои товарищи по ремеслу. Если я даже хоть на десять процентов прав, то остальные девяносто процентов возьмут на себя остальные члены Союза советских писателей. Нас много, почти столько же, сколько читателей.

1959

ПАМЯТИ ДРУГА

Когда останавливается сердце друга, кажется, что и твое сердце вот-вот замрет. Это я остро почувствовал, когда пятнадцать лет назад вышел из госпиталя и узнал о смерти Иосифа Уткина.

В чем была его прелесть? В том, что он мог мягко, осторожно и доверчиво положить руку на плечо читателя, не уговаривать, а убеждать его. Убеждать в том, что человечество обладает великим здоровьем, несмотря на временные болезни.

Благородство — вот постоянный спутник Иосифа Уткина.

И вторым его спутником было обаяние.

Его жизнь оборвалась, но, сколько бы поэт ни жил, он всегда был комсомольцем. Пусть это звучит несколько выспренно, но он был пророком хороших чувств, и поэтому мы все дружили с ним.

Мы читаем его неопубликованные стихи, и создается чуть ли не мистическое ощущение — умерший поэт заговорил. И хочется поверить в то, что он никогда не умирал. Наследство, которое он оставил нам, заключается не в капитале, а в простой обыкновенной фразе: «Продолжайте дело, которому я отдал всю свою жизнь».

И мы будем продолжать.

1959

ВСТРЕЧА СО СТАРЫМ ДРУГОМ

Там жили поэты, и каждый встречал Другого надменной улыбкой.

Александр Блок

Покровка, 3. Общежитие «Молодая гвардия». Мы, как и теперешняя молодежь, делили все население земного шара на две категории: «талантливых» и «бездарных». Бориса Ковынева мы причисляли к талантливым.

Со мной происходит что-то странное. Я собирался добросовестно разобрать последнюю книгу стихов Бориса Ковынева «Искусство полета». Я хотел, несколько не сумняшеся, перечислить все ее достоинства и особенно недостатки. Приятно перечислять чужие недостатки, забывая о своих собственных. Но я почувствовал, что рецензия может получиться слишком банальной, она может стать такой рецензией, которые печатаются в большом количестве, но которые нормальные люди не читают. Банальность, так же как сентиментальность, обязательна в любом художественном произведении. Но когда они, эти сентиментальность и банальность, становятся самим блюдом — это ужасно. Представляете — вы алчно поедаете горчицу, а сосиски только нарисованы на вывеске! Сыт не будешь.

Как же мне вести себя с человеком, с которым я провел свою творческую юность?

В голову лезут многие надоевшие фразы: «но книга не лишена недостатков», «автор уточнит свою идейную направленность», «надеемся, что следующая книга этого талантливого автора оправдает наши надежды».

И я нашел выход. Я перестану владеть пером, а начну ему подчиняться. Я предамся воспоминаниям и буду перемежать их вышеприведенными тремя фразами...

Первая фраза: «но книга не лишена недостатков».

У Бориса Ковынева была такая маленькая комнатка, что в ней мог разместиться только бездетный воробей. И тем не менее в ней собиралось много молодых поэтов. Думали ли мы тогда, что доживем до пятидесяти девятого года? Не думали. Мы себе казались тогда бесконечно молодыми. Может быть, это действительно так?

Шли день за днем, вечер за вечером, и мы постарели. Может быть, по-молодому похулиганить? Пятнадцать суток для таланта — секунда.

Вторая фраза: «автор уточнит свою идейную направленность».

Тут я хочу поговорить об очень важном. Если я сяду за стол с желанием написать что-то такое высокондейное, я или ничего не напишу, или напишу что-то очень плохое. Я обязан видеть, чтобы это увиденное возможно более точно передать читателю. Я не могу изобразить идею. Я хочу и, кажется, могу изобразить человека, несущего эту идею. И в этом прелесть моей профессии. Даже если я описываю простой булыжник, он обязательно должен быть одушевленным. Для меня нет предмета без души.

Боря! Это я обращаюсь к тебе. Ты такой же, как я.

Третья фраза: «надеемся, что следующая книга этого талантливого автора оправдает наши надежды».

Надеюсь, Боря, надеюсь! Все наши желания заключаются в том, чтобы успеть. Успеть доказать следующим за нами поколениям, что мы жили не напрасно. Что перспектива остается перспективой, что горизонт остается горизонтом, на какую бы вершину ты ни поднялся.

Цитат из тебя я приводить не буду. Противно. Я поступлю так, как однажды поступил Корнелий Зелинский, процитировав однажды полностью в одной своей статье мое стихотворение «Итальянец», которое нигде не печатали. Вот оно, твое великолепное стихотворение:

САПОГИ

Веселей, молоточки, трезвоньте,
Сыпьте в уши веселый горох!
На Каляевской,
В коопремонте,
Мы работаем до четырех.
Добродушно, нахмурившись бровью,
Лейтенант говорит:
— Помогли! —
И конечно, с особой любовью
Починю я его сапоги.

Это несколько похоже на Берамже, но все равно это тоже великолепно.

1959

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

Я сейчас провожаю в добрый путь товарища, которого никогда в глаза не видел. Как он выглядит и сколько ему лет? Наверное, он совсем молодой. Иначе кой черт мне провожать в добрый путь умирающего старца?

Милая фантазия, всегда сопровождающая меня в моих странствиях, приказывает мне: не будь только портретистом, увидь то, что существует за полотном художника. За полотном существует купейный вагон, проходит толстая дама, уверенная в своей никогда не существовавшей невинности, старичок с ребячьим лицом, пока что бесполезно ищущий общения, и два инвалида. Они оба без правой ноги. Но они, как диалектика, единство противоположностей. Один из них мрачно смотрит на меня: «Ты уцелел на войне, а я за тебя отдал свою ногу, которая мне удивительно необходима». Другой, наоборот, весело носит свой протез, как чайка крыло: «Техника так быстро шагает вперед, что скоро естественные ноги почувствуют себя такими же медленными, как трамвай перед ТУ-104».

Еще много людей находится в вагоне, но я не стану перечислять их, ибо могу забыть об авторе читаемой мной рукописи. А это, безусловно, талантливый автор. Для бездарности



Поэт
~~Он~~ живет в
лаборатории,
Как Еврипид в
медвежьей шкуре

И. Сельвинский

я бы никогда не стал так мобилизовать свою фантазию. Поскольку знакомый мне ответственный работник Союза писателей СССР заболел, фантазирую я, и отдал мне свой плакатный билет, я укладываюсь на вагонную полку рядом с Юваном Шесталовым, и тут-то и начинается рецензия.

Чем меня пленяет мой попутчик? Тем, что он удивительно легко бывает необыкновенным в обыкновенном. Значит, он, безусловно, поэт. Как вообще угадывается талант? Он может, я не могу. Значит, он талант. Разве могу я так написать:

Сосен мерзлый звон над нами
Слышится в тиши.
Стынут в теплой снежной яме
Три живых души.

Три души на белом свете:
Мама, я и пес.
Нам уснуть в попутной яме
Не дает мороз.

Самое сложное и трудное в поэзии, как и вообще в искусстве, — это быть естественным. Мастерство — это высшая естественность. Юван Шесталов, может быть, сам и не подозревая об этом, владеет таким мастерством.

Юван пишет на языке манси. Убей меня бог, если я знаю, что это такое. Я перелистал старое издание Малой Советской Энциклопедии. Там такого слова нету. Значит, это малая народность. Но когда этот поэт — представитель наших малых народностей — сидит рядом со мной, я горжусь талантливой дружбой наших советских народов.

Я бы мог еще привести цитаты из его своеобразных стихотворений, но фантазия властной рукой опять увлекает меня к пейзажу. Глубокая ночь. Мчится поезд. За окнами темно. Не разберешь, где осина, а где березы. Тем более что я и при солнечном свете могу их спутать. Я только знаю, что у березы кора белая.

Пассажиры не спят. Они слушают стихи Ювана Шесталова. Такая поездка у них не часто бывает. Далеко не всегда твоим попутчиком бывает талантливый человек.

Мчится поезд. В одном из вагонов едет поэт Юван Шесталов. Он увез с собой мое строгое мужское рукопожатие.

1959

ПРИГЛАШЕНИЕ

Спасибо вайнахам — чеченцам и ингушам — за то, что они пригласили меня в свою страну. Это не было официальным приглашением. Они меня стихами пригласили. Надо учесть, что я говорю «стихами», а не «в стихах».

Каким образом я узнаю качество книги? По манере приглашения. А книга — это всегда приглашение. Поэт приглашает меня в свой мир, на свою родину, к удивительно интересным людям. Идти в будущее всем нам очень интересно, а идти в прошлое невозможно. В прошлом можно только оставаться. И когда я читаю наших великих поэтов девятнадцатого века, мне кажется, что они пригласили меня в свой век, но с условием как следует прожить на своем веку с тем, чтобы достойно войти в будущий

И вот я прочел антологию чечено-ингушской поэзии*. Горы и долины. Я куда лучше знаю улицы и переулки. Но мне кажется, прочтя эту книгу, что я без проводника могу теперь одолеть любой перевал. Почему это? Потому что поэты меня пригласили.

Когда я читаю Пушкина, я вижу и угнетенный народ, и Николая Первого, и трагическую судьбу самого Пушкина.

Я никому не делаю комплиментов. До литературы девятнадцатого века нам еще довольно далеко. Я просто ратую за то, чтобы мы все хоть в какой-то мере приблизились в своем мастерстве к нашим классикам.

Мы читаем много книг — и хороших, и плохих. Хороших, естественно, меньше. Как бы меня плохая книга ни звала в гости, я не приду. Я лучше легкомысленно проведу время. А вот чеченцы и ингуши пригласили — да, господа, я уже у вас! Поговорим о вашей поэзии. Когда народ, только-только пришедший к письменности, пишет стихи, я хочу увидеть этот народ в трех измерениях — в прошлом, настоящем и будущем. В этой книге я нашел все три измерения. И сказания, и старинные песни, и современных советских поэтов, и даже крики новорожденных поэтов. Убежден, что они будут не хуже нас, а вероятно, значительно лучше.

Шестнадцать советских поэтов — чеченцев и ингушей. Чтобы хоть более или менее рассказать о них подробно, обсу-

* Поэзия Чечено-Ингушетии. Москва, ГИХЛ, 1959.

днить их творчество, понадобилось бы несколько номеров «Литературы и жизни». Следовательно, я говорю только об общем впечатлении. А оно самое отрадное. Шестнадцать чеченских и ингушских поэтов пригласили меня своей книгой в гости. И я чудесно провел время. Встреча друзей — это не только общий стол, это общие устремления. Я прочел эту книгу и обрел радость. Пусть мои новые друзья прочтут и мою книгу. Впечатление будет более слабое, но все же будет. Поэтому я их всех шестнадцать приглашаю к себе в гости, не считаясь с расходами.

1959

НЕСКОЛЬКО МОИХ СЛОВ О ВАЛЕНТИНЕ КАТАЕВЕ

Это никоим образом не критическая статья. Это несколько моих слов о молодости Валентина Катаева и о моей молодости.

Я в своей долгой жизни встречался со многими талантливыми людьми. Таланты бывали разные. Таланты бывали строгие. Видно было, что этот человек может сделать то, чего не может сделать другой, но меня к этому человеку не очень тянуло. Таланты бывали беспутные, и тогда я, как и мы все, очень сокрушался: господи! Сколько бы этот человек мог сделать! Таланты бывали так себе. Но их было так много, что я даже не могу разобраться в них.

Самым главным качеством в таланте для меня является его очарование. Именно поэтому я и люблю советского писателя Валентина Катаева.

Когда мы познакомились с ним, он был старше меня на семь лет. И, как это вам ни покажется странным, эта разница в годах сохранилась до сих пор.

В 1923 году (а может быть, несколько позже) к нам в общежитие комсомольских поэтов «Молодая гвардия» (Покровка, 3) пришел и познакомился с нами начинающий прозаик Валя Катаев. Он прочел нам рассказ «Нож». Очарование нельзя заработать, так же как нельзя заработать сердце, руку или ногу. Очарование может быть только органичным. Это его органичное очарование нас и покорило. Зерно его очарования, как мы в этом уже давно убедились, выросло в могучий колос.

Я себе даже не могу представить советского человека, не читавшего Валентина Катаева.

Добро может быть разным. Человек может быть добреньким. Таких людей я просто не выношу. Но когда добро активно, тогда создаются прогрессивные революции. Валентин Катаев — писатель активного добра. Весьма активного. Кроме того, я его давно-давно знаю. И поэтому моя любовь к нему увеличивается почти вдвое.

Я себе представляю, как он глубокой ночью продолжает своих бачеев. Он увлекся работой. И вдруг раздается звонок. Катаев неохотно поднимается: «Кто там?»

А это я звоню. «Отвори дверь, Валя. Пришел друг».

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В «Литературной газете» от 15 мая с. г. напечатано хорошее стихотворение Николая Асанова «Топографы». Оно, несомненно, принадлежит талантливому человеку, но, на мой взгляд, композиционно построено абсолютно неверно.

Дело в том, что стихотворение надо не только писать. Его еще надо лепить. Стихотворение начинается так:

Наставляя на своем,
Привыкнув с боем продвигаться,
Упрямо морем мы зовем
Все за отметкой «двести двадцать».

Начинается вредящая поэзии повествовательность. Нужно начинать непосредственно с действия, то есть с пятой строфы:

Туда ему везти сады,
Дома, сарай, лодки, бани,
И даже поле из воды
Невредно бы поднять заранее...

Читатель сразу заинтересовывается. А второй строфой надо пустить восьмую:

Который час, который день
Мы не слышали запах дома?

Готовят нам иочлег и сень
Мох да коряги бурелома...

Почему так необходимо соседство этих двух строф? Потому что таким образом создается цепная реакция мысли: мы переносим чужие дома и для этого на время разлучились с собственным домом. И только после этого можно перейти к первой строфе:

Настаивая на своем,
Привыкнув с боем продвигаться...

Абсолютно не нужна, я убежден, седьмая строфа:

Трехиогий наш теодолит
В своих стремлениях упорен,
Он навсегда определит,
Что скроется за новым морем.

Да ведь об этом говорится во всем стихотворении! Зачем обращаться к тексту, когда уже все ясно из подтекста? Две шен у одного человека, как бы они ни были красивы, все равно уродство. Как бы это ни было болезненно, надо удалить или отдать одну из них бесшеему человеку.

В последних двух строках:

Что ж, сообщи скорей, радист:
На карте ясен облик моря.

«Что ж» не нужно. Нужно непосредственное обращение «ты». И обязателен в конце вопросительный знак. Он придает автору беспокойство.

Все эти замечания я бы, конечно, мог высказать автору в личной беседе. Мы с ним друзья уже десятилетия. Но мне кажется, что это наше согласие или несогласие может принести некоторую пользу молодым поэтам. Поэтому я очень прошу ответ поэта напечатать рядом с этим письмом. Гонорар за это вновь напечатанное стихотворение мы с Колей Асаиновым получим сообща и поднимем тост за дальнейшее процветание нашей поэзии.

В ОТКРЫТОЕ МОРЕ!

Марат Тарасов талантлив. Доказать это нетрудно. Бывает, что, относясь хорошо к человеку, не желая его обидеть, стремишься быть к нему снисходительным и гуманным и, обливаясь потом, тащишь в гору то, что должно оставаться в долине. Доказываешь недоказуемое. Должен признаться, что и я иногда этим грешил. С Тарасовым этого делать не иужию. На каждом шагу в его книге «Малая пристань» попадаются отличные строфы. Он умеет не только увидеть, но и передать виденное. Передать со вкусом, с соблюдением «поэтической экомомии» и, главное, непосредственно общаясь с читателем.

В стихотворении «На карельской границе» всего три строфы. Приведу вторую и третью:

Чтоб недруг,
Хитрый и умелый,
Сюда во мраке не проник,
Здесь ночь иарочно стала белой,
Прозрачной,
Как лесной родник.
Но если враг к границе выйдет,
Сумеет обойти дозор,
Сама земля его увидит
Глазами тысячи озер.

Можно было сказать, как много раз уже говорилось, что часовые неизменно бодрствуют на наших границах, что враг не пройдет и т. д. и т. п. Свежесть восприятия и передачи, образность — вот в чем достоинство этих строк.

Много хорошего в «Малой пристани» Марата Тарасова: «Баллада о плавучем таране», «Вербовщик», «Служитель маяка», «Альбом» и другие стихи. Но я не ставлю своей задачей в газетной заметке показать и перечислить все то хорошее, что есть в этой книге. Мне хочется, чтобы поэзия М. Тарасова стала читателю не только полезной, но и необходимой. И если мой опыт сможет помочь поэту, охотно поделюсь им.

Повествовательность, не подкрепленная поэтическим темпераментом, делает стихи скучными.

Вон там стоит домишко, скособочась,
Он побурел и плесенью пропах.

Давно ль еще
В нем отдавали почесть
Лишь сундукам, что гнили в погребях.

Давно ль хозяин, властен и прижимист,
Не знал нужды ни в чем да и ни в ком,
И в нем жила звериная решимость —
Держаться от людей особняком.

Но как-то хворь скорежила старуху,
Он заметался, ужасом гоним,
Воззвал к святым — ни слуху и ни духу,
Позвал врача — и тот уж перед ним.

«Он заметался, ужасом гоним» — это для командировочных. У постоянных жителей поэзии это вызовет только улыбку. Что же соблазнило поэта? Ложная значительность. «Давно ль еще в нем отдавали почесть лишь сундукам, что гнили в погребях». Не проще — «почитали»? Но ведь «отдавали почесть» звучит «значительнее».

Сколько такой ложной значительности в книжках многих молодых поэтов! И строфы как будто плотно сколочены, крепко связаны, а тебе от этого ни тепло, ни холодно. Еще одна строфа. Из стихотворения «Вербовщик»:

Лучше правду дай без уверток,
Не боясь, что сердце остудит, —
Лес
людей уважает твердых,
Слабых духом любить не будет.

Во-первых, давно известно, что лес не любит «слабых духом». Во-вторых, в стихах уже столько раз «остуживали сердца», что это начинает иметь «промышленное» значение. И в-третьих, самое главное: о пустяке сказано таким значительным тоном! Дважды два — четыре снабжено «железным» ритмом и выдается за высшую математику.

Я считаю Марата Тарасова талантливым поэтом. Почему же именно на него я набросился со своими требованиями и упреками? Потому что, причалив к его «Малой пристани», вижу, что здесь занимаются малым каботажным плаванием. Уверенный в силе Марата Тарасова, я зову его в открытое море.



Он в узкой стоял нейтральной
 Он знает, в чем загада рыболова —
 Пусть же актовой пучило надела
 А рыбкой золотой сверкнуло слово
 М. Перов

К. Паустовский. (По картине
 В. Перова «Рыболов».)

Поэт должен не констатировать, а вести. И когда Марат Тарасов это усвоит, у него исчезнут стихи, подобные вот этим:

В твоих садах на юных кленах
Блестит вечерняя роса,
И всюду слышатся влюбленных
Взволнованные голоса...

Вместо того чтобы услышать, как и что говорят влюбленные, я должен утешаться тем, что их голоса «слышатся». Ветер должен быть пронзительным. И стихотворение тоже. Даже когда поэт притворяется очень спокойным.

Марат Тарасов способен сделать рывок, и он его сделает. Все данные для этого у него есть. Тогда хороший поэт станет близким читателю поэтом.

1960

ДРАГОЦЕННЫЙ СПЛАВ

Самое большое счастье для писателя — если его произведения станут знаменем поколения. Но если и его жизнь становится таким же знаменем, то и самый образ писателя становится близким, родным многим и многим людям.

Я был знаком с Николаем Островским, и мне до сих пор кажется, что до встречи с ним я не обладал некоторыми хорошими качествами, которые приобрел после встречи с ним.

Жизнь и творчество Николая Островского — это как бы сплав драгоценных металлов. Если кто-нибудь из вас станет писателем, старайтесь, чтобы и ваше творчество было так же тесно слито с жизнью.

Пожалуй, я вам не сообщу ничего нового, если скажу, что люди делятся на плохих и хороших. Я лично достиг уже почтенного возраста, но так и не выяснил — плохой я или хороший. Но я всегда делил людей на устремленных и неустремленных. И мне хотелось бы, чтобы устремленность Николая Островского сопровождала и меня и вас всю жизнь! Тогда ваша жизнь, ваш труд, ваше вдохновение будут интересны не только вам самим, но и всему народу.

1961

272

ДРУЖЕСКАЯ РУКА НА ПЛЕЧЕ

Под лирикой многие подразумевают рифмованное изложение чувств. В конце концов такого мастерства нетрудно добиться. Стоит только научиться хорошо подражать. А в искусстве можно подражать чему угодно, только не темпераменту. Вот почему все слепые подражатели Маяковскому и следа о себе не оставили.

Поэтический голос Льва Озерова мне всегда нравился. Это был тихий голос хорошего человека. А вот новая его книга «Светотень» * мне просто удивительно понравилась. Тридцать хороших стихотворений в одной книге — это очень высокий процент. Этой книгой Лев Озеров завоевал себе прочное место в советской поэзии.

Главное в книге — это ее точная афористичность.

Я брел по улице в мечтах
О сем, о том.
Я говорил себе: вот — свет,
А это — тень,
Дом, не наполненный людьми,
Еще не дом.
День, не наполненный трудом,
Еще не день.

И вся книга полна таких хороших раздумий. Я нашел в ней несвойственный ранее Озерову юмор. Пусть это только шутка — его стихотворение «Чттая классиков», — но она запоминается:

Сквозь пламень строк душа пропущена.
Ну, а царей-то помним много ли?
Из Александров — только Пушкина,
Из Николаев — только Гоголя.

Конечно, не эти стихи главные в книге. Главное в ней ясность мыслей и точность чувств. Нет у автора желанья быть оригинальным во что бы то ни стало. Мне приходится читать стихи многих молодых поэтов. Многие из них, убегая от банальности, убегают и от жизненной правды, и убегают они все в одном направлении, так что начинает казаться, будто все эти

* Лев Озеров, Светотень. «Советский писатель», 1961.

стихи написаны одним человеком. Если можно так выразиться, получается банальное убегание от банальности.

А вот что пленяет в Озерове — это естественность его интонации. Никакими фокусами он меня и не пытается удивлять. Он просто положил мне руку на плечо и повел меня, читателя, по всей книге. Это очень большое достоинство поэта.

В каждой книге хороших стихов скрыт свой, пусть небольшой, но конфликт. Это не обязательно конфликт между поэтом и людьми, это еще, может быть, конфликт разных душевных состояний. И тогда книге не грозит монотонность, она становится интересной читателю.

Чувства-друзья в книге Льва Озерова не надоедают нам своим однообразием. Скажем, «Зачем нужна земная ось...» отличается от «В мастерской скульптора». Чуть перефразируя Маяковского, можно сказать, что стихи в книге хорошие и разные.

Я поздравляю Льва Озерова. Его новая книга — огромный шаг вперед. Есть в книге отдельные нарочитые стихи и строчки, но я не стану останавливать на них внимание читателя.

1961

О СИБИРСКИХ ПОЭТАХ

Я очень внимательно прочел стихи сибирских поэтов. Как и в прошлый раз, когда обсуждался журнал «Сибирские огни», я и сейчас думаю, что сибиряки — это наши поэты первой категории. И я очень жалею, что все мои пометки на их рукописях пока что не реализованы. Нужен был подробный и продолжительный разговор, а получилась скомканная беседа.

И когда я председательствовал на этом собрании поэтов, я сразу все понял: подробно мы поговорить не успеем, и моя задача — создать такую атмосферу для сибирских поэтов, чтобы они этой атмосферой могли еще долго дышать. И поэтому я вел речь об общих задачах нашей поэзии, стараясь вместе с тем коснуться творчества отдельных поэтов.

Вывод в общем сводится к следующему: когда каждый из поэтов старается быть оригинальным, тогда эта оригинальность уже становится шаблоном. Сколько бы раз я ни употреблял слова: «кедрач», «мохнатый» и «сохатый» и в каком бы ракурсе я их ни показывал, словарь мой будет тождествен словарю

монх товарищей по ремеслу. И тогда меня не отличишь от других. Я не буду сейчас называть ничьих фамилий (я могу кого-то позабыть, и, главное, я говорю, предупреждая многих молодых поэтов), но я предупреждаю об опасности для поэтов общего словаря. Если язык обладает десятками тысяч слов, опасно эксплуатировать какую-нибудь одну-две сотни слов. Эта опасность угрожает многим поэтам, и, конечно, не только сибирским. И поэтому я, как говорится, «рыдая и лнуя», констатировал и одаренность этих поэтов и опасности, которые их подстерегают.

Еще не все сибирские поэты уехали. Оставшиеся в Москве, в частности Перевалов*, еще встретятся со мной для подробной и точной беседы. И после этой беседы я смогу более развернуто рассказать обо всех достоинствах и недостатках поэтов, с которыми я познакомился. Это послужит и на пользу молодым сибирским поэтам и на радость нашей бухгалтерии, которой надо же что-то прикалывать к своим официальным документам.

1961

ПИСЬМО ВМЕСТО РЕЦЕНЗИИ

Когда мне предложили высказать свое мнение об этой книге, я сразу увидел сноску в конце первого столбца: «Петрусь Бровка. «А дни идут...». Стихи и поэмы. Авторизованный перевод с белорусского Якова Хелемского. (Издательство «Советский писатель», Москва, 1961)». И я заскучал. Заскучал потому, что мне не хочется писать рецензию.

Дело в том, что я знаю и люблю Бровку сто лет. И я буду знать и любить Бровку еще двести лет. И меня и его это вполне устраивает. Вот почему я предпочитаю не столько говорить о нем, сколько говорить с ним. Это можно сделать в форме письма.

Дорогой Петрусь!

Я внимательно прочел твою новую книгу и задумался — что является главным в нашем ремесле? Рифма, образ, метафора? Уж, казалось бы, лучше и нет образа:

* Прочтено предположительно: фамилия написана Светловым неразборчиво.

Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

А между тем не это в Лермонтове главное. Главное заключается в том, что я беседую с ним спустя сто с лишним лет после его смерти. Значит, всякое искусство, будь это музыка, живопись или стихи, всегда беседа. Характерность этой беседы заключается в том, что все время говорит автор. Выслушав или познав его, ты имеешь возможность вдоволь самому наговориться.

Я тебя люблю за то, что ты умеешь беседовать. Будь ты в Полесье или в Америке, ты беседуешь со мной. Это драгоценный дар.

Ни к чему мне выдирать отдельные строчки из твоей книги. Это вот хорошая, а эта плохая. Я не редактор твой, а друг твой.

Ценность поэта заключается в его особенностях. Если все говорят звонким голосом, говори с хрипотцой. Но только твой голос не должен звучать, как простуженный. Это должен быть голос не много говорящего человека, а хорошо и убедительно говорящего. Когда ты говоришь:

Не хватало, конечно,
Тем стихам красоты,
Но внимал им орешник,
Подпевали кусты.
Над гнездом наклонясь,
Осененный сосной,
Добрым клетотом аист
Соглашался со мной, —

я сразу вижу тебя. Тебя, умеющего писать только хорошие книги. Тебя, который может завоевывать любую аудиторию. И я и мои друзья — русские писатели — убедились в этом, когда ездили с тобой по Беларуси.

Много, очень много хорошего в твоей книге. Главное в ней — это пульсация щедрого сердца. Это мое письмо к тебе еще и упрек Книготоргу — нельзя в нашей огромной стране издавать тебя только пяти тысячным тиражом.

Когда ты пишешь:

Росли мы... Дни текли за днями,
Окрепил руки, плечи, грудь,



Курсикову «валя и честь»!
Он, с критиками споря,
Свою покрововал курочку...
Ну, и бедноте он горю!

(По картине К. Флавицкого
«Книжна Тараканова».)

Омыты щедрыми дождями,
Утершись чистыми ветрами,
Мы выходили в дальний путь, —

мне кажется, что ты и меня имел в виду. Мы с тобой люди одного поколения. А вот когда ты пишешь: «Роща дремлет в тиши среди безжизненной хмури, но в глубинах души продолжается буря» — ты меня в виду не имей — я терпеть не могу банальностей. Но таких строк в твоей книге ничтожное количество. А общее впечатление от книги такое — как будто я сам ее написал. Такое впечатление должно быть у читателя от каждой хорошей книги.

Я желаю тебе счастья. Но я эгоист — я желаю себе того же. Будем жить и творить на земле и будем счастливы вместе со своими товарищами.

P. S. Еще я забыл сказать, что тебя очень хорошо перевел Яков Хелемский.

1961.

Э. МЕЖЕЛАЙТИС

1

Редакция «Дружбы народов» поручила мне написать рецензию на новую книгу стихов Эдуардаса Межелайтиса «Человек».

Пару лет назад я познакомился с этим человеком, и он мне удивительно понравился. И мне захотелось написать о его книге необыкновенную рецензию. Но есть ли на земле хоть один человек, который может сделать необыкновенное? Я с присущей мне наглостью взялся за это дело.

Как же мне приступить к самому началу этой задачи? Я несколько дней шагал и думал — с чего начать? В конце концов я решил создать рецензию-новеллу. Но для новеллы обязательно нужно препятствие. Иначе нет новеллы. Но не успел я придумать наскоро сколоченный забор, как преследуемый мною автор уже перескочил через него.

Идет прелестная погоня. Какие-то идиотские ледоходы мешают мне, какие-то ведьмы, которых уже нет в сказках, но которые все же продолжают настойчиво жить, какие-то водяные, которые уже давно перестали быть водяными, а стали банальными «гидро» и которые удивительно страдают оттого,

что они больше общаются с техникой, чем с людьми, какие-то русалки, проводящие бессонные ночи оттого, что они больше общаются с былинами, чем с людьми (собаки и слоны недаром тянутся к нам), — все это живое инстинктивно ненавидит мертвечину. И вот Эдуардас Межелайтис с живостью мотылька перелетает через плохо придуманный мною забор. А я преследую. Нет более вкусного чувства, чем преследование. Вот я столкнул с пути удивительно сильного человека (а слабого зачем же мне сталкивать?), вот я удаляю с пути героя современного фантастического романа, который только и создан для того, чтобы его было легко сталкивать, а вот идет очень больная старая женщина со странной фамилией — Поэзия. Первоначала мне показалось, что ее родители обладают очень дурным вкусом — как же можно назвать свою единственную дочку таким дурным именем? А потом я понял, что если всех людей, самых, самых бедных, лишит понятия «красивого», то начнутся массовые самоубийства. Как бы красивое не было некрасивым, нельзя лишать людей ощущения красивого (даже в их неправильном понимании). Я не могу без юмора. Скучно станет жить. Аббат Прево похоронил своего героя кавалера де-Грие где-то в пустыне. Кавалер де-Грие умер серьезно. Аббат Прево не мог заставить его улыбнуться, а я заставляю. Какой же ты герой, если ты не можешь перед смертью улыбнуться? И какой же я автор нужного людям классического произведения?

Эта книга стихов мне кажется тотовой только наполовину. Может быть, чуточку больше. Наряду с хорошими стихами попадают такие, будто они только что вынуты из дневника моей прабабушки. Чтобы вам яснее стала моя мысль, я сопоставлю два стихотворения.

Стихотворение, которое мне нравится:

Курсантам снятся
Атомные взрывы,
Курсанты просыпаются,
Чуть живы.
Ворочаются
Сонные курсанты,
Но нет команды,
Никакой команды...

Что мне нравится в этих четырех строчках, разбитых на восемь? Глубокий подтекст? Да. Здесь и обучение знаниям, кото-

рые, может быть, никогда и не придется применить, здесь и страх перед ядерной войной: «просыпаются, чуть живы», и здесь же я вижу взволнованных ребят.

А теперь приступим к стихотворению, которое мне активно не нравится:

Дочка не любит
Когда бородат я.
Дочка не любит
Новые платья.
Любит, чтоб щекн
Были гладкими,
Чтобы платья,
Были складками,
Чтобы я не ходил угрюмым,
Чтобы я о стихах не думал.

Здесь уже, по-моему, чистейшая графомания. Мало ли чего дочка не любит? Может, она не любит, что у меня ногти грязные или что я месяцами ног не мою? И вообще, что это за дочка, которая не любит, когда я думаю о стихах? Долой такую дочку!

Почему же все это происходит? Потому что у автора нет отбора явленной действительности. Увидит табуретку — и сразу ассоциирует: она когда-то была деревом, сосной, скажем, и росла среди подружек, увидит трамвай — и тут же напишет стихотворение о том, как далеко шагнула наша техника — есть уже межконтинентальные ракеты. Таким образом мысль течет по древу.

Почему я так резко говорю об этом? Потому что я имею дело с талантливым человеком. А когда у талантливого человека есть резко выраженные недостатки, то нужно не терапевтическое, а оперативное вмешательство. Строжайший отбор темы. И строжайший подход к ней. И понимание того, что ты делаешь что-то весьма необходимое людям.

Автор не соблюдает этих великих законов поэзии. Легкое настроенчество — и уже пишет стихи. Так нельзя. Наша профессия — профессия советских поэтов — может превратиться в пустячок. Стихотворение может возникнуть только в силу необходимости. И для поэта и для читателей.

Я процитировал только два стихотворения. Мне кажется, что этого вполне достаточно, чтобы выявить мое отношение к кни-

ге. Автор талантлив, но он идет на узде своих настроений. А здесь надо быть опытным жокеем и вовремя давать шенкеля. Вот почему редактор этой книги должен быть очень строгим, а сам автор должен быть еще более строгим.

Рецензия получилась короткой, но мы ведь с вами еще очень подробно поговорим на обсуждении этой книги.

2

Поэт бывает разным. Он может быть и трибуном, а может быть и собеседником. Я прошу никоим образом не рассматривать то, что я пишу, как рецензию. Не может же Межелайтис беседовать со мной, а я в это время буду читать ему рецензию на его новую книгу*. А эта его новая книга — беседа, а не трибуна.

Да и беседы бывают разные. Можно оживленно спорить, а можно и так говорить, будто ты сам выясняешь что-то для тебя очень важное и никого, кроме тебя, на свете нет.

Таким образом мы устанавливаем, что книга сугубо лирическая. И я, всей душой принимая Межелайтиса как поэта, все же хочу поспорить с ним о его лирике. До меня никак не доходит такая строфа:

Нет лиры у меня.
Но есть священный жребий
В просторе полевым,
Где росы так свежи,
Задумать песню о насущном хлебе,
Перебирая струны спелой ржи.

И «лира», и «священный жребий», и «полевой простор», и «струны спелой ржи» мне категорически не нравятся. Это какое-то очень недорогое зстетство. Ведь вот же те же «струны» через строфу звучат куда выразительнее:

Там белокрылый голубь над трубой
Взмыл и связал собой трубу завода
С необозримой высью голубой —
И дотянул струну до небосвода.

Тут я сразу вижу того дорогого мне Эдуардаса, с которым я так люблю беседовать за столом. Исчезает «изящное», и по-

* Эдуардас Межелайтис, Человек. Вильнюс, 1961.

является жизнь. Лучше некрасивое яблоко, которое можно есть, чем красивое, но нарисованное.

Я говорю об отдельных неудачных строчках Межелайтиса, как о своих собственных. Я это делаю только потому, что хочу обладать его достоинствами. Я очень люблю его глубоко человеческое отношение к жизни, я люблю в нем всегда присутствие советского поэта. И поэтому я к нему отношусь куда более требовательно, чем к любому другому поэту.

О, сколько вам песен пропето,
Валы океана!
Что нужно тебе от поэта,
Воли океана?
Зачем тебе рваться за мою
Дробить, словно остров,
И бить то высокой волюю,
То галькою острой?

Я очень хочу дружить с человеком, который умеет так хорошо чувствовать.

1961

ЕЩЕ ОДИН ОГОНЕК...

Таланты не находятся случайно. Таланты находятся в поисках. Как часто мы бродим по пустыням поэзии — и ни листочка оазиса! Со мной это длилось довольно долгое время, и вдруг я увидел теплый и приветливый огонек. Этот огонек горел в одиннадцатом номере журнала «Литературная Грузия», издающегося в Тбилиси на русском языке. Фамилия этому огоньку Чиладзе*.

Чем меня пленил этот молодой поэт?

Многие видят одно и то же. Но если обозреваемый предмет ты видишь точно так же, как твой читатель, то почему ты считаешься поэтом, а твой читатель таковым не считается? Если ты не подсказешь читателю точку зрения, угол зрения, если не заставишь его увидеть предмет по-твоему, то ты читателю окажешься просто ненужным.

Видеть одинаково умеют все зрячие. Поэт создает как бы

* Тамаз Чиладзе, из книги «Сети Звезд».

обновленне привычного предмета, он должен уметь присматриваться и рассматривать.

Этими качествами и обладает Тамаз Чиладзе.

Платаны подъема Петриашвили,
На мостовых была ваша тень.
Платаны подъема Петриашвили,
На стенах, машинных была ваша тень,
Но главное, то, что вы совершили, —
На платье любимой была ваша тень.

Стояли себе эти платаны на подъеме и все их видели одинаковыми глазами. Но вот пришел Чиладзе — и платаны перестали быть только деревьями, простыми деревьями.

Всем, самым главным моим деревьям,
Я посвящаю свои стихи,

В следующем стихотворении очень мне запомнилась энергичная строфа:

Я хочу твой портрет
Написать на века,
Напишу я его
И вслепую.
Я хочу, чтоб любая была строга
Вбита в звезды,
Как пуля в пулю.

А вот в концовке мне не понравилось следующее:

Я прошу вас, стихи мои,
Дети мои,
Вы звучите
И грозно и нежно.

Это старомодно. Такое впечатление, что к только что сорванным цветам поэзии Чиладзе прибавился мертвый, засохший букет.

И не надо было в очень хорошее стихотворение «О, как похоже море на бессонницу» вставлять этакое «нзъязычное»:

И море тоже
Плачется и стонется...

Может быть, в этом вина переводчика?

Тамаз Чиладзе — повелитель своих образов. Он подчиняет их своей мысли, и они на нее работают:

О, сказки, как они близки —
Толкутся, трогают за локоть.
Я пиво пью — и вдоль щеки
Летит их старомодный локон.

Обычно я, высказываясь о стихах моих товарищей по профессии, мало цитирую. В данном случае я изменил себе, но измена имеет свои пределы.

Я не могу, например, процитировать полностью великолепное стихотворение «Мост Ватерлоо». Мои комментарии к стихам выглядели бы тогда, как спицы в быстро вращающемся колесе, то есть их совсем не было бы видно.

Я познакомился с очень интересным поэтом. Теперь, что бы он ни написал, я буду стремиться прочесть.

Несколько слов о переводах.

Есть много противников «отсебятины». Я сам принадлежу к числу этих противников. Но когда индивидуальность переводчика сливается с индивидуальностью переводимого им поэта и когда эти индивидуальности превращаются в один художественный слиток, то разве можно возражать против этого?

И Евгений Евтушенко и Белла Ахмадулина хорошо перевели Чиладзе. Слиток получился неразделимый. Я узнаю своеобразие молодого грузинского поэта и своеобразие двух молодых русских поэтов. Только нехорошо, когда рифмуются «глине» и «другими» или «заморочь» и «заморозь». Это не рифмы, а только воспоминания о рифме.

А в целом и поэт и его переводчики на высоте. Я очень рад за них.

1961

ПОЭТ ЛИ ТЫ?

...В Отечественную войну в сорок четвертой бригаде служил разведчиком ленинградский мальчик Федя Чистяков. Это тоже не вымышленное лицо. Можете спросить о нем у моего друга — горьковеда Бориса Бялика. Он меня с ним познакомил.

В нашу армию прибыла с подарками делегация подмосковных текстильщиков. И Федя Чистяков влюбился в одну молодую

ткачиху. Я с ней познакомился и до сих пор не понимаю, за что ее мог полюбить этот необыкновенно чистый мальчик. Она была очень вульгарна. Как часто мы любим человека не за присущие ему качества, а за качества, которые мы наславляем на него. Чаще всего это бывает или в ранней юности, или в поздней старости.

Нам всем эта девушка резко не понравилась, и мы попробовали намекнуть Феде об этом. Он посмотрел на нас с такой ненавистью, что мы поняли: он не пожалеет истратить на нас весь заряд своего автомата. Лучше не вмешиваться. Вот как умел любить этот мальчик. Он был поэтом. Через дней десять мы его хоронили. Он был убит в неравном бою.

За два дня до его гибели, возвращаясь с передовой, я встретил его и его любимую. Они были на конях. И мелкие деревья, шумевшие вокруг них, и нависавший над ними закат были чересчур правдоподобными и казались нарисованными очень плохим художником.

Грязь в тех местах была непролазная. На сто метров болот — один метр суши. А вот впечатление чистоты благодаря Феде Чистякову у меня осталось.

Я вам уже говорил, что можно напечатать множество стихов и не быть поэтом. Доказательства тут никаких не нужно. Зайдите в любой книжный магазин — и вы легко убедитесь в этом.

Теперь я подхожу к самой сути моей темы. Кого же я считаю поэтом? И что нужно сделать для того, чтобы стать поэтом?

Возможно, что в моих словах будет звучать некоторая высокопарность, но это не страшно. Можно в иных случаях быть и высокопарным и сентиментальным. Важно только, чтобы эти два не совсем точных чувства не работали на обывателя. Так вот — я ценю не столько самый подвиг, сколько подготовку к этому подвигу. Подвиг может и не совершиться. Важно только, чтобы ты к нему все время готовился. Время подвига коротко, подготовка к нему длительна. Бывает и так, что подвиг совершается случайно. Подготовка к подвигу случайной быть не может.

Титов летел вокруг Земли немногим более суток. А неужели он только сутки готовился к своему подвигу? Ясно, что он провел длительную, упорную и удивительно талантливую подготовку. И несомненно, что он все это время был поэтом. И его

исторический полет был как бы изданием многих и многих исправленных черновиков.

Я развиваю далее свою мысль. Можно выполнять и перевыполнять план в любой работе и не быть поэтом. Во-первых, это можно делать в корыстных целях, во-вторых, исполнительность — это еще не талант. Без поисков ты только турист, с поисками ты открыватель.

Я утверждаю, что можно быть талантливым в любой области работы. Возможно, что я вам покажусь несколько парадоксальным, но я абсолютно убежден в том, что говорю. Можно ли быть талантливым кондуктором? Вам, наверное, такие не встречались, а мне такой встретился. Я несколько дней жил под его обаянием. Он с таким милым юмором и с такой доброжелательностью объявлял остановки, что Васильевская улица показалась мне венецианским каналом, а обувной магазин — собором Парижской богородицы.

К чему я призываю молодежь? Не к нарочитому стремлению быть обаятельным (это всегда противно), а к увлечению своим трудом, своей профессией. Таких молодых людей я, как член бюро, безоговорочно принимаю в секцию поэтов Союза писателей. Они, безусловно, поэты. И они, несомненно, веселые люди. И любят их не за какой-нибудь рассказанный анекдот, а за их увлеченное жизненное состояние.

Что же такое настоящее увлеченное жизненное состояние? В первую очередь это душевная щедрость.

А что же такое душевная щедрость? Можно не иметь ни копейки денег и быть щедрым. Можно иметь массу денег и быть скупердям. Все зависит от отношения к заработанным тобой деньгам. Собираешь ли ты их для приобретения какой-то не очень нужной тебе, но удивительно «изящной» мебели или для того, чтобы прокутить их в один вечер? Мол, я не хуже русских купцов первой гильдии.

И то и другое, на мой взгляд, отвратительно. О деньгах ты должен думать только тогда, когда ты их получаешь. Лично я счастлив не тогда, когда я получаю деньги, а когда их трачу. А когда я их трачу или как скупой обыватель, или как щедрый купец, я потом чувствую себя удивительно несчастливым. Что же такое деньги в моем понимании? Это подписанное министром финансов свидетельство о моем труде. А для чего я трудился? Не для мелких, но на первый взгляд очень красивых трат. Труд обязательно должен быть заметным, но деньги ни

в каком случае не должны быть заметными. Иначе получай ты хоть миллионы, будет такое впечатление, что все эти миллионы выдали копейками. Хоть грузчиков нанимай!

Я вот пишу эту статью и думаю: проверил ли я все это на себе? И счастлив ли я? Чем больше я думаю о себе, тем более я убеждаюсь в том, что я самый счастливый человек на свете. Как же я проверил это ощущение счастья? И вообще, что такое счастье? Я не страдаю обилием философии, но просто хочу, как бы сидя с вами за столом, рассказать вам о своем понимании счастья. Почему я счастливый? Потому что я абсолютно убежден в том, что когда люди меня потеряют, они загрустят. Значит, я для чего-то и для кого-то существовал. Значит, я был на земле не только прохожим, но я вел куда-то людей и что-то им объяснил. Значит, я был не насекомым, а человеком. Не надо мне памятников. Я весь, со всеми своими кровеносными сосудами, хочу быть всегда со всем человечеством. Не важно, что это не получилось. Важно, что я хотел этого.

Следует сказать еще об одной вещи. Речь идет о воспитании вкуса. Привитый тебе с самой ранней юности вкус определяет и твою профессию. И значит, он определит и твое поведение, и твое отношение к людям. И значит, в благоприятных условиях ты сможешь стать поэтом.

Вот о чем я, собственно, и хлопочу. Я хлопочу о том, чтобы молодой человек был интересным. Интересным не в данной компании и не в определенных временных условиях, а всегда и везде интересным.

Опять я перескакиваю на другую, казалось бы, очень далекую тему, но на самом деле очень важную для моей мысли.

Что такое пьяный человек? Пьяный человек — это человек, для которого не существует «завтра». Он должен все высказать сегодня. А завтра ничего не будет. Ни рассвет не поднимется, ни птицы не запоют, ни трудовые люди не выйдут на работу, ничего не будет. Только он, человек выдуманных «подвигов», существует. Видите, как все эти далекие, казалось бы, темы лежат близко друг к другу. Пьяный человек — это человек без подготовки к подвигу. Подавай ему подвиг на блюде! Можно назвать такого человека поэтом? Нет!

Что такое поэзия и что такое поэт? Поэзия — это в первую очередь увлечение настоящим делом, а поэт — это тот, кто по-настоящему увлекается.

Нет бездарных людей. Только нам, постаревшим людям, ясно, в чем они талантливы.

Я очень люблю фантазировать. И мне представляется большое собрание комсомольцев какого-нибудь предприятия и единственная повестка дня — выборы поэта. Может быть, даже какой-нибудь значок надо учредить для избранных.

Я убежден, что в коммунизме будут жить только поэты. Тогда все смогут быть поэтами. Очень вас прошу, мои молодые друзья, — если вы еще не поэты, станьте ими!

1961

Я ЗА УЛЫБКУ!

В деле воспитания я абсолютный невежда.

Было бы нелепо, если бы я стал преподносить некоторые доктрины в незнакомой мне области. Я могу просто поделиться с читателем некоторым своим жизненным опытом и рассказать о своих впечатлениях, а не о знаниях.

Так вот, я глубоко убежден, что первый и главный помощник воспитателя — юмор. Недостатки первым делом надо не осуждать, а высмеивать. Я не Песталоцци, не Ушинский и не Макаренко, моя специальность совсем другая, но я убежден, что в ребенке надо вызывать не страх наказания, а надо заставить его улыбнуться. Свойство всех детей — нарушать установленное. А если это нарушение показать в смешном и нелепом виде? Если показать ребенку, что он в своем нарушении не столько грешен, сколько смешон?

Приведу два примера из практики воспитания собственного сына. Однажды я вернулся домой и застал своих родных в полной панике. Судорожные звонки в «неотложку»: Шурик выпил чернила.

— Ты действительно выпил чернила? — спросил я.

Шурик торжествующе показал мне свой фиолетовый язык.

— Глупо, — сказал я, — если пьешь чернила, надо закусывать промокашкой.



Стинго, вояенье —
как первое
слово,
когда люди
еще не говорят

С тех пор прошло много лет — и Шурнк ни разу не пил чернил.

В другой раз я за какую-то провинность ударил сына газетой. Естественно, боль была весьма незначительной, но Шурнк страшно обиделся:

— Ты меня ударил «Учительской газетой», а ведь рядом лежали «Известия»...

Тут-то я и понял, что он больше не нуждается в моем воспитании.

Когда я говорю о воспитании юмором, я вовсе не имею в виду остроумие или анекдоты; я говорю о юморе с подтекстом, об удивительно радостном и добром отношении к жизни. Сколько мы прочли книг великих писателей, написанных в этой манере, и как они нам помогли! По крайней мере я на них воспитывался, и, кажется, неплохой человек получился.

1961

ПЕРВАЯ КНИГА ПОЭТА

Первая книга стихов Е. Винокурова* тепло встречена критикой и читателем. Так и нужно встречать молодого хорошего поэта — не оркестром и не официальными приветствиями, а дружески разговаривая с автором, радуясь его успехам, отмечая недостатки и беспокоясь о его будущем.

Постараемся в этом порядке разобрать книгу: 1) успехи, 2) недостатки, 3) будущее.

В книге есть яркие куски и отдельные стихотворения. Если бы вся книга была написана на таком уровне, мы бы уже имели первоклассного поэта. Целиком цитировать стихи не позволяют размеры этой статьи. Я приведу только несколько четверостиший. Они доставляют радость самому взыскательному читателю.

И каменщик над городским рассветом
Встал не спеша пред кладкою стены
И взял кирпич движением, воспетым
Известными поэтами страны.

(«Утро»)

* Евгений Винокуров, Стихи о долге. «Советский писатель», 1951.

Вот и солнце, соседи!
 В свежий утренний час
 Поднимаетесь вы,
 Распрямляете плечи свободно.
 Сколько глаз на земле выжидающе
 смотрят на вас!
 Чем великим вы мир удивите сегодня?
 («Соседи»)

Мир, поднимаясь, стяхивал дремоту,
 И с мощными руками за спиной,
 Собравшись к первой смене на работу,
 Друзья отца стояли надо мной.
 («Рождение»)

Коротко и выразительно написана «Русская природа».

Я не стану еще цитировать отдельные талантливые строфы и стихотворения. Хочу сказать поэту о том, чего он не знает или о чем только подозревает. Ему следует обратить внимание на две опасности, подстерегающие его.

Очень точная афористичность и подкупающая интонация (в полной мере свойственные Е. Винокурову), оставаясь без движения, начинают вянуть. Пейзаж в поэзии, как и в живописи, неподвижен. Но поэт обязан двигаться от пейзажа к пейзажу. В книге Е. Винокурова отдельные стихотворения похожи друг на друга не как брат на брата, а как портрет на оригинал («Пока есть в реках сила гнать камень» и «Я эти песни написал не сразу», «Уставы» и «Верность великому делу храня»). Пользоваться долго одной интонацией — это значит перейти на изживание к этой интонации.

И вторая опасность: слишком большая раздумчивость снижает активность. Можно ударить и не ударить, но пальцы должны быть сжаты в кулак. А в «Стихах о долге» видны отдельные растопыренные пальцы, очень хорошие строки не сопровождаются достаточной темпераментностью.

Е. Винокуров выпустил первую книгу, но о нем никак нельзя сказать, что это поэт начинающий. Можно сказать короче: это поэт. Кому много дано, с того больше и спросится. И читатель не устанет спрашивать.

С ДАЛЬНИМ ПРИЦЕЛОМ

Десять лет назад вышла первая книга Евгения Винокурова «Стихи о долге». Конечно, радуешься каждому новому вспыхнувшему таланту, но я лично больше люблю таланты разгорающиеся. И это побудило меня тогда написать первую рецензию на первую книгу молодого поэта.

Сейчас вышла новая книга его стихов — «Лицо человеческое»*. Она составлена из четырех вышедших за десятилетие книг («Стихи о долге», «Синева», «Признайя» и «Лицо человеческое»). А на самом деле это итог пятнадцатилетней работы. Передо мной в одной книге развернулась судьба поэта, его радости и огорчения, его большие достижения и небольшие срывы.

Конечно, и самому поэту стало многое и виднее и яснее. Но мне важно другое: верно ли я поступил десять лет тому назад, поверив в дарование нового для меня поэта, или, как это часто бывало со мной, ошибся?

Нет, я не ошибся. Сейчас мне еще больше, чем прежде, приятно видеть Евгения Винокурова в числе своих друзей по ремеслу, и если раньше у меня была только надежда на него, то сейчас у меня полная уверенность в нем.

Сейчас 1961 год. Стихотворение «Уголь» было написано в 1953 году. Как же за эти прошедшие восемь лет развивался и развивался талант чумазого мальчишки, показавшего в стихотворении? Для этого (прошу прощения у читателя!) надо еще раз внимательно его прочесть:

В работе не жалея сил,
Веселою весной
Я уголь блещущий грузил
На станции одной.
А было мне семнадцать лет,
Служил я в арtpолку,
Я в легкий ватник был одет,
Прожженный на боку.
Я целый день лопатой скреб,
Я греб, углем пыля.

* Евгений Винокуров, Лицо человеческое. «Советский писатель», 1960.

И были черными мой лоб
 И щеки от угля,
 Я запахом угля пропах,
 Не говорил, не пел,
 Лишь уголь мелкий на зубах
 Пронзительно скрипел.
 Когда ж обедал иль когда
 Я чай из бабки пил,
 То черною была вода
 И черным сахар был.
 С лицом чумазым, средь трудов,
 Я рад был той весие.
 Но девушки из поездов
 Не улыбались мне.
 Вдаль улетали поезда,
 Как в фильме иль во сне,
 Мелькнут, и только и следа —
 Дымок на полотие.
 Хотелось крикнуть что есть сил:
 — Постойте, поезда!
 Постойте! Я ведь не любил
 На свете никогда!

Только талантливый человек может так резко «поверить» стихотворение. Много мне приходилось читать стихов о таких чумазах мальчишках, и обычно эти стихи кончались тем, что бывший мальчишка становился сознательным и вполне благонамеренным человеком. А Винокуров как нельзя лучше «скоин-трастировал». Оказывается, это не умильные стихи о своей молодости, а стихи о первой любви, или, вернее, стихи о жажде первой любви. Мысль не катится по обычным рельсам, а грудью и плечами пробивает себе дорогу. Неожиданность поворота поднимает это стихотворение над многими другими, написанными на ту же тему.

Такие же тонкие и точные «ходы» мы заметим и в стихах «Акыны» и во многих других.

Первая и самая главная, мне думается, задача поэта в том, чтобы тебя было интересно читать. Читатель должен знакомиться только с таким поэтом, которого он никогда не спутает с другим. Винокуров принадлежит к числу таких поэтов.

Сейчас я перехожу к самому главному. Чем мне дороги и

чем нам всем дороги наши любимые поэты? Богатством своих чувств? Конечно, они потрясают нас этим. Но это не самое главное. Хорошие и интересные люди жили во всякое время, и, может быть, мы о них ничего не знаем. Тем, что они звали вперед? Но и любая кляча, еле передвигающая ноги, движется вперед. Много я знаю поэтов, таким несложным способом двигающихся в бессмертие. Вот почему я не доверяю поэтам, которые в миллион первый раз уверяют меня и других читателей, что они идут «к вершинам будущего». Это может понравиться только плохому редактору.

Я ищу в поэте совсем другое. Я ищу в нем одного из лучших представителей своего времени. Возьмем Лермонтова, Блока, Маяковского. Время видно в них, и они видны во времени. Предел моих мечтаний: когда-нибудь читатель, наткнувшись на мою книжку стихов, поймет не только меня, но и время, в которое я жил. А это может произойти только в том случае, если я дорогие нам всем лозунги буду не машинально повторять, буду носить не как носильщик носит тяжелый чемодан, а как солдат несет свое знамя. Даже в последние минуты жизни знамя не может стать тяжестью. И поэтому, как бы ни было тебе иногда тяжело, не перекладывай свое усталое состояние на плечи читателя. Короче, мы знаем и любим своих больших поэтов не только потому, что они гениальны, но главным образом потому, что мы видим и понимаем то время, в которое они жили. Историки констатируют, а поэты показывают.

Почему я с такими требованиями подхожу к Евгению Винокурову? Потому, что я сам вот уже которое десятилетие бьюсь, как рыба об лед, над этим. А раз он меня, требовательного читателя, навел на такие мысли, значит он поэт настоящий. Я бы мог, конечно, указать на отдельные неудачные строчки в его стихах (у кого их не бывает?), но задача моя на примере одного из моих любимых молодых поэтов указать на необходимость дальнего прицела. Иначе ты останешься поэтом местного значения. Их много. Стоит ли увеличивать их число?

Ясная душа Евгения Винокурова видна в его книге. Его цели мне ясны. Я могу опереться на его плечо. Хотя надеюсь, что и мое плечо не стало настолько трухлявым, чтобы на него нельзя было опереться.

ЛИРИКА ЕВГЕНИЯ ВИНОКУРОВА

Вот уже в третий раз я пишу отзыв о книгах поэта Евгения Винокурова. В первый раз я написал о его творчестве более десяти лет тому назад и поздравил нашего читателя с появлением нового талантливого поэта.

Затем, сравнительно недавно, весьма положительно высказался о его книге «Синевая». И вот сейчас постараюсь проанализировать его последнюю книгу «Лирика», большой однотомики (М, Гослитиздат, 1962), и постараюсь говорить не столько о самой книге, сколько об интересной сущности поэта.

Что же заставило меня трижды высказываться о нем? Я ни разу так не поступал. А вот что.

За мою долгую жизнь через мои руки прошли сотни книг молодых поэтов. Не все их авторы достигли многого, но некоторые шагают в первых рядах советской поэзии, уровень которой в наше время поднялся высоко. И естественно, повысился интерес к ней. На вечерах поэзии залы переполнены. Но я заметил в молодых поэтах одну особенность и постараюсь вам рассказать о ней.

Вы, наверное, видели силомер. На его циферблате четыре слова: «Слабо», «Средне», «Сильно» и «Очень сильно». В районе «Слабо» стрелка бежит с головокружительной скоростью. В районе «Средне» значительно медленней. В районе «Сильно» — почти незаметно. А достигнуть «Очень сильно» у человека чащеенько сил не хватает. А ведь кажется все очень просто — преодолеть всего лишь несколько миллиметров. Но вот на эти самые миллиметры не у каждого человека хватает сил.

То же самое происходит и с молодыми поэтами. По шкале «Слабо» они бегут взлупски, по шкале «Средне» — медленнее, но все же бегут, задыхаясь, взбегают на «Сильно», но преодолеть миллиметры, ведущие в «Очень сильно», далеко не каждый может. Вот почему у нас много хороших поэтов и сравнительно мало очень хороших. От этого многие книги стихов похожи друг на друга.

Я люблю Евгения Винокурова за то, что он уже довольно давно живет в районе «Очень сильно». Он ни на кого не похож. Многие молодые для того, чтобы быть непохожими, начинают фокусничать, жоиглировать словом, прибегать к необычной рифмовке (они рифмуют примерно «корова» и «кошка» только потому, что эти слова начинаются на «ко»).

Евгений Винокуров не такой. У него единый сплав мысли, чувства, мастерства и человечности. Для доказательства обратимся к самой книге.

В книге пять разделов: «Стихи о долге», «Синева», «Признания», «Лицо человеческое» и «Слово». У меня нет возможности привести хотя бы по одному стихотворению из каждого раздела. Это заняло бы очень много места. И я прибегну к еще не практиковавшемуся приему: приведу по одной строфе из каждого раздела. Причем не буду тщательно отбирать их, а буду действовать наугад. Это происходит от моего убеждения в том, что у Винокурова не может быть пустой строфы. Можете мне верить, я никого не собираюсь обманывать.

Из раздела «Стихи о долге» (тема войны):

Сейчас, сжав автомат в руках
И сдвинув брови с жесткой волей,
Стоит он, бронзовый, в веках...
Его мы звали просто — Колей.

Из раздела «Синева» (раздумья о жизни):

Шла девочка со мной
Когда-то, где-то,
Беспечная.
Мы плыли по реке...
Пять лет уже иочами до рассвета
Моя жена спит на моей руке.

Из раздела «Признания» (стихи о природе, о детстве, о любви):

Я все сумею вынести,
Лишь выстой
В те дни сама,
Спокойствие храня.
Одной лишь я страшусь,
Родной и чистой,
Слезы твоей.
Она убьет меня.

пушкинским. Я хочу, чтобы любой наш комсомолец вел себя так, будто рядом живет Пушкин.

Сто двадцать пять лет прошло после того, как мы потеряли Пушкина, но мне все время кажется, что Пушкин впереди. Пушкин — это непримиримая борьба со злом, это непобедимая талантливость во всем, что мы делаем.

Я давно пишу стихи. Но я не знаю, что бы я стал делать без Пушкина. Может быть, при нем я совсем не стал бы писать стихов. Слава богу, мои современники пишут так, что мне есть с кем соревноваться.

Пушкинская слава освещает нашу Советскую Родину. Я не хочу быть звездой, я хочу быть фонарем, освещающим дорогу моему современнику. Пушкин — это не только памятник. Это подошедшая к нам мечта, это четыре времени года, это всегда хорошо. Я кладу к подножию этого памятника свою жизнь. И я абсолютно убежден в том, что поступаю правильно.

Пушкин! Бесконечно дорогой! Стойте на площади, пусть не во плоти, и учите нас быть прекрасными, учите любить человечество так, как вы любили. А большего нам и не надо. Мы сечь коммунисты.

1962

ПАРОДИИ АЛЕКСАНДРА АРХАНГЕЛЬСКОГО *

Пародия — не шутка. Если собрать пародии в хронологическом порядке, то можно в известной степени познать историю советской литературы. И в этом смысле очень важно обратиться к первоисточникам.

До сих пор чтецы с чувством восхищения и благодарности вспоминают Яхонтова и Закушняка. С таким же чувством и пародисты и все мы вспоминаем Александра Архангельского.

Особенно остро ощущаю это чувство я. Мы вместе начинали, как бы вместе трудились и вместе, улыбаясь, встречали любые жизненные невзгоды. Он приходил к нам в писательское общежитие на Покровке, 3, и сейчас, уже на склоне лет, мне все еще кажется, что он постучится в мою дверь. Это происходит потому, что талант, как и дружба, незабываемы.

* А. Архангельский (1889—1938) — поэт, талантливый пародист.



Труднейших множество дорог,
Где заблудиться может муза,

Но все растучи, превозмог
Маршак Советского Союза.

Мевинц

(По картине В. Васнецова «Витязь
на распутье».)

Бывают два рода пародий. Одни скользят по объекту и все же вызывают улыбку, другие вникают в объект и тоже вызывают улыбку. Но пародии второго рода имеют колоссальное преимущество. Они дают возможность читателю познать пародируемого писателя.

Этим даром, как никто, обладал Александр Архангельский. Так же как на эстраде мы встречаем настоящих великолепных артистов, мы в пародисте Архангельском видим настоящего писателя. Если можно так выразиться, наша литература скучает без него. И я и мы все очень хотим, чтобы современный читатель знал о нем, любил его — этого очень талантливого зачинателя нового жанра в советской литературе.

Литературное наследие оставить после себя имеет право не каждый писатель. Александр Архангельский в полной мере имеет это право. Как хорошо было бы полностью опубликовать это наследие. Это доставило бы радость многим и многим.

И особенно радостно будет мне. Я буду вечно признателен издательству, выпустившему в свет полного Архангельского. Этим самым оно как бы омолодит меня на парочку десятилетий.

1962

ЛИРИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Тихий темперамент вовсе не означает отсутствия темперамента. Конечно, громкий темперамент слышнее, больше обращает на себя внимания, но ведь тихие дожди приносят земле не меньшие урожаи, чем грозы. Лично я не поклонник страстного крика, переходящего в шепот. Ровный и добрый голос чаще необходим людям, чем набат. Набат — это исключительный случай, голоса друзей ежедневны.

У Марка Шехтера ровный и добрый голос, крепчающий от книги к книге. Пишет ли он о родном городе, пишет ли о природе, он обладает чувством глубокого убеждения. Особенно хорошо он показывает природу, очеловечивая ее. Маленькое стихотворение «После грозы» заканчивается так:

Славно дышится на рассвете!
Сизый лес и зеленый сад
Со слезами в глазах, как дети
Провинившиеся, стоят.

А вот как показаны тюльпаны:

Как в позавчерашнем столетье,
Стоит он, в шелка разодет.
Точь-в-точь на дворцовом паркете
Обласканный славой поэт.

Но не только мягкая лирика свойственна поэту. Интонация крепчает, когда он говорит о родном городе:

Пойте, трубы Брянского завода,
Говори, днепровская вода,
Запорожской смелости природа,
Занимай сердца, как города!

Есть в этой книге прекрасное, на мой взгляд, стихотворение. В нем всего двенадцать строк, и я не могу удержаться, чтобы полностью не привести его:

ДОМ НА УЛИЦЕ ГЕРЦЕНА

Вот в этом доме жил Суворов!
Простецкий, цвета елки дом...
Неукротим солдатский норов,
Что бился в сердце молодом.
Снимите шапки, россияне,
Минуя старый особняк.
Там, вечной славой освященный,
Еще звучит владельца шаг.
Вот-вот откроется окошко
И закричит хозяин сам:
«Эй, поворачивайся, Прошка,
Я по державным зван делам!»

Мы видим, что диапазон поэта весьма широк — от лирического откровения до гражданской взволнованности. И мне хочется эту короткую заметку закончить обращением к автору:

Дорогой Марк! Ты никогда в поэзии не кричал. Продолжай говорить своим тихим и убедительным голосом. Тебя все равно слышно.

1962

ЧУЖОЙ НЕДОСТАТОК — НЕ ТВОЕ ДОСТОИНСТВО

Ко мне обратилась редакция «Пионерской правды» с просьбой в своей писательской манере рассказать ребятам о великих свершениях нашего времени, о победе советского человека на Земле и в космосе.

Честно признаюсь — я испугался. Я считаю, что для такой огромной темы нужна такая же огромная и очень толстая книга. Не справлюсь я с такой темой в маленькой и худенькой газетной статье. Поэтому я решил ограничить свою задачу. Лучше я попаду в яблочко мишени, чем буду просто стрелять в небо. И вот на чем я остановился.

Как часто мне приходится и в своей среде и в среде других трудящихся слышать такие фразы: «А вы знаете, он (допустим, Иванов) — он ведь совсем бездарный!», или: «А вы знаете, он (допустим, Сидоров) — он ведь совсем глупый», или: «А вы знаете, он (допустим, Сергеев) — он ведь человек не совсем честный».

Для чего этому человеку нужны такие отзывы о своих товарищах? Сейчас я вам точно объясню. Когда ты говоришь о другом человеке, что он бездарный, то само собой должно подразумеваться, что сам-то ты талантливый. Когда говоришь о другом, что он глупый, то, естественно, сам ты умнейший человек на свете. Когда ты говоришь о товарище: «Он ведь человек не совсем честный», то всем людям должно стать понятным — тебе в карман можно вложить весь Государственный банк СССР, и балаис сойдется тютелька в тютельку.

В таком отношении к жизни, к себе и к товарищам заключается чудовищная опасность — ты перестаешь опираться на свои достоинства, и чужие недостатки становятся рельсами, по которым ты легко и безмятежно покатишься в свое будущее. Не дай бог, чтобы это случилось с вами!

Если ты считаешь, что твой товарищ бездарен в какой-то области, помоги ему найти такую область, где он был бы талантлив. Если ты считаешь своего товарища глупым, а себя умным, держи его чаще в своем обществе, и возможно, он поумнеет. А если ты говоришь: «Он ведь человек не совсем честный», — постарайся осмеять эту «не совсем честность», и, ругаясь тебе, результаты будут отличные.

Ты обязан войти в коммунизм со своими достоинствами, а не с чужими недостатками. Я убежден в том, что ни Гагарины, ни



Поэт! мы живем в
миру идей,
Бичуем зло! Но возводит
не сладки,
Казни мы недостатки всех
модеи
но любви собственные
недостатки.

Титов никогда не ссылались на то, что в воздушном флоте есть плохие летчики. Они просто внутренне мобилизовались и полетели в космос. И как вы знаете, весьма успешно. И я сам еще попытаюсь иметь хорошие и очень нужные моему народу стихи, совсем не опираясь на то, что в Союзе писателей есть много плохих поэтов.

Как видите, я обманул редакцию «Пионерской правды». Она попросила меня написать о большом, а я написал о маленьком. Но нет ничего самого большого на свете, которое не состояло бы из самого маленького. Даже самая большая вершина состоит из атомов. Наш огромнейший и талантливейший народ состоит из отдельных людей. Старайтесь идти в ногу с этими людьми, и вы никогда ничего не прогадаете. В этой уверенности я написал вам, может быть, не о самом главном, но, мне кажется, все равно очень нужном.

1962

МЫ, КАК ЗНАЯ, ПОДНИМЕМ ПЕСНЮ

Человек и песня. Для меня сочетание этих слов звучит так же, как, скажем, «человек и воздух». Я не знаю людей, которые могут обходиться без воздуха. Песня — наш фаифарист в светлые дни радости. Мы принимаем к ней, как к единственному другу, когда нас находит грусть. А в бою песня встает комиссаром перед самым передним окопом.

У каждого народа в песне своя душа. В советской песне, как и во всякой революционной песне, заключено нечто большее. В ней средоточие светлых чувств, напряжение воли и призыв к борьбе. Наши песни — это наши маленькие программы. И наша история, рубежи жизни. На моем столе рядом с незаконченными рукописями лежит томик песен революции. С Октября до наших дней. Листая страницу за страницей, можно руками потрогать живую историю...

- Мы пойдем к нашим страждущим братьям...
- Вздыхайся выше, наш тяжкий молот!..
- Дан приказ: ему — на запад, ей — в другую сторону...

- И тот, кто с песней по жизни шагает...
- Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой...
- Песню дружбы запекает молодежь...
- Едем мы, друзья, в дальние края...

Не надо мне рыться в исторических архивах, чтобы определить и понять время, когда родились эти строки. Каждая из этих песен — чистое зеркало своего времени. Одна исчисляет свою жизнь годами, другая — десятилетиями. И в то же время у них нет возраста. Песни — неистареющее оружие.

По тому, как и что поют молодые люди, можно судить, о чем они мечтают, как живут и чему мы их учим. Да, да, песня — это и учебник. Это оружие в науке убеждать, трудно выковышиваемое, но зато и весьма действенное. Мне однажды признался Маяковский, этот прирожденный «агитатор» и «горлан»:

— Как жаль, Светлов, что я в моей жизни не написал ни одной песни. Я был бы так счастлив, услышав, как молодежь поет мои песни...

Когда-то я утешал друзей-одиополчан, потерявших в бою мечтателя-хохла и песню о его Грениадской волости:

Новые песни
Придумала жизнь...
Не надо, ребята,
О песнях тужить...

И жизнь действительно придумывала замечательные песни. Об Орленке, которому так хотелось жить и которому так нужна была победа. О любимом городе, которому так необходимы покой и счастье. О соловьях, растревоживших солдат. О первой целинной борозде... Но почему сегодня вдруг захотелось тужить о песне? Я уже стар и редко бываю на собраниях молодежи, но мне иногда кажется, что нынешний комсомольский вожак нечасто вспоминает о своем первом замполите — революционной песне.

Раньше свои комсомольские собрания мы начинали и кончили песней. Это был величественный революционный ритуал. И песня для нас не была просто мелодией и набором слов. Она была торжественной клятвой, которую иной раз можно было

«заслушать» вместо доклада и «принять» вместо постановления. Уверен, что революционная песня по-прежнему должна состоять на учете у комсомола. Думается, что такая песня должна составлять основу репертуара в первую очередь молодежных ансамблей, а не только хоров старых большевиков. Хорошо представляю себе даже пленум обкома или ЦК, предметом которого станет песня. И уж вовсе отчетливо слышу занятие политкружка, построенное на истории одной-двух песен.

Но, чтобы взвилось знамя, мало только вынуть его из чехла. Нужны знаменосцы с сильными, как у Павла Власова, руками. И дыхание времени развернет полотнище над головой.

Каждое время требует своих песен. Мы можем петь старинные романсы. Но писать романсы в старинном стиле мы не имеем права. Если одна песня повторяет другую, она забывается очень быстро. Если песня пишется по заказу Музгиза и к ней непринято сердце, песня не поется даже самим автором. Быть может, этот разговор не для всех, но он чрезвычайно важен.

«Подмосковные вечера» не были написаны ради заданной идеи. И поэт Михаил Матусовский и композитор Соловьев-Седой не случайно встретились и принесли такую радость людям. За их песней видны и их биографии, и огромная любовь к людям, и высокий уровень квалификации. Все это они вынашивали всю свою жизнь. Богатая песня не может быть создана без богатой биографии.

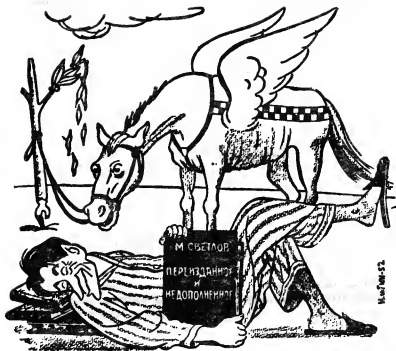
Как же взять эту высоту, которая называется песней?

Стар я или молод? И то и другое! Стар, когда общаюсь с молодыми поэтами. Совсем юн, когда меня тянет к комсомольской песне. Как она, эта песня, создается? Если бы это было известно, то песен у нас было бы уже больше, чем комсомольцев. Точных рецептов создания песни я не знаю. Но кое-каким опытом могу поделиться.

Когда хочешь узнать, как устроен механизм, надо сначала разобрать его на части. А потом собрать. Так я поступлю и в данном случае. Я разберу нехитрые детали моей «Каховки», а вы, дорогие комсомольцы, соберите их.

Однажды неожиданно ко мне явился ленинградский кинорежиссер Семен Тимошенко. Он сказал мне:

— Миша! Я делаю картину «Три товарища». И к ней нужна



песня, в которой были бы Каховка и девушка. Я устал с дороги, посплю у тебя, а когда ты напишешь, разбуди меня.

Он мгновенно заснул.

Каховка — это моя земля. Я, правда, в ней никогда не был, но моя юность тесно связана с Украиной. Я вспомнил горящую Украину, свою юность, своих товарищей... Мой друг Тимошенко спал недолго. Я разбудил его через сорок минут.

Сонным голосом он спросил меня:

— Как же это так у тебя быстро получилось, Миша? Всего сорок минут прошло!

Я сказал:

— Ты плохо считаешь. Прошло сорок минут плюс моя жизнь.

Дело в том, что без накопления чувств не бывает искусства.

Зачем я все это рассказываю? А затем, чтобы многие молодые поэты не пытались нарочно быть интересными.

Яблоко совсем не понимает, что оно вкусный плод. Оно питается соками своего дерева. И поэтому оно вкусно. Но как бы ни было красиво нарисованное яблоко, его есть нельзя. Поэтому молодые поэты больше всего должны бояться нарисованной интересности.

То ли я так воспитывался, то ли мне привиты другие вкусы, но когда я, к нашему общему сожалению, вижу девушку нарисованной интересности, с глазами, на которые ушло больше красок, чем на все картины Рембрандта, мне хочется сказать ей:

— Девочка, пойдй умойся!

Мне хочется сказать ей:

— Знаешь, что самое красивое в женщине? Небрежный взмах расческой, а не лошадиные хвосты на голове.

Как это ни далеко от основной моей темы, но все это имеет отношение к комсомольской песне. Я категорически отказываюсь писать песни для девушек с лошадиными хвостами на голове! Мне нужны ясность и доверчивость молодого взгляда.

Комсомольская песня на болоте не растет. Но песня не растет и на газоне. В чистом поле, на диких тропах и на людных улицах городов рождается песня. Люди воюют в жизни, трудятся, улыбаются вам, и именно об этих людях хочется писать песни.

Еще несколько слов я хочу сказать своим молодым коллегам. В создании песни, как и в любом деле, необходима спор-

тивность. Я уже давно не играю ни в одной футбольной команде, но я должен быть убежден в том, что лучший футболист Советского Союза все же играет хуже меня.

Поэтому я обращаюсь не к своим сверстникам, с которыми меня соединяет множество воспоминаний, не к Жарову, не к Безымеискому — я обращаюсь к молодому поколению поэтов: к Евгению Евтушенко, Андрею Вознесенскому, Белле Ахмадулиной и ко многим другим молодым талантливым поэтам. (Вопреки некоторым пессимистам, я абсолютно убежден в том, что уровень нашей поэзии сейчас поднят весьма высоко.)

Я обращаюсь к ним с наглым старческим предложением:

— Давайте посоревнуемся! Не так уж сильно я задыхаюсь в искусстве.

Кто из нас в течение полугода напишет лучшую комсомольскую песню?

В этом нашем соревновании никакие организации не должны тратиться на премии. Побежденные складываются и покупают победителю то ли телевизор, то ли холодильник, то ли полное собрание сочинений поэта Василия Журавлева.

Давайте напишем песни, помноженные на огонь нашего сердца, опыт, любовь к своему замечательному поколению.

1962

ЕДИНЫМ СПЛАВОМ

Земля родит таланты одинаково щедро как в городе, так и на селе. Но в городах, как в более крупных центрах, эти таланты обнаружить куда легче. А село в этом плане несколько обижено. Я не могу предложить конкретных планов приобщения молодых сельских писателей и поэтов к нашему общему литературному делу, но мне думается, что тут нам надо прибегнуть к испытанному советскому способу помощи друг другу — к шефству. И тогда молодость города и молодость села станут единым сплавом. Руды талантов в селе в избытке, надо только обнаружить их и извлечь на поверхность.

На предстоящем совещании молодых писателей я хочу заняться специальной проверкой — в какой степени наше село участвует в строительстве советской литературы.

Что же касается нашей поэзии в целом, то я полон самых

радужных надежд. Но меня смущает следующее обстоятельство — где «кончается» молодой поэт и начинается старый?.. Может быть, предстоящее совещание поможет мне это установить. А пока что я считаю любую талантливость молодой. И с этим убеждением я приду на совещание и постараюсь помочь ему в его работе. Эта работа обязательно будет плодотворной.

1962

СПАСИБО ПОЭТУ!

Поэты пишут много стихов, и читатель говорит им «спасибо!». Но это такое спасибо, как будто читателю дали прикурить или предупредительно раскрыли перед ним дверь. И редко выпадает на нашу долю награда не обычной, а глубочайшей благодарности читателя. Именно этим чувством я наполнился, прочтя книгу Ярослава Смелякова.

Как же мне точнее определить те чувства, которые вызвала во мне его книга в целом и каждое стихотворение в отдельности?

Мне кажется, что он меня от чего-то спас. Спас от поступка, который можно было бы не совершать, и зовет к подвигу. Спас от недостаточно внимательного отношения к товарищу и, наоборот, отвлек от слишком большого внимания к тому, на что внимания обращать не стоит. Короче, он приобщил меня к своей строгой любви.

Несладкая жизнь была у Ярослава Смелякова, но ни в одной строке я не услышал ни одной жалобы. Страдание у него превращалось в любовь, как зерно превращается в хлеб, детство в юность, мысль в стихотворение.

Ярослав Смеляков — один из лучших представителей нашей гражданской лирики. Читатель опирается на его плечо, и Смеляков не чувствует тяжести. Наоборот, путь его от этого становится легче.

Ослепли глаза от мороза,
Ослабли от туч снеговых,
И ваши, товарищи, слезы
В глазах застывают моих...

(«Ленин»)



Что такое вопросительный знак?
Это состарившийся восклицательный.

Кровообращение большого поэта протекает не только в системе собственных артерий и вен. Оно незаметно соединено с кровеносной системой читателя.

Наши сестры в полутемном зале,
Мы еще о вас не написали.
В блиндажах подземных, а не в сказке
Наши жены примеряли каски.
Не в садах Перро, а на Урале
Вы золою землю удобряли.
На носилках длинных под навесом
Умирали русские принцессы.

(«Милые красавицы России»)

Для доказательства того, что поэт и читатель одной группы крови, я бы мог процитировать всю книгу.

Редко кто так преданно и нежно относится к детям, как Ярослав Смеляков. В стихах, посвященных детям, он не добрый дяденька, он чудесный дяденька. «Судья», «Аленушка», «Хорошая девочка Лида», «Опять начинается сказка...», «Первый бал» — сколько же в этих стихах большой душевной чистоты!

Три стихотворения посвятил поэт матери: «Песня», «Вот опять ты мне вспомнилась, мама» и «Мама». Казалось бы, от обилия чувств автор вот-вот перешагнет тоненькую границу, отделяющую лирику от сентиментальности. Но опасения напрасны — он остается в области лирики.

Дай же, милая, я поцелую,
От волненья дыша горячо,
Эту бедную прядку седую
И задетое пулей плечо.

Вот она, граница сентиментальности! Но поэт ее не перешел, а энергично повел стихотворение дорогой лирики:

В дни, когда из окошек вагонных
Мы глотали движения дым
И считали свои перегоны
По дороге к окопам своим,
Как скульптуры из ветра и стали,
На откосах железных путей

Днем и ночью бессменно стояли
Батальоны седых матерей...

Особого внимания заслуживает поэма «Строгая любовь». Нужно прямо сказать — это одна из лучших поэм о комсомоле в советской поэзии. Комсомол — это моя извечная тема, и я был бы счастлив, если бы когда-нибудь написал поэму такого же высокого качества, как «Строгая любовь». Как великолепны комсомольские характеры, как чудесно передана атмосфера тех дней!

Но Зинка, Зинка! Как же ты,
Каким путем, скажи на милость,
С индустриальной высоты
До рукоделья докатилась?

Впечатав пальцы, как в затвор,
В свою военную тельняшку,
На Зинку бедную в упор
Глядел, прицеливаясь, Яшка.

Наверно, так, сужая взгляд,
При дымных факелах Конвента
Глядел мучительно Марат
На роялистского агента.

Что ни строфа, то яркая картина твоей молодости, что ни глава, то воскрешение неповторимого. Поэма еще не закончена, и я с нетерпением жду ее продолжения, — по-дружески тепло и осторожно поведет меня Ярослав в царство воспоминаний — призрачное, но бесконечно дорогое царство.

СТАРОСТИ НЕТ

Ярославу Смелякову

Ярослав!

Наступивший 1963 год чреват тяжелыми последствиями — тебе исполняется пятьдесят лет, мне — шестьдесят. Я совсем не убежден в том, что эти два исторических события будут отмечены всенародными празднествами. Все будет протекать

нормально. Ни один ребенок не заплачет, ни один милиционер не дрогнет. Ни один автомобиль не забудет, что он двигатель внутреннего сгорания. Поэты часто об этом забывают.

Ты родился зимой, а я — летом, Твои снежинки начинают таять, мои капли — испаряться. Печально ли это? Нет. Нисколько. Давай разделим наши с тобой сто десять лет честно пополам, и тогда не будет ни наступившей старости, ни ушедшей молодости. Что же будет?

Будут молодые поэты. У поэзии масса преимуществ. Первое и самое главное ее преимущество — находить не для себя.

Сколько я тебя ни помню, ты всегда искал для будущего. Это вовсе не значит, что ты забывал свое поколение.

Я хочу, чтобы к тебе все чаще приходили таланты. Ты создан для их прихода.

Считай, что я одновременно и Иван Поддубный и Юрий Власов. Так крепко я тебя обнимаю.

1968

ПОЭТЫ И НАРОД

Дело в том, что главная задача покойника на своих похоронах — не присутствовать, а отсутствовать. Я постараюсь сделать это, хороня свои воспоминания. Холостой выстрел производит такой же шум, как и настоящий выстрел, но где, кто и когда видел мишень, пробитую холостым выстрелом?

Многие себе представляют народ, как солдат на параде, — все одинаковы. Но любой парад, как бы он ни был торжествен, всегда кончается. Солдаты расходятся по казармам, спустя некоторое время демобилизуются, и у каждого начинается своя жизнь. Значит, народ — это не миллионы одинаковых людей, это миллионы разных людей, устремленных к одной цели. Дворничиха подметает снег (как она мне мешает по ночам! Надо назначить часы уборки позже), ученый держит свой светильник науки, а поэт протягивает свою неизданную книгу. Нельзя одинаково обслуживать. Кому нужно бальное платье, а кому тулуп. Нам надо обслуживать народ во всех его разных желаниях и необходимости. Нужен и лубок и Третьяковская галерея, нужна и Улаиова и самодеятельные танцы. Во всем этом есть своя прелесть. Вот почему я исступленно протестую, когда все хотят делать одинаково. Щи бывают не только супоточные.

Моя любимая аудитория — это комсомольцы, студенты и солдаты. Как бы я ни захотел стать колхозным поэтом, ничего не получится. Для меня до сих пор урожай — это испеченные булки. Один солдат никогда не сможет защитить весь фронт. Он поставлен на определенный участок. И я могу стоять только на своем посту. Если я буду бегать по всему фронту, через мой пустующий участок проберется враг. Значит, когда партия говорит нам: «Служи народу!» — это вовсе не значит — будь одновременно и сталеваром и пахарем. Маяковский сделал не меньше, чем любой член партии. Оба стоят на очень широком фронте социализма. Не хочу я быть связным между народом и поэзией. Я родился в народе и поэзию, насколько я мог, создавал в нем.

Преамбула становится несколько длинноватой, и я перехожу к самой сути. Дело в том, что мы далеко не всегда учитываем широкий диапазон, которым обладают песня и стихотворение. Написал стишок, и ладно. А между тем твой труд широкими волнами переливается по всему народу. Если ты работаешь по-настоящему, ты становишься по-настоящему дорог своему читателю. Он готов грудью своей защитить тебя в минуту опасности. Тебя видят все твои читатели, а ты знаешь только некоторых из них. Когда пишешь, надо представить себе, что ты их всех знаешь...

То, что я сейчас расскажу, — не плод моего воображения. И вместе с тем это не желание показаться очень красивым в Отечественную войну. Я пришел в наш разведывательный батальон... Но я виду не подал и улегся с разведчиками спать. Мы повесили брезент наискось от бронетранспортера. Ночью пошел дождь. Я проснулся в воде. Не было более несчастного населения на земле, чем мои фурункулы. Предстояла разведка. Я попросился. «Нельзя, товарищ майор, мы за вас отвечаем. Командир накажет». Но я их уговорил, и мы помчались. Командир нам действительно встретился, но на мне сидел такой широкий стрелок, что меня под ним невозможно было разглядеть даже под микроскопом. Я очень любил этих людей, и они меня очень любили. Они были молодые, я им сочинял не совсем приличные сказки, и дай мне бог еще такого вдохновения.

Дорога простреливалась. Стояла наша разбитая самоходка. Мы некоторое время блуждали и, наконец, пересекли передний край. Ни на одном заседании мне не было так скучно, как

в этой разведке. В первой деревне никого не оказалось. Во второй деревне старик и старуха, глухие еще с восемнадцатого века, ничего нам объяснить не смогли. «Были немцы?» — «Ка- жись, были».

Пошли дальше. Томно июльское солнце. Я попросился обратно. Разведчики обрадовались. Я был им в тягость. И я пошел. У самого переднего края я попал под артналет. Авиация по сравнению с артиллерией — добрая внучка. Самолет я вижу в небе, а куда попадет снаряд — я не знаю...

И еще я вспоминаю свою недавнюю поездку на Алтай. Я с моим другом, режиссером Театра имени Ермоловой, изне- могали от жажды. В поисках воды мы зашли на МТС. И вдруг мы слышим:

Гренада, Гренада,
Гренада моя!

Во мне проснулось неожиданное честолюбие, мы вошли, и я сказал: «Я — автор!»

«Документы!» — потребовала девушка.

Я предъявил.

«Я думал, что вы куда моложе!» — разочарованно сказал юноша.

Не мог же я объяснить этим молодоженам, что не я виноват, не Советская власть, а только время.

Потом я уехал в колхоз, а когда вернулся, девушка оказа- лась одна, влюбленный ее покинул. Подруги ее утешают: «Ты еще молодая, красивая, тебя еще, знаешь, какой человек по- любит!»

На что она ответила:

— Вы что думаете — мне спать не с кем! Мне просыпаться не с кем.

Я хочу просыпаться вместе со своим народом, со своим читателем и засыпать только тогда, когда я очень устану, с тем чтобы опять просыпаться и трудиться вместе с народом.

ДОВЕРИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОСТИ

Когда мне интересно в кино? Сначала я скажу, когда мне неинтересно. Мне неинтересно в кино всегда, когда мне рас- сказывают то, что я уже знаю.

Знакомой несли
Знакомой кошке,
Знакомой, в хороших
русских слов,
Знакомых романсов,
Чистых слез кошке,
- Мухом
Аркадьева
Светлов.



«Я» — это в данном случае условность. «Я» — это не только я, но и все остальные, кто хочет что-то узнать, чему-то удивиться, чему-то обрадоваться, над чем-то прослезиться.

Мне интересно в кино всегда, когда фильм заставляет меня сосредоточиться на каком-то явлении, на котором я обычно не задерживал взгляда. В кино мне интересно, когда я знакомлюсь с интересными людьми, желательнее более интересными, чем я сам. Да и все, мне кажется, ищут в кино людей, которые сильнее нас, мудрее, добрее, счастливее.

Это не значит, что я за выдумывание искусственных, невозможных, идеальных характеров. Нет, долг любого художника, особенно художника кино, — найти среди нас, людей, человека, достойного пристального внимания, подсмотреть в жизни уже существующие новые явления и со всей страстностью доказать их жизненность.

То есть в кино мне интересно всегда, когда оно, кино, не «отражающее зеркало, а увеличивающее стекло».

Мне интересно в кино только тогда, когда глубине и значительности темы соответствует, как говорится, высокохудожественное решение. Ужасно неинтересно в кино, товарищи, когда авторы фальшиво подсовывают нам холодные схемы, назидательные рецепты или казенное, уставное бодрячество. За схематизм и назидательность в кино нужно, по-моему, судить военно-художественным судом. Такие фильмы, как «Улица Ньютона, дом 1», кажутся мне профанацией искусства не только потому, что характеры в картине, несмотря на внешнюю современность, первобытно-вульгарны или унылы, искусственно «утонченны», не только потому, что конфликт и способы его решения удивительно шаблонны и примитивны, но и потому, что язык, стиль этого фильма претенциозен и именно потому косиоязычен.

Сравнивая кино, например — нет, с поэзией не буду сравнивать, — например, с балетом, с грустью убеждаюсь, что обязательные для балета нормы профессионального мастерства не стали еще обязательными для многих кинематографистов.

Вот балерина. Прежде чем ей, балерине, доверяют создание каких-то образов, она обязана достигнуть определенного технического уровня. В кино же нередко видишь, как сухоиным, невыразительным, неточным языком излагается событие, в основе которого важная проблема. Как грубо лепятся характеры — они похожи на бумажные цветы, в них нет запаха своеобразия.

Вот опять балерина. Когда балерина плохо танцует, она не

может сказать в свое оправдание: да, но зато какую идею я выражаю!

Идея существует только блистательно выраженная!

Во всяком искусстве идея неразрывно связана с формой, так что выражается она, идея, только через форму, художественную ткань произведения.

Когда балерина танцует Джульетту хорошо, и ее Джульетта хорошо умирает, только тогда она, Джульетта, живет, тогда ее сущность, ее идея существует. Когда балерина танцует плохо, не существует никакой идеи. Пора бы эту нехитрую вещь уяснить кинематографистам. Когда фильм с большой идеей в основе «поставлен» нехудожественно, неточно, нетонко, тогда идеи в фильме нет, какие бы монологи ни произносили положительные герои. Нет идей, совсем нет, она умерла не родившись.

Зато какое наслаждение смотреть фильм, в котором идея, духовная мысль органически вырастает из художественного анализа, умно и точно отобранных художником моментов реальности, когда средства этого анализа тонки и глубоки. Например, один из моих любимых фильмов — «Баллада о солдате». Это фильм, в котором мера условности, высокой художественной образности найдена в верных пропорциях.

Вернусь сейчас опять к балету. Балет весьма условное искусство, содержание в нем выражается при помощи танца, пластических движений, и тем не менее балету удавалось, как известно, выражать самые сложные проблемы, самые большие идеи, самые тонкие проявления человеческих характеров. И никто при этом не требовал, чтобы над сценой висели лозунги и плакаты, декларирующие идею балета, — все доверяют условности, художественному языку танца. Кино, как и всякое другое искусство, условно, хотя условность экрана совершенно другого характера. Только поверхностному человеку может показаться, что «документальность» кино дает ему право быть натуралистичным. Нет, просто язык кино, как мне кажется, — это язык, в котором натуралистические приметы суть особый вид условности. Искусство всегда выражает, и не важно, выражает ли оно нечто при помощи жестов, слов или смонтированных кусков реальности, — всегда надо искать в искусстве способность выражать.

И вот, возвращаясь после столь теоретического периода к первоначально поставленному вопросу, я хочу сказать, что мне интересно в кино тогда, когда я вижу, что авторы фильма доверяют художественному языку кино, его способности выражать

любые идеи и чувства, а не апеллируют к безусловным формулам, тезисам, чуждым художественному мышлению.

Все передавать через поэзию, учил Белинский. Все передавать через художественную ткань — вот тогда будет в кино интересно.

Я настойчиво говорю о том, что это главное, вот чего я жду от кино и что хотел бы чаще в нем встречать. Доверяйте искусству, товарищи кинематографисты, и не раскрашивайте скульптур!

1964

БЕСЕДА СО СТУДЕНТАМИ ЛИТЕРАТУРНОГО ИНСТИТУТА

— Убей меня бог, если я знаю, о чем мы будем беседовать... Но у трудящихся всегда найдется общий язык, и, я думаю, мы побеседуем так, что это пойдет на пользу и вам и мне.

Вас интересует многое, но на общие темы я не могу говорить, потому что и сам плохо в них разбираюсь. Например, я до сих пор не установил: зачем нужна поэзия? Знаю только, что она нужна, и в первую очередь мне, так как у меня нет никакой другой квалификации. А тут, как мне кажется, я приношу пользу.

Давайте начнем очень элементарно, специфически с того, что касается поэзии. С рифмы, например. Вам трудно рифмовать или легко? (Голос с места: «Кому как!») Рифма вам помощник или враг? (Голос с места: «Чаще мешает!») Это потому, что вы еще не умеете с ней обходиться. Я утверждаю, что рифма — первый помощник поэта. Сейчас попытаюсь на каком-нибудь примере это доказать.

Мне очень помогает рифма. Рифма помогает мне, как человек. Что же она делает? Она создает ассоциации, на первый взгляд нелепые — рифмуешь одно с совершенно противоположным и потому не сразу находишь соответствие. Мне вспоминается смешной случай с рифмами. У меня была записана рифма и лежала, забытая на столе: падишах и падежах. Какая здесь ассоциация? Падежах — это что-то из грамматики, а падишах — из Турции. Но уже в самой этой рифме заключается юмор, и я написал стихотворение — объяснение в

любви к девушке, где есть такие строчки (мне думается, они убедят вас в естественности соединения таких чуждых по значению слов, как падишах и падежах):

Будь я не еврей, а падишах,
Мне б, наверно, делать было нечего,
Я бы упражнялся в падежах
Целый день —
С утра до вечера...

и т. д.

Это стихотворение малоизвестно, но, я надеюсь, вы прочитаете его и поймете, что, если бы не было рифмы «падежах — падишах», не было бы и этого стихотворения.

Приведу еще рифму: излучина — изучена. И вот строки из стихотворения «Итальянец»:

Разве среднего Дона излучина
Иностранным ученым изучена?

Есть натяжка? Нет натяжки. Рифма создает ассоциацию.

Белым стихом я не пишу. Переводить белым стихом обожая. Собираюсь переводить Расула Гамзатова — он пишет белым стихом. Жуковский перевел «Унди́ну» белым стихом, но это не нарушает целостности поэмы... Гамзатов в переводе тоже не потерял, потому что его переводят хорошие поэты, и вообще искусство перевода у нас на большой высоте. Кстати сказать, на мой взгляд, не обязательно белый стих переводить белым.

Так что, когда вы говорите: мне трудно с рифмой, — это из тех трудностей, которые нужны больше, чем легкость.

Рифма, повторяю, — первая помощница ваша, не потому, что вы соединяете несоединимое, а потому, что без нее нельзя выразить то, что хочешь сказать в стихотворении. А без мысли о том, что ты хочешь написать, не может быть стихотворения.

Многие из молодых пишут сейчас так заковыристо, что не сразу разберешь что к чему. В погоне за оригинальностью, в стремлении избежать банальностей они удивительно банальны. Им сейчас труднее написать «Дети, в школу собирайтесь», чем стихи вольным размером с необычными образами.

Главное, чтобы было что-то за душой. Вот Пикассо, например, — в лучшие свои полотна он вкладывает то, что у него лежит на душе. А когда у тебя за душой ничего нет и ты начи-

нвешь выдрючиваться, чтобы показать какую-то оригинальность, — вот этого я не понимаю. И ствиовлюсь похожим на петуха крыловского, который в куче навоза ищет жемчужное зерно. Но разница между мной и крыловским петухом такая: мне ясно, что навозом от кобылы можно удобрять поля, в навозом от искусственной кобылы поля удобрять нельзя.

Я говорю с вами импрессионистски, считая, что это лучше доклада или чтения воспоминаний. Чем хороша импрессионистская форма беседы? Когда редко встречаешься, всплывают разные вопросы, и на них надо дать ответы не исчерпывающие — вы сами их «дочерпаете»...

Может быть, мы возьмем у кого-нибудь из присутствующих здесь стихотворение и будем следить за его строками с точки зрения ювелира, не только того, который снабжает браслетами буржуазию, но и того, кто делвет кольца для обручения пролетаривта?

Итак, у кого-нибудь из вас, может быть, есть стихотворение, и мы, отталкиваясь от него, затронем различные темы. Это лучше всего. Сядем на определенном вокзале, еще не зная, куда поедем. Но предупреждаю: в оценке я буду, как палач на пенсии.

Ну вот, ко мне поступило стихотворение «Торгащ». На первый взгляд неплохое. Разбирать его буду не с точки зрения арифметики, а с точки зрения высшей математики. Среднее образование и даже профессорское звание, как вы знаете, не отличают человека, отличает его только то, что он внес в науку. Одно дело — никому, кроме студентов, и ведомый профессор, другое — профессор Эйнштейн. Ну, давайте разбирать.

...И борода твоя лохматая,
Как пес, свернется на мешке...

При чем тут мешок? Если бы не было мешка, пес мог бы свернуться еще на чем-то... Мешок — это не признак торговца. В мешке можно носить что угодно. Бедные люди таскают в мешке все, если у них нет денег на авоську.

Автор находился в плену рифмы «Ташкент — мешке», и в результате не он повел стихотворение, а стихотворение повело его. (Голос с места: «А может быть, и наоборот — он дорожил образом?»)

В молодости мне безумно нравились такие мои строчки... Сейчас вы будете хохотать:

Отягченная горем земля
Ударяет вздохами по небу.
Сегодня, 22 февраля,
Я хочу написать что-нибудь.

Рифма «по небу — что-нибудь» мне очень нравилась, я дорожил ею. А дело не в том, чем человек дорожит, а в том, что действительно дорого. Мещанин, скажем, дорожит фикусом, но это ведь не значит, что фикус имеет особую ценность.

В стихотворении нет возраста человека, о котором пишет автор. Какой это человек? Если старый — можно было бы написать: «ободранная борода», и это определение служило бы мыслью. А то, что борода лежит, как пес, меня не волнует. (Голос с места: «Может быть, автор хотел сказать: как собака, стережет?»)

Когда я читаю «Брожу ли я вдоль улиц шумных», все для меня ясно. Здесь нет того, чтобы борода свернулась на мешке. Здесь нет ни одного образа. Об образе нам тоже надо поговорить, потому что образом часто служит самое обыкновенное прилагательное. И вдруг это необычно поставленное прилагательное начинает звучать: «Гордо реет Буревестник, черной молнии подобий...» «Черной» — обычное слово, а какой изумительный образ!

Дальше вы пишете:

И за киоском у обочины
Маячит сгорбленная тень,
И воровато, озабоченно,
Бесследно кажет в темноте.

Это мне мешает. Все четверостишие сделано ради рифмы «обочины — озабоченно». У вас получается человек с двумя спинами и одной ногой. Вы отступаете от главной мысли, динамика стиха пропадает.

А вот пример, когда простое прилагательное становится замечательным образом:

Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели;
Молчали желтые и синие,
В зеленых плакали и пели.

Через эти прилагательные — зеленые, синие и желтые — вы сразу видите социальную суть тогдашней России... Надо знать, что можно сравнить, и нельзя сравнить кобылу с архiereем.

В вашем стихотворении торговец кричит: «Берите пряное и острое...» Это можно услышать только в Литинституте. Продавец никогда не скажет: «берите» — он скажет: «покупайте».

Дальше строка: «Какой наварится супец!» Кто же в Ташкенте скажет: «супец»? Это скажут в Ярославле, а не в Ташкенте.

Не думайте, что я придираюсь к стику — несколько! Я так же говорю и с любимым мною поэтом Смеляковым, он меня так же чешет, и большей частью правильно. Но нам легче понимать друг друга, потому что мы давно знакомы и наше творчество близко.

Читаем дальше:

Откуда ты, с какого острова,
Могильной гильды купец?..

Почему острова, а не полуострова, не мыса? Почему купцы должны быть на острове? Они, наоборот, живут на континенте. Но у вас — остров. Почему? Острова бывают и обжитые, например остров Манхэттен в Нью-Йорке. Вам остров нужен для рифмования со словом «острое». А если бы было слово «тупое», вы, наверное, рифмовали бы «с перепоя».

...Посторонисы! Идут рабочне.
Дай честным гражданам пройти.

Это, знаете, примитивно звучит — плюс и минус, пролетарнат и буржуазия. Пойдем дальше:

У тех, кто тяжести ворочает,
И так здоровый аппетит.

Вот это по-настоящему просто, хорошо.

С ответственностью за свои слова утверждаю: стихотворение талантливое. Почему же я так жестоко с ним обошелся? После моего разбора вы первое время не будете знать, что вам делать, вас каждая строка будет смущать. Но это только первое время. Нужно немного помучиться, а потом все встанет на свое место.

Вот еще две строки из этого стихотворения:

И звонче, чем листья лавровые,
Шуршат за пазухой рубли.

Почему шуршат? Если шуршат — значит, не звенят, а у вас написано: «звонче»...

Вы недостаточно вжились в то, что изображаете, и находитесь немного в подчинении и у рифмы и у аллитерации.

Остановлюсь еще на одной строфе:

Проходит жизнь, и горькой истины
Ты не запрячешь в семерки.
А совесть продана по листку —
Теперь попробуй собери!

Слово «собери» здесь не то, а если вы употребили его, то совесть должна быть не продана, а разбросана по листкам. Точнее сказать, не совесть, а жизнь...

Я бы напечатал эти стихи, если бы чем-нибудь заведовал.

Поймите, мне хочется, чтобы вы были не только членами Союза писателей, о чем вы, конечно, мечтаете, а явлением в нашей поэзии. Таким явлением, как Леонид Мартынов. Я читаю его каждый раз с большим удовольствием. Вы заметили, как у него поставлены слова, мысли? Это один из самых любимых моих современных поэтов.

Еще я очень люблю Смелякова. Но он менее строг, чем Мартынов, хотя и не менее талантлив. И вообще у нас с поэзией обстоит дай бог, хотя современники всегда жалуются, что поэзия слаба, что раньше она была лучше. Даже тогда, когда Пушкин создал «Евгения Онегина», один из его современников, который не очень любил Пушкина, заявил: «Наш Сашка исписался». Прошло немного времени, и стало понятно, что «Евгений Онегин» — творение гения.

Поэтому, когда начинают хаять нашу поэзию, этого не надо принимать всерьез. А хаять ее есть за что и будет за что даже при полном коммунизме.

Поэзия познается по тому положительному, что она дает. И если сделать сборник положительной нашей поэзии, то он будет весьма объемистым.

Верно, конечно, что мы выпускаем четверть настоящей поэ-

зии и три четверти мусора. И все же, когда будем собирать все настоящее, мы увидим: наша эпоха отражена в поэзии гораздо больше, чем в прозе.

Недавно я прочел поэму чудесного поэта Василия Казина. По-моему, еще никто так не описывал, как он, первый ленинский субботник. Всем вам очень советую прочесть ее. Казин не пропустит безвольной строки — каждая строка у него, как солдат.

Я надеюсь, — обращается Светлов к автору стихотворения «Торгаш», — что вы меня не подведете и через года два услышите мой восторженный отзыв. Я никому не хочу причинять зла или показать, какой я умный. Просто говоря, тот этап, который вы еще переживаете, я уже пережил, потому и указываю вам на недостатки.

Чтобы вы не огорчились, что я вас избрал как жертву, разберу еще одно стихотворение, также, видимо, талантливого человека (говорю это не в качестве комплимента). Вот его стихи:

Набегая под наклоном,
Ветер выл на голоса.
Между белым и зеленым
Отчужденья полоса.
А грачи всю орали,
Гомонили до зари.
А сугробы догорали,
Приседая до земли.

Мысль правильная: между белым и зеленым отчужденья полоса. Это начало весны. А «ветер выл на голоса» — сказано неточно. Если баба плачет, то в голос, а не на голоса... Можно выть на разные голоса. А у вас получается, что где-то выли голоса, а ветер выл на них, так же как собаки воют на луну.

Я бы посоветовал начать стихотворение так:

Между белым и зеленым
Отчужденья полоса...

Сразу видишь начало весны, сразу понятно, что происходит.

А грачи всю орали,
Гомонили до зари...

Гомонить и орать — разные понятия.

А сугробы догорали,
Приседая до земли...

Зачем вам «а»? Здесь ведь надо «и». Затем, почему они приседали до земли? Когда я сижу на стуле, я не говорю, что я сижу, приседая на стул. Если вы говорите про сугробы, что они догорали, «приседая до земли», значит, они были где-то сверху, а не на земле. Они просто все ближе прижимались к земле...

Когда речь идет даже о неодушевленных предметах, делайте им человеческие судьбы. Тогда все будет выглядеть гораздо теплее, человечнее. Возьмите «Парус» Лермонтова. Разве это о парусе? Это же о человеке, о его судьбе. А когда вы говорите, что сугробы приседали до земли, у меня создается комическое впечатление. По вашему мнению, это поэтический образ? А посмотрите, что с ним происходит. Этот образ похож на человека, не умеющего владеть биноклем. Он поворачивает бинокль в другую сторону, и все отдаляется от него... Так и вы: вместо того чтобы приблизить предмет, отдаляете его...

Догорали и чернели,
Слякота...

Нехорошее слово! Его мог бы употребить Маяковский там, где он издевался бы над чем-нибудь — над тем же торгашом, чтобы создать противное впечатление о нем. Это слово тогда подошло бы, но оно не для вашего стихотворения.

...И не пыля,
Тает снег.

Еще бы пыля!

Почерневши, коченели
Неодетые поля.

Я бы написал: «полураздетые поля». Они не голые и еще не одетые. А неодетые поля — это же осень. А весной они в заплатах, полураздетые... Не думайте, что я придираюсь

к строчкам. Я все время наталкиваю вашу мысль на точность показа.

Белый был уже несмелый,
А зеленый выжидал...

Поинтиу, что вы говорите о белом и зеленом цветах. Но у меня, который помнит гражданскую войну, это вызывает другие ассоциации. «Белый был уже несмелый» — это когда мы туриули его из Крыма, а «зеленый выжидал» — это когда он по хатам прятался.

Стихотворение должно быть иаписано для всех возрастов, даже детского.

Белый, в черный то и дело
Погружаясь, пропадал.

«То и дело» здесь не нужно, к сути не относится. Ведь каждое стихотворение имеет свой словарь, и каждый поэт тоже имеет свой словарь...

Старайтесь, что только можно, держать в центре внимания человека, тогда все стает куда убедительнее...

Угловаты сучья клена...

Дело не в угловатости. Они и летом угловаты. Нам нужен признак весны. Ищите то, что бывает с кленом именно весной. Сучья клена всегда угловаты. Или надо быть мичурицем, чтобы вырастить иовый сорт клена. Заключаю разбор стихотворения: иачало весны я вижу только в двух строках — «между белым и зеленым отчужденья полоса». Остальное идет от литературы. Так или не так? (Голос с места: «Правильно».)

Хочется, чтобы вы сами сознались в своем «преступлении», и тогда я смягчу вам «иаказание».

Когда Лев Толстой описывал Бородинское сражение, оно происходило у него на письменном столе. Он видел все, каждого солдата. Когда я читаю ваше стихотворение, мне кажется, что вы плохо видите то, о чем пишете. Я всегда говорю молодым поэтам: «Ищите точности выражения для передачи читателям своего видения». Для этого не надо ничего необыкновенного...

В дни моей далекой юности я жил в Москве, на Покровке, в общежитии. Ко мне приехал отец, впервые очутившийся в нашей столице. Он сказал мне: «Какая замечательная церковь

тут недалеко!» Я пошел, посмотрел — действительно замечательная церковь. Я каждый день проходил мимо и не замечал ее, а он приехал и увидел ее свежими глазами.

Мы должны показывать читателю то, что он пропускает и не видит своими глазами. А когда мне подсовывают угловатые клены как признак весны — я не соглашаюсь....

Если вы устали от разбора стихов, мы можем поговорить с вами на любую другую тему. Задавайте мне коварные вопросы. Что вас волнует? Чувствуете ли вы недостаток сил, когда пишете, ощущаете ли вы, в чем этот недостаток?

До сих пор я помню, как впервые выступал в комсомольском клубе с чтением своего стихотворения. У меня коленки дрожали, когда я вышел на трибуну и начал что-то робко шептать. Мне кричат: «Давай, Миша, давай!» И я начал орать страшным голосом...

С тех пор я привык к большой аудитории. Привычка эта пришла не сразу. Для этого мне пришлось прожить джазбульский век. Постепенно все приходит. Придет и к вам знание и понимание точности стиха. Только сохраните все, что сейчас пишете, чтобы потом умнеть своей молодостью...

Очень важно понимать прозаизмы, их значение в стихе. Они действуют иногда сильнее поэтических образов. Я очень люблю слова-прозаизмы, а раньше пользовался ими неумело. (Голос с места: «Как вы думаете — верлибр привется!»)

Он может привиться, как в ботаническом саду прививаются тропические растения. Но даже Маяковский, ломая, революционизируя стих, пришел к ямбу Пушкина, хотя ямбы у них разные. Читая: «как в наши дни вошел водопровод, сработанный еще рабами Рима», — сразу слышишь: это Маяковский. Пушкин не сказал бы «сработанный», но это слово прекрасно звучит у Маяковского...

Я от вас требую, как от мастера, высшего качества, и, если вы освоите хотя бы пятьдесят процентов моих требований, я посчитаю нашу беседу бесполезной.

Ко мне поступило еще одно стихотворение — в одну строку. Это тоже образец желанья оригинальничать:

Пью пиво. Пена. Два проливных дождя. 73 копейки за все.

Какая мысль в этой строке? Вы хотите снижения цен на пиво?

При чем тут проливные дожди? Вы намекаете на то, что в пиво подливают воду?

У японцев есть трехстрочное стихотворение «хокку» и пятистрочное «танка» — это же богатейшая вещь! Но ведь у вас совсем не то. Я тоже могу написать: «Пью водку. Идет снег. Друг угощает. Ни копейки не стоит». Чем моя мысль хуже вашей? (Голос с места: «Лучше».)

Даже лучше. Потому что 73 копейки останутся при мне, а за разбираемое сейчас стихотворение я не заплатил бы ни копейки.

Предостерегаю вас: избегайте ложной мудрости! Она засасывает.

Пушкинское «Ерожу ли я вдоль улиц шумных» написано о таких вещах, которые все знают: о жизни, о смерти. Но написано так, что никогда не забывается. Стихотворение же о пиве я тоже не забуду, но не забуду как анекдот...

Сейчас мне подбросили короткие басни:

Везде кричит башмак о том,
Что у него земля под каблуком...

Осел с волками дружбу свел,
На то он и осел.

С баснями — беда. В них нередко берется то, что лежит сверху. А то, что берут сверху и вставляют в басни, лишено мысли. Когда Михалков начинал писать басни, он делал это свежо — помните про лису?.. Он внес в басни советское качество, которого не было у Крылова, и басни Михалкова запоминались, приводились как цитаты... А так — я возьму любую пословицу и сделаю басню. К примеру, лечил меня один зубной врач, много говорил, но зубы не вылечил. Мораль: не заговаривай зубы. Вот и басня, в которой подмечено все, что лежит сверху.

Мы будем с вами переходить от забавного к серьезному и наоборот — ведь беседа должна быть человеческой. Вот еще басня:

Он на исходе долгой жизни
Делился опытом своим.
Когда работал под нажимом,
То сразу делался тупым.

Это немного лучше, но здесь тоже ближайшая ассоциация.

Вот еще одно стихотворение, в котором сказано: «Дождь прошлепал босыми ногами». Какие же ноги у дождя? У него нет ног. О дожде много и хорошо написано. Блок, например, писал о мертвом и тут же показал дождь, и его образ получил потрясающую силу. Простыми средствами, как я уже говорил, достигается необыкновенный эффект. Вот почему великих поэтов надо перечитывать. Вспомните, как Маяковский писал: «Мария — дай!» Благодаря ему было свергнуто царство искусственной поэзии. Роль Маяковского в этом поистине титаническая!..

Почитаем еще одно стихотворение:

Утро. Хата. Бабка. Печь.
Кашель деда. Скрип и реч

Здесь скрип и речь сливаются — получается «скрипи речь». Дальше:

Почесал затылок дед.
— Ах, — сказал, — один ответ,
Быть по-твоему, старуха,
Непослушное ты ухо.
Так и быть уж — разбужу...
Гляко...

Что это? Народный говор? А почему я должен говорить, как говорят в деревне Малые Мочалки? Здесь утеряна русская сказка: нет ни ковра-самолета, ни ТУ-104... Снижена русская сказка, а она сама по себе великолепна.

Писать можно обо всем, лишь бы это обогащало читателя. Сразу, может быть, и не попадешь в мишень, но ты стреляй в нее.

Вот еще стихотворение, в котором каменная баба названа бабенкой. Это все равно что сказать, что я Юрий Власов.

Вы все время идете к цели и не доходите до конца. Вам кажется, вы наделили силой каменную глыбу. Почему вы обращаетесь к ней, как к скифке, а не как к каменному изображению? Представляю, какое впечатление произведет на нас ребенок, который назовет сяю прабабку прабабенкой!

Не мудрите! Если аромат, то аромат, а не сложное соедине-

ние... А когда вы начинаете мудрить, то я, к несчастью, и сам умный...

Я за то, чтобы искусство было беседой. Все искусство, даже пейзаж — беседа. Вспомните картину Левитана «Над вечным покоем» — это ведь беседа. Я смотрю на нее, и у меня рождаются какие-то мысли... А когда мне про каменную бабу говорят: «бабенка», я все равно ею не увлекусь... Брак не состоится, нет!

Я за оперативность лечения, а не за терапевтическое лечение. Боль — великая вещь. Если бы ее не было, людей умирало бы в десять раз больше. Боль предупреждает, что какой-то орган болен и что нужны или срочная операция, или быстрое терапевтическое лечение. Так же и у вас: какое-то лечение вам нужно. Я никогда не стесняюсь огорчить молодого поэта. Это ему всегда полезно. А если я буду говорить вещи только приятные, то они ведь не нужны ни вам, ни мне. Я старался доставить вам минимум боли...

Может быть, мы с вами еще встретимся зимой. Летом вы окрепнете физически и поэтически. И тогда у меня будет меньше замечаний по вашим стихам... Всех вас благодарю за внимание!

1964

ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ, АФОРИЗМЫ

Я вовсе не собираюсь рассказывать анекдоты. В старости тебя сопровождает не шумящая листва, а только тени отшумевшей листвы. И воспоминание, кажущееся на первый взгляд пустяком, влечет за собой бесчисленные ассоциации. Бывает в жизни такое состояние, когда пятно заменяет картину. У меня сейчас такое состояние. Поэтому, не обладая усидчивостью, чтобы написать роман, достойный внимания всех слоев общества, я буду, как бабочка, летать с воспоминания на воспоминание. Может быть, и моя пыльца оплодотворит нашу общую ниву.

Мальчик бегал в Английском саду. Этот Английский сад находился на Украине, в городе Екатеринославе. Время действия — 1913 год.

Мальчик катил большое деревянное колесо. Он был очень счастлив. В течение нескольких недель он собирал десять копеек. Билет в Английский сад стоил десять копеек.

Этот мальчик еще не подозревал, что он когда-нибудь станет старым человеком и напишет «Повзрослевшие сказки» и что то обстоятельство, что вход в Английский сад на Украине стоит один гривеник, послужит ему темой для одной из сказок.

Старый англичанин в клоунском наряде, задыхаясь, бежал впереди детей. Он тоже катил колесо. Потом, много-много лет спустя, я видел, как постаревшая жена горючего лыжника старалась идти вровень с мужем. Она не хотела, чтобы он ее видел

побледневшей, она не хотела, чтобы он ушел к другой. Какой же бледной она была! А муж ничего не замечал.

Вот так же и я тогда не заметил, каким бледным был бегающий по Украине клоун, родившийся на одном из британских островов.

Само собой разумеется, что мальчиком, катившим впереди себя большое деревянное колесо, был я.

Машины портятся, а человек тем более. Начинается лаборатория — насколько я изменил своей детской мечте. Вспоминаю Кайдаки — железнодорожный район в городе Екатеринославе. Я вспоминаю ее огромные голубые глаза. В старости есть своя прелесть — она из отдельной тарелки может сделать целый сервис. И вот девушка, имени которой я так и не запомнил, проходит по всей моей жизни. И так как ее глаза были необыкновенно голубыми, вся моя жизнь кажется мне необыкновенно голубой. У них — и у девушки и у жизни — была неудачная любовь.

Воспоминание цепляется за воспоминание, и, боюсь, эта цепная реакция помешает строгости и стройности моего рассказа. Но это не страшно. Беседа всегда лучше доклада.

Это было в двадцать шестом году. МАПП, РАПП — давно пройденный этап (простите за невольную рифму)... «ЛЕФ» дрался с «НА ПОСТУ», Маяковский с переменным успехом боролся с Авербахом; Луначарский, безмерно любивший литературу и искусство, старался быть арбитром, но редко что у него получалось — бизоны не поддавались дрессировке.

В двадцать третьем году три молодых поэта — Михаил Голодный, Александр Ясиный и я, — приехав с Украины, сразу попали в такую обстановку. Советская литература тогда еще только начиналась, и мы были нарасхват — когда нет золота, хватаешься за бронзу.

Мы прямо с вокзала, не успев помыться, нырнули в РАПП. Поплавали, и нам показалось, что вода больше горькая, чем соленая. А в такой воде киты не плавают.

Отец очень хорошего поэта Михаила Голодного долгое время был убежден, что все передается по наследственности. Сын

его популярный поэт. Несомненно, это по наследственности. Проклятый царизм помешал старику выявить себя в полной мере. Три дня этот старик искал рифму на слово «канарейка». Потом торжествуяще приходит к сыну и объявляет: «Нашел рифму на «канарейка». — «Какую же?» — «Соловейка».

Маяковский и Алтаузен как-то столкнулись на лестнице.

«Что это вы несете, Джек?»

«Да вот купил Иннокентия Анненского и Каролину Павлову».

«Начитаетесь вы этих Иннокентиев и Каролин, до чего же вам скучно жить станет».

Помнится, лет тридцать пять тому назад мы как-то ехали с Владимиром Владимировичем Маяковским. Наша страна тогда была еще нищей, и никакой автомобильной промышленности у нас не существовало. Мы ехали на старом американском «фордике», но молоденький шофер испытывал, наверное, те же чувства, что и первый космонавт.

Маяковский сам не управлял машиной. «Понимаете, Светлов, — говорил он, — я в движении всегда задумываюсь. А шоферу это противопоказано. Настоящая профессия, любая настоящая профессия должна из осознания ее превращаться в инстинкт».

Что же тогда хотел сказать Маяковский?

Человек, какой бы работой он ни занимался, обязательно должен быть профессионалом. Мало того, даже чувства человека должны быть профессиональными.

Я помню, как Маяковский во время, казалось бы, совсем обыкновенной беседы вдруг поднимался и говорил: «Простите, товарищи, одну минуточку!» — что-то записывал и продолжал беседу. Я как-то наткнулся на одну его записную книжку. В ней ничего нельзя было понять. Это понимал только он один.

Маяковский для меня — самое святое воспоминание в поэзии. Я никогда не подражал Маяковскому. Можно подражать чему угодно, только не темпераменту. Я подражал Блоку, Тютчеву, даже, извините, Надсону, но это было подражание — не поэзия, и только тогда, когда я понял свою главную задачу, мне кажется, я стал поэтом.

Однажды Маяковский, улыбаясь, сказал мне: «Светлов! Что бы я ни написал, все равно все возвращаются к моему «Облаку в штанах». Боюсь, что с вами и с вашей «Гренадой» произойдет то же самое».

Это были пророческие слова. Кто бы со мной ни познакомился, обязательно скажет: «А, Светлов! Гренада!» Становится несколько обидно: выходит, что за сорок лет своей литературной деятельности я написал только одно стихотворение.

Думаю все же, что это не так. Но доказывать как-то не хочется...

...Возвращаюсь к «Гренаде».

Стихотворение, скажу прямо, мне очень понравилось. Я с пылу, с жару побежал в «Красную новь». В приемной у редактора — Александра Константиновича Воронского — я застал Багрицкого. Багрицкому я тотчас же протянул стихи и жадно глядел на него, ожидая восторга. Но восторга не было.

— Ничего! — сказал он.

Воронского «Гренада» также не потрясла:

— Хорошо. Я их, может быть, напечатаю в августе.

А был май, и у меня не было ни копейки. И я, как борзая, помчался по редакциям. Везде одно и то же. И только старейший журнальный работник А. Ступникер, служивший тогда в журнале «Октябрь», взмолился:

— Миша! Стихи великолепные, но в редакции нет ни копейки. Умоляю тебя подождать!

Но где там ждать!

Я помчался к Иосифу Уткину. Он тогда заведовал «Литературой страннцев» в «Комсомольской правде». Он тоже сказал: «Ничего!» — но стихи напечатал. Прошло некоторое время. И вдобавок (горе мое!) мне уплатили не по полтиннику за строку, как обычно, а по сорок копеек. И когда я пришел объясниться, мне строго сказали: «Светлов может писать лучше!» И я подумал, что ошибся, что медь принял за золото.

Как-то Семен Кирсанов прочел «Гренаду». Она ему очень понравилась. Он побежал с ней к Маяковскому. Маяковский бурно не реагировал, но стихи оставил у себя.

Через несколько дней состоялся его вечер в Политехническом музее. Зал был переполнен. Я долго стоял, очень устал и отправился домой, не дождавшись конца. А вернувшийся позже сосед сказал мне:

— Чего ж ты ушел? Маяковский читал наизусть твою «Грешаду»!

А потом он читал ее во многих городах. Мы с ним тесно познакомились. Но это уже отдельная тема — разговор о бесконечно дорогом мне поэте и человеке...

Лил необыкновенно противный дождь. Мои сухие носки промокли не от дождя, а только от впечатления о нем. Стук в дверь. Вошел знакомый мне человек, но где и когда я с ним познакомился, убей меня бог, не помню. Это был Александр Довженко. Он носил довольно красивые туфли, но только у них был один недостаток: у них не было подошв. Я ему отдал свои запасные туфли (какой же это корабль без спасательного круга!), и он долго носил их — до получения всеобщего признания.

Тяжело хоронить гениальных людей.

У каждого человека есть мечта: с такого-то числа я начну новую жизнь.

Человек выбирает 1-е или 15-е число какого-нибудь месяца, или, чаще всего, день своего рождения.

Приходит назначенный день — жизнь не изменяется.

У поэта своя мечта: собрать все свои стихи, издать их отдельной книгой и затем... начать писать по-новому.

Чаще всего это не удается, но я все же хочу попробовать *.

Недавно я зашел к Николаю Николаевичу Асееву. Он впервые читал Артема Веселого и был в полном восторге. Артем Веселый — это моя юность. Мы все проходили сквозь заросли новаторства, и каждый из нас, идя к коммунизму, хотел иметь собственную походку. Поэтому, читая Артема Веселого, надо пробиться сквозь джунгли дани времени и прийти к сути этого большого писателя.

Писал он удивительно. Он писал на одной стороне листа. Потом он кнопочками навешивал все эти листы на стенку и шел пешком вдоль своего произведения, на ходу исправляя ошибки. «Ну как, Миша, ничего?» — «Ничего, ничего, вполне

* Предисловие М. Светлова к «Книге стихов» (1929 г.).

ничего!» — отвечал я. Так писал этот великолепный русский писатель. Это был могучий юноша, и хотя его уже давно нет на свете, мне кажется, что вот-вот он ко мне зайдет.

Почему-то в связи с этим наступает мне на ноги другое воспоминание. Была в моем родном Екатеринославе Тихая улица. И жил на этой улице удивительно застенчивый мальчик-комсомолец. Он себе выбрал псевдоним Тихий. А я в это время был солдатом революции (люблю красные слова). Я тогда проштрафился: я обжег руки кипятком и не мог встать на дежурство. Меня отправили на гауптвахту.

Знойный, необычный даже для Украинны день. Моим конвоиром был мой товарищ с уличной фамилией Тихий. «Миша, — сказал он мне, — я задыхаюсь. Понеси ты винтовку». Я арестованный. Сами понимаете, что я мгновенно согласился. Потом я тоже устал, и он вел меня как арестованного. Так мы менялись раз шесть. Я провел на гауптвахте часов пять, а воспоминание осталось на всю жизнь.

Я, бывалый воин, ежедневно спасавший Россию и не имевший никакой другой квалификации, возвращался на бронетранспортере из разведки, где выяснил все фашистские козни.

Два слуха возникли передо мной. На конях шли в ночь Федя Чистяков и его возлюбленная — ткачиха из Подмосковья. Она была неинтересна. Но к нему пришло время стать влюбленным.

У командира сорок четвертой бригады Чиркова была своя блажь: он назначал комбатам только красавцев. Пять батальонов — пять командиров-красавцев. С четырьмя я был знаком.

Недавно я в Доме Советской Армии встретился с одним из них — с Васей Славновым, другом Федя. Это очень странный человек. Он боялся и боится воды. Ему, человеку необыкновенной храбрости, легче было взять любую высоту, чем перейти ручей.

Передо мной опять возникают два слуха — они, уставшие от человеческих страстей, едут понуро. Сидит мальчик на лошади и думает: «Чем бы мне развлечь свою любовь?» Сидит девушка на лошади и думает: «Ну, до чего же мне скучный мальчик попался!»

Наш фронт был на болотах. И мы у проходных мест устраивали так называемые батальоны. Унылый пейзаж оживляли кра-

сивые комбаты. Направленне главного удара бывает не только на фронтах, но и на отдельных участках.

И вот фашнсты кинули огромные силы на отдельный участок.

Поле обстрела из блиндажа довольно ограничено. И Федя Чистяков, нимало не смущаясь, выкатил свой пулемет на крышу блиндажа и стрелял по всем направлениям. Он убил неслучайное количество врагов и вернулся невредимый к себе в блиндаж. Враг больше не затевал никаких затей на его участке. Федя получил орден Ленина.

Он очень дружил с Васей Славновым, о котором я уже упоминал. Ко мне эти люди уже привыкли и не стеснялись меня.

«Ну, как, Вася?» «Ну, как, Федя?» Но стонло только кому-нибудь войти, как Федя вставал: «Ну, что еще прикажете, товарищ комбат?» Ни в одном английском университете не преподают такую дисциплину и такую чуткость.

А погиб Федя Чистяков следующим образом. Он был в гостях в соседнем батальоне. Враги наступали большими силами. Пулеметчик, помня подвиг Чистякова, выкатил пулемет на крышу блиндажа. На войне, как и в литературе, нельзя копировать. Обстановка не та, условия не те. В данных условиях не враг, а сам пулеметчик стал мишенью. Федя понял, что пулеметчик «халтурит». Он бросился на крышу, и тут же его буквально перерезала автоматная очередь.

Я видел много плачущих людей, но как рыдал Вася Славнов над умирающим Федей Чистяковым! Он несколько не стеснялся своего горя. И все равно не этот страшный эпизод остался глубоко запечатленным в моей памяти; остались два силуэта, освещенные фарами моего бронетранспортера: подмосковная ткачиха на коне и влюбленный в нее мальчик.

Чем глубже проникаешь в поток времени, тем явственней возникает железный закон бытия: время регулируется не количеством прожитых дней, а только тем, что в эти дни сделано. Но мы допустим непростительную ошибку, если в таких измерениях будем опираться на факты только собственной биографии. В таком случае беседа будет всего лишь застольной. Время надо видеть и в анфас и в профиль во всех его измерениях. Как ты прожил отсюда и досюда, может интересоваться только очень близкие тебе люди, а их не так уж мно-

го. Для того чтобы быть общественно полезным художником, отрезки измеряемого тобой времени должны находиться между одной исторической вехой и другой. Если так измерять время, то можно, соблюдая нужную скромность, заняться и этапами собственной пройденной судьбишки.

То, о чем я говорю, особенно важно в искусстве и особенно в поэзии. Важно не только твое существование, важно главным образом то, что происходило во время твоего существования и как ты донес до читателя проходившее при тебе время.

Будь я ученым-статистиком, я бы подробно и кропотливо перечислил бы все наши многочисленные достижения, я бы подкинул кое-где нужное количество пафоса, чтобы цифры не выглядели уж совсем сухими. Но я поэт, и этот прошедший год определяю не менее точным мерилом — по чувству размаха. Этот размах определяется не только нашим вторжением в космос, не только массовым ощущением трудового героизма, этот размах ощущается и на родной мне почве — в среде советских писателей. Молодежь перестала безмолвно слушаться, она, эта молодежь, горячо и творчески спорит. Глядя на наших молодых поэтов, и мы, куда более старшее поколение, поднимаем наши морщинистые руки для размаха. Мы не хотим быть венами страны, мы хотим быть ее артериями. Мы хотим участвовать в живой и бесперебойной пульсации страны.

Сейчас я обращаюсь к нашей молодежи. И честно признаюсь, с большой печалью вспоминаю о том времени, когда ко мне обращались как к молодому гражданину, как к молодому поэту. У меня были чудесные современники в моем ремесле. Такие замечательные наши поэты, как Маяковский и Есенин, обращались со мной, как с молодым. И вот прошло время, и я, наполненный возрастом человек, сам обращаюсь к молодежи. Границы между возрастами я так и не заметил. Что же я могу сказать молодежи? Что бы вы ни делали, чем бы ни занимались, старайтесь создать такую атмосферу, чтобы творческое состояние заняло большую часть вашей жизни. Я, к сожалению, не всегда соблюдал это необходимое правило. Соблюдай я его, я бы сделал куда больше полезного, чем сделал.

И еще одно необходимое правило — не соблюдайте при-

ципиальность в мелочах. Принципиальность в мелочах — это оружие обывателя. Как часто мы слышим: «Нет, это я принципиально!», а речь идет о каких-то пустяках. Принципиальность — это оружие, которое, как всякое оружие, нужно держать в чехле. Обнажать это оружие нужно только для большого сражения или для опасной разведки. Сколько мы ни знаем великих людей — это люди великой и гордой принципиальности. Годы, которые мне еще предстоит существовать рядом с вами и для вас, я и думаю посвятить этой большой принципиальности. Я очень хочу, чтобы вы поверили моим желаниям и их осуществлению.

Мне нужно было прописать мою домработницу. В отделении милиции мне отказали, в районном отделении тоже, но направили меня в общемосковский паспортный стол, Ленинградский проспект, 12. Ни на что не надеясь, я все же пошел. Оставалось еще часа полтора до того торжественного момента, когда начальство меня примет, и я двинулся пешком.

Я устал, дойдя до Белорусского вокзала, и присел на тумбочку. Я знал, что мне скучно не будет. И действительно, произошли две аварии. В обоих случаях автобус раздавил частновладельческую машину. В обоих случаях виноваты были шоферы автобусов, но милиция считает всех частновладельцев капиталистами, и какой милиционер откажется оштрафовать Рокфеллера? Оштрафованные частновладельцы горько зарыдали.

Развеселившись, я пошел дальше. К месту своего назначения. И вдруг передо мной возник памятник. Я удивился. Вчера еще этого памятника не было. Потом я все понял. Очевидно, когда в один день в третий раз идешь прописывать свою домработницу, начинает усиленно работать воображение. Я примирился с миром в центре Москвы и решил побеседовать.

«Вы кому памятник?» — спросил я. Памятник не ответил.

Это был памятник средних лет. Почему-то у него на лацкане пиджака красовался значок Общества спасания на водах.

Подошла большая группа людей. Молодежь положила у подножия цветы, пожилые люди — заявления. И тогда я понял, что это памятник бюрократу. И еще я понял, что он ни за что со мной не заговорит, если я не стану таким же, как он. И я решил стать бронзовым. Я — поэт и для меня такая метаморфоза — пустяк. Я стал почти весь бронзовым. Почти — потому

что я оставил на спине довольно большой кусок чистой кожи. Я знал, что если все клетки на человеческом теле перестают дышать, то человек умирает.

Памятник улыбнулся.

«Поговорим, как равный с равным», — произнес он.

«Поговорим», — согласился я.

«Я не могу быть интересным собеседником, находясь на пьедестале», — изрек памятник. «Через полчаса, — сказал он, взглянув на вокзальные часы, — кончится мой трудовой день. Сходим куда-нибудь и за доброй чашей вина искренне поговорим. Вы какое вино пьете?

«Я пью коньяк».

«Я тоже».

«Куда же я денусь в эти полчаса?»

«А вы сходите в обувной магазин, тут рядом. Узнайте, есть ли там чехословацкие туфли с узкими носами. Редко, но все же бывают».

Туфель с узкими носами в магазине не оказалось. Когда я вернулся, памятник уже соскочил с пьедестала.

В привокзальный ресторан нас сначала не хотели пускать.

«В верхней одежде нельзя», — сказал швейцар.

Мы оставили свою бронзу в гардеробной и заняли столик. Я рассказал памятнику-бюрократу о всех своих злоключениях.

«Вот что, — сказал он. — Вы пока что на пути к третьей инстанции. А в девятнадцатой инстанции я главный. Когда до меня доберетесь, мы по знакомству что-нибудь вместе придумаем».

«Это очень долго, — сказал я, — а участковый-то ежедневно ходит ко мне и грозит штрафом».

Памятник-бюрократ почесал затылок.

«Нашел! — неожиданно воскликнул он. — Я-то нахожусь на пьедестале только в свои рабочие часы. В остальное время ваша домработница может на нем отлично проживать».

Я бросился к телефону.

«Дуся! — с невообразимой радостью прокричал я. — Все устроилось. Теперь большую часть дня ты будешь проживать на пьедестале!»

«Это как же — все время стоя?» — услышал я в телефонной трубке.

«Не беспокойся, я все улажу!»

Я помчался к покойному французскому скульптору Гудону и одолжил у него вольтеровское кресло.

И теперь у меня в доме все благополучно. В рабочие часы учреждений моя Дуся работает — варит обед, стирает белье, убирает. А в нерабочие часы москвичи (и командированные) могут увидеть на вокзальной площади скульптуру, какой еще на свете не было: бронзовая домработница на мраморном кресле.

Все обошлось благополучно. Для того чтобы пропнаться, памятникам не надо проходить много инстанций.

...Я говорю о вдохновении не как о «божественном глаголе». Я подразумеваю под вдохновением просто-напросто творческое возбуждение. Оно, это возбуждение, также отнюдь не божественного порядка, оно является в результате накопленного опыта, богатства познанного материала, а также присутствия такого незначительного фактора, как талант. Поскольку я уже упоминал о таланте, мне хочется сказать о нем несколько слов. Я в советской поэзии, должен прямо сказать, прожил не всегда полезную, но долгую жизнь. И сколько раз мне приходилось, да и сейчас приходится, быть свидетелем того, как видимость таланта заменяла собой самый талант. Но видимость не может заменить сути, скандал не может заменить конфликта, происшествие не заменит события, злость не заменит гнев и хорошее отношение не заменит любовь.

Мало того, часто бывает, что талантливые поэты пишут неталантливые стихи. Почему это происходит? Потому что они приступают к своей работе с недостаточной наполненностью, без которой нет вдохновения, и вместо хорошо оснащенного судна получается примитивная лодочка. Поэт не сообщает нам ничего интересного, а только изрекает давно нам известные истины, да и истины подаются не всегда точно. В данном случае поэт постигает незавидная судьба того известного мальчика, который считал, что белые коровы дают молоко, а черные коровы дают кофе. И еще почему у талантливых поэтов получаются неталантливые стихи? Потому, что для убедительности своей работы они ищут доказательства извне, а не изнутри, а это всегда неубедительно. Скажем, можно перечислить и зарифмовать массу туркменских или азербайджанских населенных пунктов, но Туркмению или Азербайджан мы не

увидим. Можно в стихотворение десять раз вставить слово «коммунизм», но дорога к коммунизму от этого не станет короче. Декларативность не может заменить большое волнение. И если нашу работу сравнить с работой парового двигателя, то как часто сила нашего пара уходит на гудки, а не на движение!

И еще вот о чем мне хочется сказать — о нашем взаимном творческом общении. Как известно, вся наша работа перенесена в секции. Это очень правильно, но и этого явно недостаточно. Все равно у наших поэтов продолжает доминировать хуторское хозяйство. Сейчас я объясню, что я под этим подразумеваю. Когда напишешь хорошее стихотворение (а когда оно хорошее — почти всегда чувствуешь), нет у тебя желания побежать к товарищу и поделиться радостной новостью. Ждешь очередного собрания секции. А это ненормально. Кроме союза, клуба, кроме секций, существуют еще наши дома, и если бы мы по-настоящему вдохновенно работали, то живые ручейки бежали бы от дома к дому. Наша проза завоевала любовь массового читателя, наша поэзия сделала это только частично. Получилось парадоксальное положение — мы у читателя можем узнать больше, чем он может узнать у нас. А ведь мы — инженеры человеческих душ!

Может показаться, что я говорю слишком абстрактно — ни одного примера, ни одного доказательства, я не привожу ни одной цитаты из публикуемых в печати стихотворений. Я это делаю сознательно, делаю не потому, что я боюсь испортить отношения с кем-либо из товарищей-поэтов. Гораздо хуже, если можно так выразиться, испортить отношения с самим собой. А они у меня опять-таки, если можно так выразиться, прочно испорчены. У меня в столе сейчас лежит восемь незаконченных стихотворений. Почему я их не могу закончить? В силу вышеописанных свойственных нам недостатков — много пара улетело на гудки, мало угля подкидывал в топку. А ведь в этих стихах есть отдельные по-настоящему хорошие строфы и даже кое-где бьется неплохая мысленка...

Любой предмет отбрасывает тень. Тем более человек. А мы с вами знаем, что есть миллионы световых лет. А свет проходит триста тысяч километров в секунду. Значит, наша жизнь на обывательский взгляд кажется ничтожной. А на самом деле очень содержательна. И сейчас я объясню почему.

Я терпеть не могу быть воспитателем. Я удивительно люблю быть воспитываемым. Все время мне кажется, что любой прохожий на улице мой учитель. Очень мне хочется, чтобы какая-нибудь пятилетняя девочка сказала мне: «Дядя Миша! Ты не так поступаешь!» И прошла мимо. И потом какая-то старая женщина с укоризной взглянула на меня. И тогда-то я и пойму, что любой предмет, даже одушевленный, отбрасывает свою тень...

Какая же тень заслоняет мою тень? Тень соседнего дома? Маловато. Тень всей улицы? Тоже маловато. Тень всего мира? Слишком много. И тогда я начинаю задумываться о своей профессии — она-то и отбрасывает тень. Что ты сделал? И вот тут-то начинается раскаяние о пусто прожитых днях. Где твоя тень? Куда она делась? Была ли это тень ученого, или поэта, или просто случайного прохожего? И тут есть только один ответ на все эти вопросы. Тень отбрасывает твоя профессия. Что ты сделал? Без того, что ты сделал, — ты человек без тени.

Нет тени без света. И никогда не следует понимать тень как что-то темное...

— Зябко, — говорит Марат *.

— Еще бы не зябко! — отвечаю я. — В нашем деле всегда зябко.

— Почему, Михаил Аркадьевич, — спрашивает Марат, — так получается?.. И пишу я как будто неплохо.

— Неплохо, — вставляю я реплику.

— И почему так получается? Не могу я стать читателю таким близким, как отец сыну, как брат брату, хотя бы как родственник родственнику?

И пока я думаю над ответом, соловьи заливаются. Они, соловьи, точно знают свою квалификацию и все время заливаются.

— А потому, что вы еще не промокли до ниточки, — отвечаю я.

— А как найти эту ниточку?

— Если бы я знал! — беспомощно развожу я руками. — Как

* По-видимому, поэт Марат Тарасов. Начало заметки разysкать не удалось. (С о с т а в.)

часто в текстильном производстве нашей поэзии не хватает этой самой ниточки! Я сам мечтаю поймать ее за хвостик. И если я поймаю этот хвостик, я ни с кем не поделюсь. Я эгоист.

— Это заметно,— говорит Марат.

Мы идем молча. Какие-то иволги просят у председателя слова. Соловьи ушли в творческий отпуск. Я думаю, как мне сочинить следующее стихотворение. И Марат тоже думает о своем будущем стихотворении.

— Не такой уж я эгоист,— говорю.— Как только я поймаю эту ниточку, я ею поделюсь с вами. Она достаточно длинная, и ее хватит на всю нашу советскую поэзию. Хорошо писать многие могут, но редко кто может писать необыкновенно хорошо.

Я собираюсь развить свои интересные мысли, но в это время почтальонша вручает мне повестку: «Собрание бюро секции поэтов состоится такого-то числа, в такое-то время».

— А для чего вы собираетесь? — спрашивает Марат.

— А для того, чтобы найти эту самую ниточку, — отвечаю я.

Заря превращается в утро. Рано просыпающиеся люди уже творят свое дело. Проснувшиеся соловьи продолжают свое замечательное, но однообразное пение. Мы с Маратом прощаемся друзьями. Каждый думает о своем.

Женя Винокуров. Поэт следующего за мной поколения. Я ему не предлагаю традиций, я ему предлагаю дальнейшую мою веру в него. Не откажетесь, Женя?

Есть ли в вашей книге недостатки? Конечно, есть. Но ведь недостатков не бывает только у ангелов и гениев, и у обыкновенных людей, которые могут скрывать свои недостатки. Я о них не буду говорить. Моя задача — привлечь к вам еще большее внимание читателя. Может быть, я только слегка упомяну о них. Но начну я с хорошего:

Бывало:

ветки наломай сухие,
Ударь кресалом и полой накрой,
И вот клочочек мировой стихии
Затеплится средь полиночи сырой.

Среди январской темноты военной,
В унылую метель и гололедь
Он, тайна тайны,
из глубин вселенной
Возникнет, чтоб ладони отогреть.

Это очень хорошо. Но вот концовка этого стихотворения «Огонь» неверна:

Огонь в сердцах пророков и провидцев
Огню тому вселенскому сродни.

На первый взгляд это кажется очень мудрым, а на самом деле это нарочная мудрость. Это очень легкая мудрость. Хотите, я (не потому что я такой уж опытный мастер) придумаю такое же «мудрое» четверостишие:

Я верю: час разлуки сократится,
Планеты дальние... Они как будто здесь,
И вот ко мне невзданные птицы
Летят из распахнувшихся небес.

Как будто «мудро» и как будто «красиво». А чтобы написать такое, надо только немного поупражняться. А у поэзии более простая и более сложная задача — найти обыкновенное в необыкновенном и необыкновенное в обыкновенном. Помните у Лермонтова:

Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

Да разве звезды занимаются болтовней? Почему же нас так волнуют эти строки? Потому что звезды разговаривают, как люди, и это необыкновенно, но если они уже стали людьми и общаются между собой — это обыкновенно. Я обещал вам, что только вскользь упомяну о ваших немногочисленных недостатках, и вы знаете, что я человек слова. Перехожу к вашим многочисленным достоинствам.

Прекрасно ваше стихотворение «Моя любимая страла». Мне надоело читать стихи, в которых любовь доказывается. (Девушки, милые! Если ваши любимые «ндейны», но бестелесны, избегайте их, как огня!) Вы, Женя, не показываете ни одного волшебного качества своей любимой, но меня абсолютно рас-

трогало ваше отношение к ней. Пусть читатель у вас поучится, как надо любить. В этом одна из задач поэта.

Очень мне еще нравится другое стихотворение. Оно начинается:

Я не люблю названья по-латынн
Растений, что встречаются в путн.
Ученый для какой-ннбудь польнн
Способен тыщи терминов найти.

Все это стихотворение глубоко человечно. Многое, очень многое мне в вас нравится, но уже Вадим Шефнер яростно бьет копытом и просится в статью.

Вадим Шефнер незаслуженно малопопулярен. Это хороший, благородный поэт, и ленинградцы им гордятся. Он обладает удивительно тонким и точным подтекстом. Для того чтобы не быть голословным, я приведу целиком одно его коротенькое стихотворение:

БЕРЕГА

Рекой разлученные берега
Глядят друг на друга с грустью:
Река широка, река строга —
Одного к другому не пустит.

Пройдут века, иссохнет река,
Подводные травы завянут,
Сойдутся далекие берега,
Обычной сушею станут.

Сойдутся два берега-старнка,
Пожалуются при встрече:
— Вот то ли дело — была река,
А нынче — умыться нечем.

Многие считают, что юмор — это анекдоты. А ведь что такое анекдот? Анекдот — это одолженный юмор. Сам не можешь, вот и одалживаешь. Ваш юмор — не одолженный. Он чеховского порядка. Вспомним «Толстый и тонкий». Это, конечно, очень смешной рассказ, но вместе с тем он чрезвычайно трагедийный. В нем видна вся николаевская Россия, в нем видно

унижение человека, старающегося продлить свое существование.

И у вас есть свои недостатки. Скажем, в стихотворении «Апрель»:

Из песенки-сказки, что в юности снилась,
Пришла ко мне только вчера.

Здесь чувство заменено демагогией. Здесь красивость вместо красоты. Но такие стихи, как «Прощание», «Эхо-птица», «Комиссар», «Тень прошлого» и многие-многие другие, кажутся мне очень хорошим подарком в день моего рождения.

Я нарочно перестал цитировать вас. Пусть читатель купит вашу книгу и сам познакомится со всем тем хорошим, что у вас имеется. В этом плане я работаю лучше Книготорга...

Чего надо бояться в нашем деле? Надо бояться таблицы умножения. То, что девятью девять — восемьдесят один, — не ты сочинил. Любить родину — не твоя идея. А вот как ее любить, ты должен сообщить людям. Ты должен не повторять патриотизм, а продолжать его. Иначе ты будешь похож на человека, который изобрел деревянный велосипед, не зная, что уже есть металлические.

Теперь, прожив и проработав уже много лет, я понял, что нажатием маленькой кнопки можно привести в действие большой механизм. Был бы механизм, а кнопка всегда найдется. Казалось бы, пустяковая вывеска на гостинице, но она заслонила все остальное, что я сделал. И я очень советую молодым поэтам: если у тебя нет душевного накопления, не иди к людям — побудь один...

И еще один мой совет молодому поэту — не пропускай мимо ни одного прохожего. Обязательно заговори с ним! И он обрадуется, и ты как поэт обогатишься.

И еще один совет — не старайся петь басом, если у тебя нет баса. Вот у Маяковского был бас, и я никогда не подражал ему. У меня, видимо, меццо-сопрано.

Ну, если я уж начал советовать, то меня не останавлишь.

Никакого мотора в поэзии еще не выдуманно. Ты можешь плыть только на парусах, и эти паруса должны быть направлены обязательно против ветра. И поэтому меня очень огорчает желание многих молодых поэтов напечататься, а не стать

поэтами. Никого и ничего не бойтесь! Если твоя жизнь, твой труд не подает, то как же ты можешь звать к подвигу?

Я в своей дальнейшей работе понял, что так называемый «метод физического действия» применим не только в театре, но и в поэзии. Можно добиться вдохновения, не покорно дожидаясь его. Скажем, вы набрали на слово, редко встречающееся в стихах. И вы начинаете размышлять — с каким событием в вашей жизни, с чем известным, пережитым сочетается это слово? Не сочетается? Выбрасывайте. Ищите еще.

Однажды я остановился на слове «ангел». Его давно в поэзии не было. Мне захотелось, чтобы мистика послужила совсем не мистическому стихотворению. Значит, мне надо придумать каких-то особых ангелов. Вот вам и готовая строка:

Ангелы, придуманные мной...

И сейчас же последовала вторая:

Снова посетили шар земной...

То же самое я могу сказать и о рифме. Рифма страшна только начинающему поэту, а зрелому она первый помощник.

В чем, я считаю, заключается самая большая опасность для советского художника в обывательской влюбленности в идею. «Ах, какой симпатяга этот коммунизм!» Этого очень мало для полностью вооруженного бойца. Настоящий боец должен любить не самую победу, а путь к ней. Разве все дело в дне победы? Неправда! Все дело в годах борьбы. Я вспоминаю о войне. Затемненные окна все мне светят куда ярче освещенных окон победы. Будни войны. В этом вся прелесть моих воспоминаний. Победа! Это очень удобное шоссе, покрытое асфальтом мемуаров. Будни войны! Я никогда не забуду глубоких воронок на этих дорогах. Вот так и надо писать стихотворение. Радость не в конечной станции, радость в пути.

Нарисованную колбасу не может съесть ни один человек. Вывеска не вешается на граммы. И вывеска не может быть больше витрины. Подумаем о сокращении вывесок в нашей литературе.

Подумаем о подходе к стихотворению. Стихотворение — это женщина, с которой ты собираешься жить всю жизнь! Ни-

каких пошлостей, одна строгость. (Умница Смеляков! Он назвал свою поэму «Строгая любовь».)

Во всем нужна точность. Нужно точно убивать врага и нужно точно обнимать друга. (Как часто этого друзья не понимают!)

Теперь поговорим о случайности, которая является закономерностью. Первым и обязательным законом для рождения стихотворения является накопление чувств.

Часто мне приходится слышать от своих товарищей по ремеслу: «Вот какая у меня появилась чудесная строчка!» Сама по себе эта строчка, может быть, и хороша, но если она ничему не служит, то так она и будет мерзнуть в твоём мозжечке, как беспризорный в яварскую ночь.

Как много людей пишут стихи — и как мало среди них поэтов! Почему это так получается?

Потому, что на первый взгляд труд поэта кажется очень легким. Зарифмовал, скажем, «березы — морозы», построил стихотворение столбиком, стараешься убедить своего читателя в том, что ты удивительно, безумно любишь учиться или трудиться. На самом деле это совсем не так.

У поэта должен быть свой, особый взгляд на мир. Он должен видеть то, чего не видят другие. Одно дело — глаза рядового читателя. Иное дело — зрение художника. Скажем, ваш сосед по квартире обладает стопроцентным зрением. А у вас близорукость. И вы носите очки. Но если вы поэт, ваша обязанность — увидеть в жизни то, чего не разглядел ваш сверхзоркий сосед. И ваша задача — рассказать ему об увидении так, чтобы он изумился: «Смотри-ка, этот босяк, оказывается, умеет различать редкие и очень любопытные вещи, которых лично я не замечаю».

У нас часто происходит так. Молодой поэт едет на целину и тут же дует поэму о целине, едет на Магнитку — и тут же перед потрясенным читателем стихи о Магнитке. Но поэмы эти и стихи никого не трогают. Почему это происходит? Потому что чувства еще не накопились. Нельзя мир ощущать только зрением, только слухом или только обонянием. Нужна

мобилизация всех чувств для того, чтобы написать хотя бы только одно стихотворение.

Вообразим, будто никто до вас не говорил, что пятилетку надо выполнить в четыре года. Но одно дело — высказать такую мысль в передовой статье «Киевского пролетария», другое дело — в стихах. Почему? Потому что мысль в стихах, даже самая новая, должна быть выражена средствами искусства. Скажу больше: она не должна бросаться в глаза. Мысль в стихах обязана действовать, как большевик в подполье. В чем успех подпольщика? Его никто не видит, а он хозяин положения. Сам он в тени, а все кругом освещено его действиями. Вы понимаете? А у вас мысль на виду с первых же строк...

У Гёте есть замечательное определение путей поэта. Гёте говорит: сначала поэт пишет просто и плохо. Следующий этап, когда он пишет сложно и тоже плохо. И наконец, вершина поэта, когда он пишет просто и хорошо.

Есть стихи-офицеры, стихи-генералы. Порой попадается стихотворение-маршал. У меня такой маршал — «Гренада». Правда, уже довольно дряхлый. Ему пора на пенсию. Но он пока не уходит. Есть два генерала. «Каховка» — тоже в солидном возрасте. И — средних лет — «Итальянец». А сколько рядовых необученных!..

Беда, поразившая многих поэтов: они больше любят свои переживаниями, чем заражают ими читателя. «Ах, как мне грустно» или «Ах, как мне весело» — это еще не есть переживание, это только сообщение о нем, а мы можем верить и не верить. Чаше не верим.

Если ты в своих стихах навязываешь свои чувства читателю, то в жизни ты это делаешь куда более активно, что

большой радости никогда не доставляет. Стремление быть интересным, не всегда располагая достаточными для этого средствами, — тяжелая вещь для друзей и знакомых.

Самое тяжелое для поэта преступление — видимостью чувства заменить самое чувство.

«Я талантлив, и поэтому читатель простит мне мою небрежность в работе». Не простит! И я не прощаю.

Поэзия — это неисчерпаемое богатство. Сколько его ни раздавай, никогда банкротом не станешь.

Хороший поэт — гордость нации.

Самая главная черта в поэте — это непосредственность общения. Он разговаривает со мной.

В чем прелесть талантливого человека? В том, что он умеет беседовать с людьми.

Некоторая грусть необходима веселью, как молибден стали. Хорошая грусть лучше плохого веселья. Радость не бывает в чистом виде. Настоящая радость — это гибрид прошлого с настоящим. Ничего не пережив, нельзя радоваться.

Мне лично на земле надо очень много места, и не такой уж я щедрый, чтобы отказаться от вечной славы. Скромность вовсе не заключается в том, что ты от чего-то отказываешься. Скромность — это прежде всего тактичность.

Великий закон искусства: для того чтобы все замечать, надо быть незаметным. А у хороших поэтов все получается

наоборот — они стараются быть незаметными, а их все равно замечают.

Я всегда в своей работе стремлюсь к неожиданной убедительности.

Я часто вспоминаю море. Иногда мне его очень жалко, оно любит покой, а в него бросают бомбы. Оно философски поэтично. А философия и поэзия не любят насилия.

Каждое дело требует квалификации. Никто не может стать ни врачом, ни инженером без специальной подготовки к этим профессиям. А вот в моем деле многие считают, что никакой квалификации не нужно. Была бы так называемая «душа». Отсюда и идет массовая плохая любительщина... Это заблуждение многих, и многим это заблуждение приносит радость.

Чтобы стать поэтом, нужен, конечно, талант. Затем нужна большая убежденность, нужна любовь, из которой рождается ненависть к нашим противникам твоей любви. Затем нужно мастерство. Затем нужно сохранять в себе состояние всегдашней работы.

Книга стихов может быть посвящена одной теме, и в этом ничего дурного нет. Но в таком случае стихи должны быть поданы в разных планах. А если много стихов подано в одном плане, то невольно получается впечатление, будто бесконечно повторяется одно и то же стихотворение. «Раньше было плохо, а теперь хорошо» — так можно сказать один, от силы два раза. Черная и белая краски — далеко еще не все краски художника.

Хочу упомянуть об одном недостатке, свойственном некоторым поэтам. Речь идет о ложном мастерстве. Допустим, вы придумаете форму строфы: шесть строк на одной рифме или

повторяющаяся строка в конце каждой строфы. Это хорошо только в том случае, если из этих готовых формочек вырывается темперамент. Если же темперамент застывает в них, как желе, то это уже не мастерство, а стихотворное упражнение.

Стихотворение должно оплачиваться как стихотворение, а не как определенный набор строк. Это принесет пользу и редакции, и поэту, и читателю.

Не всегда надо выбрасывать только плохие стихи. Мастерство заключается в том, чтобы во имя целого удалить и хорошие стихи.

Я удивительно не люблю быть назойливо афористичным, но в этой статье я таким буду. Мне так легче.

Что же мне не нравится в современной поэтической молодежи? Это создание искусственных солнц. А когда идешь в непогоду, далекая и не сразу доступная тебе русская печь светит ярче самого сильного солнца.

Здравствуй, русская печь моей советской поэзии! Когда ты со мной, на кой черт мне паровое отопление! Я обязательно должен быть почти замерзшим, прежде чем я дойду пусть до маленького, но все же удивительно теплого огонька искусства. Видите — афоризмы, как бешеные собаки, преследуют меня. И никакие пастеровские прививки мне не помогут. Пожалейте меня. И все равно я полон надежд. Я, маленький заяц советской поэзии, убежден в том, что никакие собаки меня не догонят.

Я сравнительно легко переношу свои несчастья. Если ты настоящий художник, то твоё счастье должно быть всеобщим, а несчастье — обязательно конспиративным. Чем больше уходит несчастье в подполье, тем оно трагичней. Плачущая мать быстро исчезает из памяти, молчаливая мать — не исчезающий образ. Слезы — это не принадлежность лирики. Сдерживаемые слезы — это принадлежность лирики. Демагогия принадлежит

всем. Настоящее чувство — далеко не всем. Как я хочу, чтобы следующее за мной поколение научилось отличать чувство от демагогии.

Самое трудное для молодого — быть молодым. Хорошо было англичанину Байрону, когда он погиб за Грецию. Хорошо было погибнуть Лермонтову от пули Мартынова. А хорошо ли мне, состарившемуся и поучающему молодежь, погибнуть за великое дело?.. Трудно ли быть молодым? Мне не трудно!

Я просто мечтаю написать «Сказку летчика». И хорошо написать. Хорошо потому, что иначе это не имеет смысла. Лучше я верну полученный аванс, чем выпущу рукопись хотя бы с маленькой царапиной. В готовой рукописи все должно быть, как в настоящем саду. Поэтому нельзя торопиться. Для этого надо сидеть и старательно выгребать из своих кладовых все, что накопил. Я очень жалею тех литераторов, у которых нет таких кладовых и которые пишут сиюминутные вещи. Между прочим, такие авторы у нас еще водятся и среди поэтов. Они, кстати, путают моду и славу. Это легко спутать, но совершенно необходимо все ставить на свое место. Багрицкий умел это делать. При жизни он не знал острой популярности, а вокруг иных имен в ту пору было много шума. И что же? Багрицкий сегодня один из самых широко и любовно читаемых поэтов, а тех «иных» помнят лишь только библиографы. Да, моду и славу нужно уметь разделять. Трудись. Не жалея сил на учебу. Каждому поэту, особенно молодому, даже талантливому, невозможно жить без учителя. А у нас бывает, что остаются без него даже в начале пути. И это, конечно, сказывается... Учиться — это не значит школярничать. Нет, это значит работать до седьмого пота, жить, читать... Серьезно, по-настоящему читать. Других авторов, разумеется, сначала.

Самое главное в искусстве, в любом его виде — это судьба человека. Беда многих молодых поэтов в том, что они об этом забывают и во что бы то ни стало хотят быть интересными. И тогда получается так, что они, убегая от банальности, банальны в своем оригинальничании.

Не надо стремиться к оригинальности «как к таковой». Надо сильно любить, сильно чувствовать, знать, во имя чего ты работаешь, идти от жизни, — и «оригинальность», если понимать ее как свое неповторимое видение мира, придет сама. Надо постоянно накапливать жизненный опыт, учиться понимать людей и говорить о том, что тебя волнует.

В чем же заключается главная задача советского поэта?

В том, что ты обязан сообщить своему читателю что-то очень ему необходимое. Без этой задачи ты не поэт, а самый обыкновенный культурник. Я вовсе не хочу охаивать наших культмассовых работников. Они делают большое и полезное дело, и я с полным уважением отношусь к ним. Я просто хочу сказать о редкости таланта.

И еще о том (это уже побочный разговор), что плохой человек не может стать хорошим поэтом. Как ты можешь уговорить читателя стать лучше, если ты сам ничего не стоишь?

Есть поэты огня и поэты теплоты. Первые более заметны. И как будто у них преимущество. Но огонь можно погасить сразу, а теплоту сразу не погасишь... Однажды в военном госпитале лежал эпилептик, у которого были страшные припадки. Но врачи сомневались. После припадка пришел врач и спросил: «А землю он грыз?» — «Нет». На следующий день у него опять был припадок, и он грыз землю. Его тут же отравили в штрафную роту. Есть поэты, которые, надо ли, не надо, грызут землю.

Поэт-переводчик, поэт-сатирик, поэт-песенник... Кому это нужно? Если речь идет о настоящем поэте, приставки не требуются. А если это ремесленник, зачем, обозначая род его занятий, писать вначале «поэт»? Ведь он не заслуживает такого звания.

Я видел много исторических картин. Обычно их главные герои были так заняты своей историчностью, что им некогда было жить, радоваться.

...Изношенный прием. Сколько мы видели на сцене и в кино ветеранов войны, диалог которых неизменно начинался с фразы: «А помнишь?..» И затем возникали батальные сцены. Этих «А помнишь?..» в искусстве так много, что нужен арифмометр, чтобы сосчитать их.

Можно идти к правде в искусстве разными путями, но не всегда к ней нужно идти только пешком. Орел — произведение земли, но это произведение летает.

В искусстве суровый человек более добр, чем добрый.

Когда страдание не входит в мир искусства, оно остается только страданием.

...Книжка очень похожа на него самого (самое ценное качество в искусстве).

Душе не всегда необходимо пламя. Оно нужно главным образом тогда, когда ты борешься, а когда ты по-сердечному беседуешь с друзьями, нужен огонек, на который сбегаются зрители и читатели.

Язвительность — не единственное оружие сатиры. Вспомним великого сатирика Гоголя с его огромной доброй душой.

Мы родились не на голой земле — и до нас были поэты. И у каждого из нас был свой предшественник — я говорю не о подражании, а об отношении к людям и к жизни.

Пушкин никак не похож на Державина, но если бы не было Державина, я не знаю, что было бы с Пушкиным.

Соединение таланта, любви и доброты — это и есть настоящая поэзия.

Поэт! Его задача заключается не только в том, чтобы состоять членом Союза писателей, а главным образом в том, чтобы вызывать у людей поэтическое отношение к жизни, к работе, к человеческому общению.

Какова конечная цель поэта? Чтобы родина гордилась им.

...Авторитет моей профессии, о которой принято думать, что она должна нести только служебную функцию. Поэзия обладает драгоценным качеством — теплым, задушевым разговором с людьми.

Большой поэт не просто шагает в строю, а ведет строй. Большой поэт не похож на другого поэта.

По поэзии нужно блуждать, как по незнакомому городу, — за каждым углом тебя ждет радостная неожиданность.

В поэте, кроме его устремленности, я больше всего люблю неожиданность образа.

Каждый хороший поэт сам знает, чем он богат. А вот то, чем он беден, хороший поэт не всегда знает, не всегда точно чувствует.

Пусть это звучит парадоксально, но многие наши поэты страдают одними и теми же достоинствами и блещут одними и теми же недостатками.

В кино есть такое определение — синхронность. Это когда звук совпадает с изображением. У поэзии своя синхронность — когда поэт совпадает со своим читателем. И наконец, есть третья синхронность — это когда старый поэт совпадает с полубившимся ему молодым поэтом.

Приходит ко мне множество молодых поэтов. Они милые и естественные, а стихи их не милые и не естественные. Стихи живут вне поэта, а не являются его сутью. Поэт себя доказывает, а не показывает. В таких случаях доказательства всегда не убедительны.

Обычно молодые поэты начинают с «фокусов». Вот, мол, я какой необычный! Они еще не понимают, что самое трудное в поэзии — быть обычным. Надо научиться сидеть с читателем за одним столом, а не стоять отдельно и показывать фокусы. Меня самого этому научила жизнь. И доходят до моего читателя только те стихи, в которых я сердечно беседую с ним. Трибуна в поэзии — это не отдельное возвышение. Трибуна в поэзии — это когда ты сидишь во главе стола и все ждут — что ты хочешь сказать и что ты скажешь.

Идеал для каждого стихотворения — стать очень интересным письмом к читателю.

Там, где фольклор не преломлен через индивидуальность поэта, там стих и беден и невыразителен. Там мы видим много раз виденное, слышим много раз слышанное. Там и березки, которыми многие другие поэты уже давно отапливают свои стихотворения, и не новые образы.

Когда стихотворение пытается меня растрогать, то кажется, что из меня административно вышибают слезы.

...Хорошая наивность, которую так часто ловишь и которую тем не менее не всегда удается поймать.

Стихотворение, как человек, должно быть хорошо одето; не следует, чтобы оно появлялось перед читателем в грязном платье.

Союз писателей виноват, мне кажется, в том, что мы мало знаем хороших поэтов других городов. Он мало занимается периферийными писателями. «Сидите-де в своей области, а мы уж о вас позаботимся!»

Тяжелым грузом лежат на полках книги стихов. Почему не издаются чтецы-декламаторы, которые разошлись бы мгновенно?

У меня есть предложение к Огизу и Союзу писателей. Надо издавать ежегодные сборники лучших стихов. Таким образом, читателю не придется покупать все вышедшие книги, а лучшие стихи последнего времени он сможет прочесть в одной книге. Такую книгу можно издать каким угодно тиражом.

Прежде всего лирика не может и не должна быть благополучной. Ты любишь ее, она любит тебя? Ну и целуйтесь на здоровье. При чем здесь читатель? Тревога, бездомность, личная неустroенность и неустroенность мира, сильное, но безответное чувство — вот что рождает лирические стихи. Где благополучие у Лермонтова, Блока, Есенина? А Маяковский! «Для веселия планета наша мало оборудована!» Стихи о счастье? Пожалуйста! Но безоблачное счастье — религия мещан. Абсолютно правильный человек — это очень скучный человек. Благополучие — гибель поэзии.

Я часто думаю: каким образом происходит процесс творчества? И эти думы мне очень мешают — я начинаю констатировать вместо того, чтобы чувствовать: вот я радуюсь, вот я печалюсь, вот я люблю, и через час будет готово стихотворение. Это может привести к полной гибели твоей как поэта.

Не бойтесь вводить в стихи слова, казалось бы, для них негодные, канцелярский оборот, производственный термин, даже блатное выражение — все годится. Любое словцо может засверкать, если вы его заставите работать на себя. Слово-простолудни, входя в стихотворение, робко вытирает на порошке ноги, а потом, глядншь, становится хозяином в доме.

Есть один закон образа: если ты сравниваешь один предмет с другим, предмет теряет все свои первоначальные свойства и приобретает свойства того предмета, с которым его сравнили. Если бы я сказал, что Голодный похож на Стеньку Разина, то Голодный потерялся бы, и я мог бы уже говорить о нем, как о Стеньке Разине, что он кинул Елену Усиевич в набегавшую волну.

Детская манера разговора вовсе не заслоняет социальной направленности произведения, а, наоборот, часто помогает выявлять ее. Великие сказочники придерживались этого. И поэтому они одинаково дороги и детям и взрослым.

Важно уметь сокращать. Когда-нибудь я напишу учебник. А что? Чем я хуже Лapidуса и Островитянова? Только я назову этот учебник — поэтическая экономия.

Корневую рифму придумали не в Литературном институте. Ее изобрел народ. А вообще, хотите, я вам скажу всю правду? Не в рифме дело. Важно, чтобы, прочитав стихотворение, вы стали чище, выше, лучше. А какая там рифма — точная, глагольная, ассонансная, корневая, — ей-богу, дело десятое!

Ученый употребляет слова в прямом значении. А в поэзии, как в живой речи, все решает интонация. Она может очень далеко отлетать от непосредственного смысла. В науке слова идут ровным шагом, в стихах — разбегаются, скользят, взлетают.

Поэт имеет право написать: «Я ее люблю», но если это превращается в «смотрите, как я ее люблю», — стихотворение зачеркнуто.

Для начинающего поэта рифма — графиня, для зрелого поэта — служанка.

Мастер строку строит, а стихотворение лепит.

Нельзя прямо выражать свои чувства.

Фантазия нуждается в подробностях. Фантазия без подробностей — это теория без практики.

Романтика — это когда человек стоит на земле, но поднимается на цыпочки, чтобы дальше и выше видеть. Беда, если он оторвется от земли, тогда он пропал. Никакой настоящей романтики не будет!

Искусство — это не копирование действительности, а вера в нее. Вот почему я предпочитаю романтизм реализму. Для меня Красная шапочка куда более реальное существо, чем Кавалер золотой звезды, а волк значительно более опасный классовый враг, чем кулак во многих поверхностных произведениях.

Искусство — это беседа. Это Пушкин, который с вами разговаривает. Не надо кричать. Читатель не глухой.

Литература — это когда читатель столь же талантлив, как и писатель.

Лирика — не приложение чувств.

Лирика — неизложенное чувство.

У нас думают, что лирика — это дневник. А это драма.

Моя профессия — не исследовать прекрасное, а восхищаться им. Для меня поэзия не анатомический театр, а вечно пульсирующее живое тело.

Художник — тот же охотник. Но с небольшой разницей. Охотник хочет подстрелить зверя, а мечта художника — чтобы зверь на него напал.

Художник — это абсолютная мобилизация, рядом с небрежностью.

Писание стихов — это дорога на каторгу. Но когда приходишь — оказывается, что там цветущий луг.

Сердце поэта всегда вмещает в себе больше, чем оно может вместить, и быть нормальным не может.

Поэт — это тот, кому нужно все и который сам хочет все отдать!

Поэт стремится напоить читателя из чистого родника поэзии, но он не может это сделать прежде, чем там не выкупается редактор.

Поэтическая флотилия состоит не из пароходов на топливе, но из судов парусных.

Если в писателе нет вулкана, надо подложить под него некоторое количество взрывчатки. Аммонал поможет ему стать темпераментным.

Задача советского поэта — стать ближайшим родственником своего читателя.

Советский поэт должен обладать обостренным, почти болезненным чувством братства.

Каждый поэт мечтает написать такое стихотворение, которое хотелось бы читать шепотом.

Поэт обязан относиться к читателю с доверием и уважением.

...И я заметил, что грань между писателем и читателем как-то стирается. Разве есть граница между деревом и почвой, на которой оно растет?

В любом случае оставаться самим собой — вот лучший способ завоевать читателя.

Административное оружие в руках писателя авторитетно только для прохожих, а не для читателя.

Гоголь, Щедрин, Гулливер — патриоты. Сатира — это всегда путешествие в страну дураков. Если по пути попадаетесь хоть один умный — маршрут изменяется и мы переходим в другой жанр, вероятней всего — в жанр памфлета.

Гений — это вечная наша дружба с ним.

Любить могут многие, а по-настоящему видеть может только художник.

На спекуляции чувств поэт долго не проживет. Эта губная помада мелких чувствишек скоро сотрется. Сам потом пожалеет...

Маяковский. Знаете, что это такое? Это нервная система Октября.

В искусстве обязательно должен наступить тот момент, когда золото начинает серебриться, и тогда оно становится еще дороже.

Нельзя заниматься литературой во вторую смену, тем более — в ночную. Она этого не прощает.

Давайте писать так, чтобы нравиться друг другу!

От моря можно брать ясность, синеву, грозность... Но зачем же брать воду?

Памятники — это не только гранит или мрамор. Это тени ушедших. Ушедших, сказавших свое навсегда запоминающееся слово.

Черт его знает, где твое «лучшее» стихотворение. Всегда кажется, где-то впереди. А может быть, позади? Может быть, и плыть-то не стоит? Нет, стоит! Никто из нас не знает, на что он способен завтра. Вот без веры жить трудно. И еще, — чтобы тебя хоть чуть-чуть любили...

Когда я пишу, мне начинает казаться, что я хороший человек.

Я добиваюсь у читателя чувства изумления.

Когда я читаю стихи какого-нибудь поэта, то первое мое опасение: можно ли ему верить, ведет ли он меня в нарисованное или в существующее.

Когда я читаю хорошие стихи о войне, я вижу: если ползет солдат, то это ползет солдат. А тут ползет кандидат в Союз писателей...

Пусть теперь стихотворение отлежится, посохнет, а потом надо будет его заново писать. Оно задумано гораздо интересней, чем написано.

Сочинение стихов по сравнению с драматургией — это санаторий повышенного типа. В стихах я один отвечаю за все. Написал хорошо — вот я какой молодец! Написал плохо — сам расхлебываю. Одно дело — лирическая муза, как там ее зовут? Правильно, Евтерпа. С ней встречаешься один на один, без свидетелей. А театр — это коллектив. И Мельпомена уже нечто вроде заведующей целым учреждением. Вы можете написать гениальную пьесу. Но надо, чтобы ее верно почувствовал режиссер, поняли актеры. Чтобы художник и композитор были ваши союзники и соавторы. Если хоть одно звено не сработало, ваш труд может оказаться напрасным. Правда, может случиться и так: вы сплеховали, а театр вывез. У меня ведь и такое было. Но все это сложно...

Юность — это то волшебство, без которого наше искусство жить не может. Не надо забывать о том, уже, правда, архаическом, но необходимом для художника чувстве, которое наши классики называли вдохновением. Что-то мало мы говорим о нем. Оно и приводит к тому волшебству, которое покоряет нашего зрителя и читателя.

Начинающий писатель должен следовать по стопам своего учителя, но не по его стопкам.

Он начинал, как рубль, — все-таки солидная монета, потом разменялся на гривенники. Боюсь, дело кончится тем, что за него и гроша не дадут. (Об одном преуспевающем поэте.)

У него весь пар уходит на свистки, а не на движение. (О поэте, вокруг которого была создана чрезмерная рекламная шумиха.)

Он стоит по горло в луже и думает, что ему море по колено. (Поэт-маринист.)

Давний знакомый, плохо чувствующий поэзию, очень грубый и толстокожий, знаете, такой интеллектушка — буйная голова, спросил меня: «Вот я все слышу: образность, образное мышление. Почему нельзя писать просто, чтобы все понимали?» Я в ответ рассказал ему старый анекдот — это соответствовало уровню вопроса да и общему уровню развития собеседника. Анекдот такой. Два человека смотрят голливудский боевик с ужасами, убийствами, кровью. Один другому говорит: «Как страшно, у меня даже мурашки по спине бегают». Второй отвечает: «У меня тоже. Одну я уже поймал». Вот этот второй не понимал, что такое образное мышление. Из него вышел бы неплохой редактор... Мой знакомый обиделся: «Вечно вы с вашими штучками. Несерьезно...» Но все-таки, я думаю, он получил первоначальное представление о том, что такое художественный образ...

Мой старый друг, мой земляк рассказал мне вот что. Он живет в бывшей дешевой гостинице. Однажды утром он вышел из своей квартиры. Он был в полосатой пижаме. Его соседка — женщина, занимающая какую-то полуответственную должность, — со своей маленькой дочкой стояла у порога. Эта женщина пристально посмотрела на моего друга и сказала: «Знаете, вы

настоящий зебр». Дело вовсе не в том, что она не знает, как зовут по-настоящему мужчину-зебру. Дело в том, что она абсолютно убеждена в точности своего вкуса. Она убеждена в том, что человек, только проснувшись, должен надевать идеально разглаженный костюм. А мыться когда и в чем? Неужели в идеально разглаженном костюме?

И дело вовсе не в этой женщине. Дело в ее дочке. Как она будет воспитана такой матерью? Время идет, девочка станет девушкой, девушка — матерью, и эта грядущая женщина начнет плодить мещан. Вот что для меня страшно.

Есть ведь такие домашние хозяйки, которые воображают, что они своим обедом кормят все человечество. А все человечество для них заключается в муже, который не представляет никакого интереса для человечества, и в детях, которых они испортили по мере возможности.

Мещанство — это облачко, возомнившее себя тучей. И в чем трагедия тучи: в том, что она родилась и с детства хотела быть облаком.

Позту нужна женщина, собирающая облака, а не гонорары.

Ужасное сообщение. В районе острова, имя которого носит Венера, кажется, в Эгейском море, дотошные археологи ныряют, ищут недостающие руки богини. И я все думаю — не дай бог найдут да и приладят их к туловищу. И Венере — крышка. А потом разохотятся и раскопают где-нибудь крылья нашей Ники. Прощай, незавершенность, до свидания, воображение!

Сколько ученые ни копаются, никак не могут найти мемуары неандертальцев. Ученые только установили, что у неандертальцев были вспыльчивые характеры. Откуда они это узнали? Бог с ними, с учеными!

Идея — это океан. И как только делаешь из нее бассейн для домашних потребностей, вода сразу мутнеет. Куда идешь? Для чего живешь? Не считаешь ли ты тропиночку главной дорогой? Стоит только одной параллельной линии хотя бы на одну сотую миллиметра отклониться от другой, и через некоторое время между линиями появляется страшное расстояние. Идея параллельна жизни. Не допускайте, чтобы они отклонились друг от друга.

Обыкновенному человеку стать гением невозможно. Но все равно мы все должны стремиться к этому. Движение вперед необходимо так же, как и дыхание.

Обыкновенный человек доставляет радость только некоторым своим знакомым, а талантливый человек — почти всему человечеству.

Человек, не наделенный талантом, — если в одном не удалось, займется чем-нибудь другим. У талантливого нет выбора.

Какая разница между модой и славой? Мода никогда не бывает посмертной. Посмертной бывает только слава.

Никто не знает, как быть счастливым. По-моему, просто нужно очень любить жизнь, не кричать о мировой катастрофе, если встретишь плохого человека или подлеца, знать, что полезен. И еще чуточку любить стихи.

Все люди — одного возраста. Только одни обременены опытом, а другим его не хватает. Делясь опытом, ты делаешь молодых взрослее и сам становишься моложе.

Разлука не только в больших расстояниях, но и в пригородных поездах.

Когда у тебя нет собственной боли, ищи чужую. И помоги владельцу этой боли.

Несчастья нет, нет счастья.

Слишком поздно начинаешь понимать, что молодость — это не достоинство, а только возраст.

У меня осталась единственная десятка. Хочу сходить в нотариальную контору — снять с нее копию.

Нужно швыряться большими деньгами и уметь беречь маленькие. И тогда большие деньги становятся маленькими, а маленькие большими.

Занимать деньги надо только у пессимистов. Они заранее знают, что им не отдадут.

Берешь чужие и на время, отдаешь свои и навсегда! (Деньги.)

У меня деньги гости, не хозяева.

И золотые зубы выпадают.

Я всю жизнь меняю гнев на милость. С разницы живу. Но иногда это надоедает.

В жизни нужно уметь шагнуть за порог.

Мания величия — это когдамышь вообразила себя кош-
кой и сама себя съела.

Шло время. Оно шло как милиционер. Оно меня часто
штрафовало.

Один атом
Ругался матом,
И за это его исключили из молекулы.

Маленькие парашюточки...

Красивые слова — это для командированных.

Пейзаж — не человек. Чем более он банален, тем он лучше.

Незаслуженно хорошее состояние только у идиотов. Хорошее
состояние надо заслужить.

Это была знатная доярка. Каждая корова у нее имела свое
Вымя-Отчество.

Улыбка и шутки должны пронизывать серьезность, как лав-
сан шерстяную ткань. Тогда человеческие отношения не будут
мяться.

Тихий Дон-Жуан.

«Былое и дамы».

Солдаты — по стойке, поэты — у стойки.

Не выдумка создает сказку, а действительность. А вместе с тем выдумка может быть действительной действительности.

Конфликт не только между людьми, но и между твоим утренним состоянием и вечерним.

Жэк-потрошитель.

Анонс, анонс... Нужен был аванс — появился анонс.

Историю можно найти только по следам ее преступлений.

В капустнике: Девушки выходят под музыку: «Если бы парни всей земли...»

Тени были высокие, выше яблонь, и они думали, что это они приносят плоды:

Спокойствие сильнее бешенства.

Есть могущество палача. Но даже крепко связанная справедливість могущественней своего палача. Это доказано историей.

Тела давно минувших дней.

Противоречивость не обязательно должна быть наглядной.

От него удивительно пахло президиумом.

Как легко быть Гарун-аль-Рашидом! А мы почему-то делаем это так редко.

В жизни, как и в искусстве, лучше всего видят полужакрытые глаза.

Декады, декады... Мы имеем декаданс нового типа.

Дружба — понятие круглосуточное.

Только дурно воспитанный человек стремится всегда играть роль воспитателя.

Красивый я получаюсь только на шаржах.

Недоедливый этот Светлов.

Утопающий хватается за соломинку. (В коктейль-холле.)

Сердечную теплоту никогда не заменишь теплотой парового отопления.

Даже сон должен иметь точный адрес. Без адреса ничего не бывает.

Праздники создаются в буднях.

Легенды имеют одно свойство — их не замечаешь, когда они творятся.

Лицо — это не паспорт жизни.

Только мертвец не знает жизни.

Я чувствую себя птицей, которая едет в ломбард выкупать свои крылья...

Толстой, конечно, великий писатель, но тяжелый человек. За столиком я хотел бы сидеть с Пушкиным.

Перевод с говяжьего...

Братья Ругацкие. (Два критика, затеявшие перепалку на страницах печати.)

Когда я их читаю, никак не могу понять, стоит ли мне читать книги, о которых они пишут. Все равно, что по котлете представить себе, как выглядела живая корова. (О критиках.)

Вы знаете, кого напоминает мне наш докладчик? Это тот сосед, которого зовут, когда надо зарезать курицу. (О критике).

Он — как кружка пива. Прежде чем выпить, надо сдуть пену. (Об одном поэте.)

«Что им делать? Ведь их обоих в литературе не существует». — Не существует? Но зато какая между ними идет борьба за несуществование!

«Удивительно! Говорят, раньше он писал посредственные еврейские стихи, а теперь

у него великолепная русская проза». — Дорогая, не перейти ли тебе на еврейские стихи? (Писательнице А. — при обсуждении повести Казакевича «Звезда».)

Уверяю вас, он вовсе не такой дурак, каким он вам покажется, когда вы его хорошо узнаете...

Уцоненный Мейерхольд! (Об одном режиссере.)

Какая разница между современным веком и прошлым? Тогда писали письма, переписка была формой человеческого общения, это были письменные беседы, разговоры. А теперь часто пишут открытые письма, чтобы публично показать, что у адресата такие-то ошибки. Это не общение.

Нет ничего лучше, чем обнаруживать в старом друге новые качества.

Я могу жить без гор, без долин, без равнин. Но я не могу жить без людей. Черты милого русского мальчика или девочки напоминают мне всю землю. Я никогда не был за границей. Я был за границей только во время войны. Я видел пылающую Польшу и Германию. Мне казалось, что, если не я, Берлин не был бы взят. Я никогда не был космополитом. Но я никогда не был бы настоящим советским человеком, если бы не любил всю землю. Я никогда не видел ни одну полинезийку, но убежден в том, что это моя родная сестра. И это идет не от моей разбросанности чувств.

Я, безусловно, абсолютный невежда в музыке, но для меня композитор может быть очень интересным. Я люблю Бетховена и Чайковского не потому, что они общепризнанны, а потому, что, когда я их слушаю, с меня сползает ненужная бытовая шелуха, я становлюсь намного более открытым, и степень одаренности композитора я определяю по тому, что и как я думаю, когда слушаю его музыку. Плохую музыку я мгновенно

узнаю по ее административности. Она мне приказывает — будь веселым или грустным, а я в это время думаю о том, что мне нужно сегодня зайти в редакцию, или что у меня выключат телефон, если я вовремя не внесу плату за него, или о чем-либо другом, будничном. Короче, я не выполняю распоряжения плохой музыки — быть веселым или грустным. Хорошая музыка делает любого человека тоже талантливым, любого слушателя — творческим человеком; плохая музыка — это автомобильные гудки, мешающие тебе думать.

Москва заслуживает не одного сборника, а многих. Москва заслуживает того, чтобы в произведениях, даже не посвященных ей, она существовала, как удивительно родной город. Это настолько родной город, что, если я даже отъезжаю хоть километров на двадцать от нее, у меня ощущение тяжелой разлуки. И не ее высотные здания и не торжественность ее центра — все мои окрестности и переулками она мне родная. Если только возраст и здоровье мне позволят, я еще напишу о Москве и москвичах. Я надеюсь, что я этим обрадую и Москву и москвичей.

Мне хочется вспомнить один прекрасный рассказ Мопассана. В этом рассказе дольше всех танцевавшая маска упала без сознания. Под маской оказался шестидесятилетний старик. Он не хотел уступить свое место всегдашнему победителю, но сил у него не хватило.

Так вот, этот рассказ Мопассан написал не про меня. Я еще не скоро упаду.

Я шел улицей, как лесной тропкою. Так я тебя любил. Деревья, которых не было, склонялись надо мной. Цветы, которых не было, одуряюще пахли. И несуществующие птицы пели.

И обыватели говорили: мне не хватает солей, — смешно как!

И облака — эти кочующие цыгане, которых в конце концов сделают оседлыми, плыли. Так я тебя любил.

Гостя надо звать внезапно, его надо затащить врасплох, чтобы он не успел обзавестись подарком для хозяина. Боюсь

подношений... На новоселье дарят обычно вещи ненужные и громоздкие. У соседей справа уже образовался склад чудовищных ваз. Одному горемыке принесли часы весом в два пуда, в оправе из уральского литья. Меня, кажется, бог миловал...

Несколько лет назад «Литературная газета» продала мне своего старого «Москвича». Это был Джамбул среди автомобилей. Я даже подозреваю, что еще Дмитрий Донской объезжал на нем свои войска...

Он не столь красочный, как разноцветный. Лучше, если бы он был одного цвета, но определенного. (О писателе.)

«Смотри, хороший был актер Володии, а умер как-то незаметно, в «Вечерке».

— Стоит ли тебе волноваться, ты-то умрешь по крайней мере в «Известиях»!..

Я не считаю, что надо писать много. Я бы хотел, чтобы мои книги печатались на очень плотной бумаге, крупным шрифтом. Тогда они выглядели бы пухлыми, несмотря на малое количество строк.

В жизни наступают иочи, когда тебя никто не будит, и это очень грустно...

Гоголевский герой, проснувшись однажды, обнаружил исчезновение иоса. У меня к концу поездки вообще исчезнет фас. Что же касается моего телосложения, то оно уже давно превратилось в теловычитание.

Что такое смерть? Это присоединение к большинству.

Неужели я столько поиздавал? Я уже давно должен был стать богачом! А между тем, когда я умру, вскрытие покажет, что у покойника не было за душой ни копейки.

Дело плохо. Под старость я превратился в нечто среднее между Ходжой Насреддином и нашим клубным парикмахером Маргулисом. Им приписывают чужие остроты. Мне тоже.

За всю свою жизнь я сочинил только два анекдота. Так вот, чтоб вы знали: все остальные не мои.

Иду в поликлинику, опираясь на палочку Коха. Я думал, что рожден для звуков сладких и молитв. Но вчера мне назначили процедуру, и оказалось, что я создан для ультразвука, который будут вгонять в меня. И он совсем не сладкий.

Мне хочется, чтобы после моей смерти кому-нибудь на земле стало грустно. И чтобы этот кто-нибудь сиял с полки томик Светлова и молча полнстал его.

Я вижу, что вы все меня очень любите. И я вам сейчас объясню почему. Я могу прожить без необходимого. Но без лишнего прожить не могу. Что такое художник? Это одиночество, вошедшее в коллектив. И я так живу. Я пишу. И никто другой за меня не напишет. А иногда мне кажется, что жизнь — это густо населенная пустыня. Без людей я не могу. А с людьми я тоже не всегда могу. Я думаю, что я работаю правильно и что я вам еще доставлю немало радости (выступление на юбилейном вечере 27 июня 1963 г.).

Когда я умру, на доме, где я прописан, повесят мемориальную доску: «Здесь жил и не работал поэт Михаил Светлов».

Не люди умирают, а надежды.

Вот и я скоро... Как эта бутылка. «Хранить в холодном, темном месте в лежащем положении».

Что бы ни было, эти стены, как минимум, еще один раз меня увидят. Но увижу ли я их? (Дом литератора.)

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

«Не надо заводить архива, над рукописями трястись...» Так думают, пишут и, к сожалению, поступают поэты. Утрачиваются прекрасные произведения, одни из них пропадают бесследно, другие удается найти и вернуть читателю.

М. Светлов «не заводил архива». Оставшиеся после смерти поэта неопубликованные материалы представляют собой нередко беспорядочное смешение незавершенных, недатированных стихотворных и прозаических набросков; некоторые вещи имеются в нескольких вариантах; в других встречаются повторения... Все это существенно затрудняет задачу составителей. Потребуется еще большая работа по собиранию и изучению светловского наследия.

В этом сборнике составители стремились представить не только лучшие создания Светлова-поэта, но и Светлова-прозаика, критика, публициста. В книгу включены «Взрослые сказки»; ряд статей, заметок, рецензий; тексты выступлений и бесед; воспоминания, суждения о литературе и искусстве, афоризмы, шутки... Многое из этого никогда ранее не публиковалось. В сборнике впервые публикуется более пятидесяти новых стихотворений и стихотворных отрывков.

В последние годы жизни, подготавливая стихи и прозу для будущих изданий, Светлов вносит в текст те или иные изменения, объединяет частично разные редакции... Имевшиеся на этот счет сведения были использованы составителями.

Составители выражают глубокую благодарность за предоставление стихотворных материалов Н. А. Федосюк и И. И. Игину. Н. А. Федосюк предоставила также часть текста «Взрослых сказок».

Составители и издательство просят всех, кто располагает какими-либо неопубликованными материалами, предоставить их для последующих изданий.

Содержание

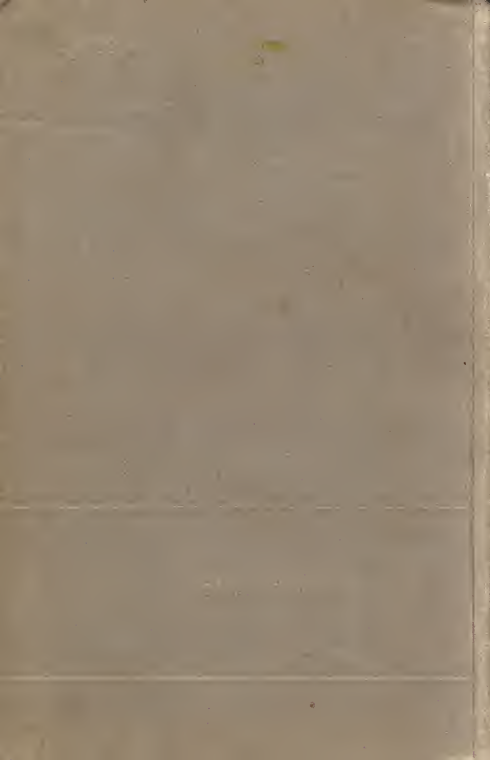
Об этой книге. Лев Озеров . . .	3
Моя биография — люди	15
Заметки о моей жизни	18
Слово к комсомолу	27
Стихотворения	29
Взрослые сказки	173
Статьи, рецензии, выступления . .	196
Записные книжки, афоризмы . .	333
От составителей	380

Светлов Михаил Аркадьевич
БЕСЕДА, сборник. М., «Молодая
гвардия», 1969 (Серия «Тебе в доро-
гу, романтик!») 384 стр. с илл. РС

Редактор Л. Хотилевская
Оформление художника Д. Шимилиса.
Художественный редактор В. Плешко
Технический редактор И. Егорова

Сдано в набор 18/X 1968 г. Подписа-
но в печать 13/V 1969 г. А01104.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага № 1. Печ.
л. 12 (усл. 20,16) + 9 вкл. Уч.-изд.
л. 18,8. Тираж 100 000 экз. Заказ
1901. Цена 1 р. 29 к. Т. П. 1968 г.,
№ 182.

Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Мо-
лодая гвардия». Москва, А-30, Су-
щевская, 21.





Bluacars Certified